

Алексей Макаркин

ЛЮДИ КАЗЕННОГО ВЕКА

Школа
гражданского просвещения
2019

ББК 66.3(2)8
М 15

Дизайн обложки *Анны Хохловой*

Рецензенты:

*кандидат политических наук, профессор НИУ ВШЭ Б.И. Макаренко,
доктор философских наук С.А. Никольский*

Книга издана при поддержке НО «Благотворительный фонд культурных инициатив (Фонд Михаила Прохорова)» и частных пожертвований

Алексей Макаркин.

М 15 Люди казенного века. М.: Школа гражданского просвещения, 2019. — 312 с.

В одной из песен Олега Митяева есть слова «Правит нами век казенный», смысл которых выходит за пределы бытового понимания. Для России, например, XX век был действительно веком казенным, когда во всех сферах с разной степенью жесткости государство доминировало над обществом, человеком. В этой книге собраны жизнеописания живших в ту пору наших соотечественников - людей очень разных, вовсе нелегальных, чьих судьба нередко ставила перед выбором того или иного пути в часто драматических обстоятельствах. Какими нравственными качествами обладали герои очерков, сохранившие способность поступать по совести? Автор старался избегать мифотворчества и нравоучительных нарративов, предлагая читателям самим оценить поведение персонажей в реальных исторических контекстах.

ББК 66.3(2)8

ISBN 978-5-93895-121-1

© А. Макаркин, 2019
© Школа гражданского просвещения, 2019

Содержание

Введение	5
Агафангел (Преображенский)	14
Никифор Бардыгин	24
Сергей Войцеховский	34
Петр Григоренко	44
Федор Дубасов	56
Евлогий (Георгиевский)	66
Владимир Жданов	79
Петр Зайончковский	90
Иерофей (Афонин)	100
Александр Кривошеин	110
Александр Ливеровский	121
Михаил (Мудьюгин)	131
Виктор Ногин	141
Олег Константинович	151
Петр (Полянский)	161
Иосиф Рапопорт	170
Григорий Сокольников	179
Василий Тупиков	190
Иероним Уборевич	199
Леонид Флорентьев	209
Александр Хвостов	219

Ираклий Церетели	230
Николай Чебышёв	241
Матвей Шапошников	251
Николай Щепкин	261
Натан Эйдельман	271
Петр Юренев	282
Геннадий Ягодин	291
Послесловие	301

Введение

Во все времена люди мечтали о золотом веке, который, как правило, относился ими к прошлым временам. Исключения были — от средневековой мечты о тысячелетнем царстве Божиим на земле до коммунистической утопии о всеобщем благоденствии и равенстве без Бога. Но эти исключения подтверждают правило — хорошо было тогда, когда жили наши великие предки. Для последних римлян золотым был II век, времена династии Антонинов, а римляне периода расцвета империи апеллировали к золотому веку республики, Катону и Сципионам. А те, вполне возможно, считали подлинно великими бородатых консулов ранних республиканских времен.

Недавнюю же свою историю люди нередко считают железным веком (разумеется, не в археологическом смысле), связанным с многочисленными испытаниями. Такая характеристика XX столетия в России на первый взгляд выглядит полностью справедливой. Беспрецедентные в прежней истории человеческие жертвы — Первая мировая, российские жертвы которой (больше полутора миллионов) оказались несравнимы с кошмаром Второй мировой, на которой, по официальным данным, погибли 27 миллионов. А еще братоубийственная Гражданская война, вслед за которой была еще одна — беспрецедентная война власти против собственных граждан, миллионы казненных, высланных, умерших от голода, который можно было предотвратить.

Сейчас нередко российскую революцию сравнивают с французской, где тоже было немало жестокостей, от казни короля и королевы до расправ над монархически настроенными крестьянами. Но

разница состоит в том, что уже термидорианский режим, сменивший якобинскую диктатуру, начал смягчать политику, отменив массовые казни (исключение было сделано для эмигрантов, взятых в плен во время боевых действий на полуострове Киберон), а Наполеон де-факто провозгласил национальное примирение. Реставрация Бурбонов, в свою очередь, не привела к полному реваншу легитимистов. В СССР же сталинский термидор (по терминологии Троцкого) сопровождался не только сохранением, но и ростом террора в полном соответствии с концепцией об усилении классовой борьбы в ходе строительства социализма.

В то же время можно ли назвать весь XX век для России железным? Послесталинские периоды истории серьезно отличались друг от друга. Хрущевская десталинизация, брежневское нефтяное благополучие (плюс «раскрепощение» с 1974 года крестьян, которые стали получать паспорта), горбачевская либерализация, переросшая в бурную демократизацию, ельцинский прорыв в демократию с последующим разочарованием. Вспомним и Россию императорскую, в которой постепенно происходили процессы социальной модернизации, но власть трагически запаздывала с политическими переменами. В наше время демонстративного консерватизма такое запаздывание иногда принимается за доблесть, но от этого его последствия не становятся менее печальными.

Скорее прав Олег Митяев, в одной из песен которого есть слова «правит нами век казенный». Казенный — в смысле доминирования государства над человеком, которое может происходить в разных формах, с разной степенью жесткости. Это доминирование временами ослаблялось, порой казалось, что оно ушло в историю, но потом быстро восстанавливалось. Комиссары в кожанках доводили государственный произвол до предела, бюрократы в галстуках его ослабляли. Профессор Александр Валентинович Оболонский в своей книге «Человек и власть: перекрестки российской истории» (М.: Академкнига, 2002) писал о глобальном противостоянии двух взглядов на мир — системоцентризма и персоноцентризма. В системоцентричной шкале индивид либо вообще отсутствует, либо рассматривается как нечто вспомогательное, способное принести большую или меньшую пользу лишь для достижения неких надличност-

ных целей. При персоноцентризме все явления рассматриваются через призму человеческой личности.

Системоцентризм позволяет соединить на первый взгляд несоединимое. Отсюда такой уродливый симбиоз, как «православный сталинизм», когда Христа заменяет государственный интерес. А также попытки создания дихотомии «государственники-антигосударственники», когда в число первых попадают и цари, и красные вожди, большевики делятся на плохих (Троцкий, Бухарин, нередко и Ленин) и хороших (Сталин, Молотов и их соратники, вплоть до Берии), а либералы соседствуют с террористами. Если развить метафору из солженицынского романа «В круге первом», то можно сказать, что людоед мимикрирует под волкодава. Такому подходу свойственно не только презрение к историческим реалиям, но и забвение нравственных ценностей, которые укоренены в российской историографии со времен карамзинской «Истории государства Российского». Понятно желание немалого числа людей после распада СССР и в условиях дискомфортной для них глобализации найти опору в мифах, в том числе тоталитарных, но это понимание не должно превращаться в их оправдание.

Как и многие гуманитарии моего поколения, я еще со студенческих лет в дихотомии «красные–белые» выбирал белых — помню, как на фотовыставке, посвященной Первой мировой войне, глядывался в портреты расстрелянных и выживших генералов и офицеров. Тогда же впервые увидел фотографию погибшего на Первой мировой князя Олега Константиновича, о котором тогда вообще не было никакой доступной информации. Сейчас некоторые фотографии стоят в комнате, где я пишу эти строки. И князь Олег, и расстрелянные красными в 1918-м генералы Рузский и Радко-Дмитриев, и умерший во время голодовки в тюрьме в 1921-м генерал Клембовский, и генерал Шуваев, скромный и честный военный министр времен Первой мировой, преподававший затем в советской военной школе и казненный в 1937-м в возрасте 83 лет, и другие.

Постепенно романтика стала уходить, заменяясь пониманием большей, чем казалось, сложности процессов того времени, восприятием Гражданской войны прежде всего как трагедии. И в этой книге немало биографий людей, участвовавших в ней с красной

стороны или обязанных своими карьерами революции, открывшей многие социальные лифты. Но основной подход — белый террор плох, но красный хуже — остался у меня прежним. Конкретные преступления, совершенные белыми, нельзя равнять с целенаправленной политикой по ликвидации целых сословий, которая была смыслом красного террора.

Сказанное не означает, что правы те, кто проклинает весь советский период российской истории. Системоцентричный «казенный век» ломал судьбы одних людей и давал шанс другим — причем среди и тех и других были и талантливые, и бездарные, и герои, и мерзавцы. Была уничтожена среда, в которой были возможны свободные интеллектуальные дискуссии; из страны вытолкнули Сикорского, Зворыкина, Ипатьева, но на смену им приходили не только идеологизированные бездарности, но и молодые люди, ставшие гордостью отечественной науки.

В Великой войне для общей победы объединились и православные, и атеисты, и коммунисты, и несогласные с ними. Объединились временно: после войны надежды многих крестьян на избавление от колхозов и интеллигентов на либерализацию режима не оправдались, наоборот, началось очередное закручивание гаек. А было немало людей, которые не верили в возможность перемен, но все равно шли на войну, потому что противником было зло абсолютное, более страшное, чем сталинский режим — при всех общих признаках советского и немецкого тоталитаризма. В-первых, потому что Гитлер не предусматривал сохранения России как независимого государства — ставка делалась на уничтожение значительной части населения и колонизацию территории (не случайно, что для него было неприемлемым создание любого, даже самого лояльного, российского правительства). Во-вторых, при всей своей бесчеловечности сталинский режим не предусматривал полного физического уничтожения целых групп населения: дворянство, купечество, зажиточное крестьянство уничтожались как сословия, гибли многие люди, но дети получали шанс не только выжить, но и, если повезет, устроить свою жизнь.

Политика Гитлера была совершенно иной: если евреи были обречены на гибель, то русские — на резкое сокращение численно-

сти и полное бесправие для оставшихся в живых. Гиммлер считал, что «ненемецкие народы востока» необязательно учить читать, достаточно уметь расписаться, считать до пятисот и слушаться немцев. Неудивительно, что украинские национальные деятели, мечтавшие при помощи немцев воссоздать свое государство, были отправлены в Бабий Яр через несколько месяцев после уничтожения евреев.

Но есть еще один вопрос, самый, пожалуй, непростой. Верен ли известный афоризм, что «война все спишет», что участие в войне оправдывает преступления, которые совершал человек. Это ключевой аргумент в оправдании Сталина. Думается, что аргумент глубоко ложный, так как никакие заслуги не могут сделать бывшее небывшим, не способны воскресить погубленных людей. И еще — в истории церкви был эпизод, когда в X веке византийский император Никифор Фока попросил Константинопольского патриарха причислить к лику святых всех воинов, погибших на войне против мусульман, чтобы поднять боевой дух армии. Патриарх ответил отказом — он понимал, что среди солдат и командиров были разные люди и прославлять всех было бы неверно. Этот пример может быть актуален и для современной России — только речь идет не о церковной канонизации (Сталина считают святым только внецерковные маргиналы), а о гражданском прославлении в качестве национального героя.

Примечательно, что в советском обществе было немало случаев, когда радикалы, стремившиеся разрушить весь мир насилья (и объективно создававшие новый, намного более жестокий), эволюционировали к умеренности, пересматривали свои взгляды. Легче всего цитировать одиозные высказывания Бухарина, обосновывавшие уничтожение своих соотечественников, но нельзя забывать его выступления за более умеренный курс перед коллективизацией спустя десятилетие после красного террора. Недоучившийся студент Сырцов, бывший одним из организаторов кровавого «раскачивания», затем стал прагматичным управленцем. Каминский, тоже ушедший в революцию со студенческой скамьи и в жестоком яковинском стиле управлявший Тульской губернией в годы Гражданской войны, в 1930-е годы заслужил уважение ученых на

посту наркома здравоохранения. К Сталину это не относится — он если уменьшал обороты машины террора, то временно, из тактических соображений, а затем возвращался к «душегубству» (говоря словами Мандельштама).

Это к вопросу о том, что между системоцентризмом и персонализмом не всегда есть четкая грань, даже в судьбах конкретных людей. Не стоит также делать поспешные выводы и создавать то светлые, то черные легенды. Такое уже было многократно — и разрушение светлых образов приводило к «иконоборчеству» (вспомним посмертные судьбы того же Бухарина, которого в перестройку даже сравнивали с Христом, или маршала Тухачевского). И наоборот, черная легенда ведет к эффекту запретного плода — после того как в течение десятилетий замалчивался вклад Берии в атомный проект, публицисты стали делать из него безупречного государственного деятеля, забывая о многочисленных преступлениях, которые совершал маршал с Лубянки.

В этой книге делается попытка избежать мифотворчества, апологетических нарративов и показать, как даже в системоцентричном мире люди оставались людьми, как они принимали решения, как думали и сомневались. В ней представлены 28 биографий россиян, живших в XX веке, — через призму их судеб хотелось порассуждать о вопросах, не только важных для истории, но и актуальных для современных россиян. Мне хотелось бы выйти за рамки сугубо биографического жанра, особенно распространенного в конце 1980-х — начале 1990-х годов. Тогда существовал огромный запрос на любые факты о людях, чьи судьбы замалчивались в течение десятилетий. Сейчас произошло насыщение, и простой рассказ о судьбах вряд ли отвечал бы задаче автора. «В истории мы узнаем больше фактов и меньше понимаем смысл явлений», — писал Ключевский, поэтому хотелось бы поговорить о смыслах. Для этого в начале каждого очерка ставится проблема, а потом делается попытка ее анализа на основе конкретной человеческой судьбы. В том числе поэтому отдельные аспекты биографий героев рассмотрены подробно, а другие лишь обозначены пунктиром.

Среди персонажей книги нет хрестоматийных фигур, присутствующих в школьных учебниках. О них не только многое извест-

но, но и многое написано в последние десятилетия, сказать что-то новое для требовательной читательской аудитории непросто. Меня больше интересуют люди, условно говоря, второго ряда, о которых отечественный читатель знает куда меньше. Поэтому герои книги — не Столыпин, а Кривошеин, не патриарх Тихон, а митрополит Петр, не Каппель, а Войцеховский, не Сахаров, а Григоренко. Надеюсь, что книга хотя бы частично сыграет просветительскую роль, познакомив читателей с интересными людьми. Смыслы смыслами, а принципа, что люди любят читать о людях, как минимум со времен Плутарха никто не отменял. Насколько удалось выдержать фактологический баланс, понять мотивации героев, судить читателям.

Мне хотелось быть объективным, насколько это возможно для человека со своими симпатиями и антипатиями. Писать полностью без гнева и пристрастия не удавалось даже Тациту, провозгласившему этот принцип. Но я старался анализировать всю совокупность известных мне фактов. В начале 1920-х годов была интересная дискуссия в переписке политика Ираклия Церетели (одного из героев этой книги) и историка Бориса Николаевского о том, можно ли исследовать проблему масонства в условиях масонофобии как большевиков (правивших в России), так и реакционеров (активных в эмиграции). Никто из участников переписки не был масоном, но Церетели как политик был предельно осторожен, не желая давать аргументы оппонентам, а Николаевский отстаивал право историка на свободное исследование даже «неудобных» вопросов. При работе над этой книгой я исходил из логики Николаевского, открывающей большее пространство свободы для автора.

При подготовке списка персонажей использовался алфавитный принцип — по одной персоналии на каждую букву, исключая те, на которые либо нет имен и фамилий, либо их немного, и приходилось бы заниматься «натяжками», чтобы соблюсти формальное представительство. Как правило, я ориентировался на первую букву фамилий, кроме случаев с монашествующими и представителем дома Романовых — в этих случаях приоритет отдается первым буквам имен (что соответствует и энциклопедическим правилам).

Понятно, что выбор в таком случае — как и во многих других — является субъективным, выражающим авторский интерес к той или иной персоне. Нехватки «кандидатов» для жизнеописаний не было — напротив, в ряде случаев приходилось делать непростой выбор. Например, буква «В» — был большой соблазн рассказать яркую биографию Александра Абрамовича Виленкина, юриста, солдата (полный георгиевский кавалер!), из-за своего еврейства долго не производившегося в офицеры, заговорщика. Но все же возобладал суровый образ генерала Войцеховского, выведшего белую армию из Сибири. Главным аргументом стало то, что о Виленкине уже писал Борис Акунин, в том числе выведя его под именем Льва Миркина в последнем романе фандоринского цикла «Не прощаюсь» (и, кстати, даровав литературному герою более счастливую смерть, чем была суждена Виленкину). Таких вариантов было много — из биографий людей, о которых хотелось бы написать, можно было бы составить еще одну книгу.

Все герои книги — мужчины, что связано с «мужским» характером XX века для страны. Если бы женщины играли более значительную роль в принятии политически и общественно значимых решений, то, быть может, и жертв было бы меньше. Но пересмотреть историю невозможно. В книге представлены биографии людей политики и войны, науки и религии. В ней нет поэтов и писателей, артистов и художников. Это сделано сознательно — хотелось уйти от безразмерности, сделать книгу более цельной, более «политичной». Все же ее автор хотя и историк по образованию, но политолог по профессии.

«Жизнь учит лишь тех, кто ее изучает» — эти слова Ключевского были актуальны для его времени, которому было свойственно куда больше оптимизма, чем нашему. Тем более они важны для современных людей, у которых рациональное знание, умение рассуждать, вести диалог нередко заменяется эмоциями и желанием присоединиться к большинству, быть в мейнстриме. Поэтому особенно значим опыт «казенного века», история произвола людей власти и способности других людей сохранять чувство собственного достоинства в самых трудных ситуациях.

Автор благодарен Елене Михайловне Немировской и Юрию Петровичу Сенокосову, основателям и руководителям московской Школы гражданского просвещения, за возможность в течение многих лет выступать на семинарах школы и за издание этой книги. Борису Игоревичу Макаренко и Сергею Анатольевичу Никольскому — за любезное согласие стать ее рецензентами. Хочу сказать доброе слово о своих учителях в области истории и политической науки — это Юрий Николаевич Афанасьев, Наталья Ивановна Басовская, Игорь Михайлович Бунин, Герман Германович Дилигенский, Алексей Юрьевич Зудин, Борис Семенович Илизаров, Аркадий Иванович Комиссаренко, Сергей Михайлович Каштанов, Кирилл Георгиевич Холодковский, Корнелий Федорович Шацилло. Когда-то Корнелий Федорович призывал меня «воспарить» над фактами — надеюсь, в этой книге мне удалось это сделать.

Агафангел (Преображенский)

В конце 1980-х годов были сняты запреты на публикацию материалов о новомучениках и исповедниках Русской православной церкви. Стали появляться статьи о судьбах архиереев, священнослужителей и мирян, погибших или подвергшихся гонениям в советское время. Эти публикации разрушали представление о том, что репрессии были связаны только с именами Сталина и его окружением. Антирелигиозные гонения были начаты не просто при Ленине, а по его личному указанию. В 1990 году было опубликовано циничное письмо вождя Молотову об изъятии церковных ценностей, «ни перед чем не останавливаясь и в самый кратчайший срок», и о том, что «чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше». По образу доброго дедушки Ленина был нанесен сильный удар, имевший непоправимые последствия.

Но дальше возникла новая проблема. Образы священнослужителей столетней давности соответствовали житийному жанру, укорененному в церковной истории. Это означало, что все эпизоды их биографий, которые не соответствовали образцу идеального святого, либо игнорировались, либо затушевывались. В результате возникали драматические ситуации, когда стало выясняться, что некоторые герои восторженных текстов оказывались не столь безупречными, как казалось на первый взгляд. Кто-то давал показания, на основании которых были арестованы другие люди, а кто-то был завербован органами госбезопасности. Но если объективно

взглянуть на страшную историю преследований людей за веру, то нельзя не отметить, что множество их вели себя мужественно и достойно. Протоколы допросов иногда напоминают акты древних мучеников — нередко единственные источники о судьбах многих святых. И таких примеров существенно больше, чем разочарований. Есть и примеры того, как чекисты провоцировали конфликты в церковной среде и как одни иерархи втягивались в эти провокации, а другие оставались стойкими и следовали до конца заповедям своей веры.

Есть и еще одна проблема — как относиться к спорным моментам церковной истории. Например, к сотрудничеству священнослужителей с дореволюционными крайне правыми организациями, нередко именуемыми «черная сотня». Или же тема взаимоотношений церковной иерархии и монархии — должны ли были деятели церкви защищать любые действия государственной власти, которая по мере сил и разума боролась с революционным движением.

Эти проблемы — не теоретически, а вполне практически — приходилось решать одному из выдающихся деятелей Русской церкви, митрополиту Агафангелу (в миру Александру Преображенскому). В отличие от многих своих современников, он не был убит во время большевистских гонений, но прошел через тюрьмы и ссылку. Поэтому он считается исповедником — так в христианской традиции называют святых, подвергшихся при жизни преследованиям за проповедь христианства, но умерших не мученической смертью.

Будущий митрополит родился в 1854 году в Венёвском уезде Тульской губернии в семье сельского священника Лаврентия Ивановича Преображенского. В детстве мечтал продолжить отцовское дело — не только по его примеру, но и по внутреннему желанию. Но родители думали иначе. Судьба сельского священника — а им обычно становился выпускник духовной семинарии — была не слишком завидной. Отец Лаврентий был человеком образованным (окончил полный семинарский курс с дипломом первой степени, имел большую библиотеку, много читал), общественно активным — некоторое время занимался управлением сельскими школами — и трудолюбивым, ведя большое хозяйство с яблоневым

садом. Но, несмотря на это, семья жила небогато — в ней было восемь детей, причем шестеро дожили до зрелого возраста. Обо всех надо было заботиться, а денежное содержание сельского священника было значительно меньше, чем у квалифицированного рабочего. Конечно, помогало хозяйство, но его надо вести — и здесь отцу Лаврентию помогали жена и дети, занятые сельскохозяйственными работами, пока глава семьи служил в храме.

Такой судьбы для способного Александра родители не желали — они видели его врачом. Поэтому окончив Тульскую духовную семинарию с прекрасными оценками, он должен был готовиться к поступлению на медицинский факультет. Но не получилось: вначале Александр тяжело заболел и пропустил экзамены, а потом умер отец и семья не могла платить за обучение. Сначала он подумывал о том, чтобы заменить отца на приходе, но затем решил воспользоваться единственным шансом на получение высшего образования за казенный счет. Как лучшему выпускнику семинарии ему позволялось бесплатно учиться в Московской духовной академии, куда он и был принят.

Впрочем, он не собирался становиться священником. В академии готовился к научной деятельности, написал кандидатскую работу на филологическую тему. Это подробное исследование древнеславянского литературного памятника «Шестоднев Иоанна, Экзарха Болгарского», в котором Александр должен был продемонстрировать доскональное знание не только славянского, но и греческого языка. После окончания академии он, оставаясь светским человеком, становится педагогом, преподает в духовных училищах Рязанской губернии. Женится на Анне Федоровне, дочери протоиерея Воскресенского. Семья, поселившаяся в рязанском Скопине, ждала ребенка — казалось, жизненный путь определен.

Но тут случилась трагедия — смерть ребенка во чреве матери губит и Анну Федоровну. Александр Лаврентьевич тяжело воспринял эту беду: спустя много лет, уже будучи епископом, он приехал в Скопин и служил на могиле жены, «едва удерживаясь от рыданий, тихим и дрожащим голосом». Через пару месяцев после смерти жены, в марте 1885 года он, «убитый горем, снедаемый чувством безысходной скуки, горького сиротства и бесприютно-

сти», принимает монашество с именем Агафангел (имена монахам часто давались по первой букве мирского имени) и становится священником.

В конце следующего года его направляют в Сибирь — инспектором Томской, а вскоре и ректором Иркутской духовной семинарии. В 1889 году он становится викарным епископом в Иркутской епархии, а в 1893-м — епископом Тобольским и Сибирским. Он много и усердно работает, видимо, желая заглушить боль. Крестит бурят в Иркутской губернии, руководит комитетом по сбору пожертвований в пользу пострадавших от неурожая, занимается миссионерской деятельностью в отдаленных районах Тобольской губернии, особое внимание уделяет духовному образованию своей паствы. Служит даже в тобольской каторжной тюрьме. Когда он уезжает из Тобольска, то автор брошюры, посвященной прощанию с архиереем, писал, что «иной Преосвященный любезен духовенству, но почему-то неугоден интеллигенции или простому народу; случается и наоборот. Преосвященный же Агафангел был всем вся: любило его духовенство, уважала его интеллигенция, относился к нему с детским доверием простой народ».

В 1897 году его переводят в Ригу в тогдашнюю Рижскую и Митавскую епархию (территории нынешних Латвии и Эстонии). Там под его руководством строятся храмы, открываются школы, на эстонский и латышский языки переводятся богослужебные книги и другая религиозная литература. Архиерей много ездит по епархии, проповедует, проводит торжественные богослужения, привлекающие верующих. Запрещает строить архиерейскую дачу за епархиальный счет, заплатив собственные деньги.

В апреле 1905 года выходит царский Манифест о веротерпимости, и уже через несколько месяцев, в сентябре того же года, Агафангел созывает в Риге епархиальный собор, на котором обсуждается вопрос о том, что делать в условиях, когда усилится конкуренция с представителями других конфессий. На соборе принимаются решения, ряд которых не был реализован в Русской церкви не только тогда, но и в наши дни. Так, прихожанам предоставляется право избирать священников, хотя и при выполнении некоторых обязательных условий — одобрение правящего архиерея, согласие

священников благочиния (церковного округа), наличие богословского образования. Таким образом, ставились преграды для появления в клире людей некомпетентных или недобросовестных. Было принято решение ежегодно созывать в благочиниях «соборики» (совещания) духовенства, освободить епархиальные органы печати (а при Агафангеле они издавались на русском, латышском и эстонском языках) от цензуры.

Более того, на соборе были приняты решения о литургических реформах — правда, только для латышских и эстонских приходов, где конкуренция с протестантами была велика. Предусматривалось «временное», до решения Всероссийского собора, некоторое сокращение всенощного бдения, самого длинного богослужения для православного прихода, тем более что «стихийные» сокращения происходили и без этого, но никто не мог решиться (и в Русской церкви не решается до сих пор) их упорядочить. Возникает парадоксальная на первый взгляд ситуация — все нарушают правила, но их официально нельзя изменить из-за опасений внутрицерковного конфликта (дает о себе знать память о драме старообрядчества, возникшей из-за, казалось бы, мелких обрядовых новшеств). Но для православных латышей и эстонцев это выглядело совершенно иррациональным, и владыка Агафангел считал возможным пойти им навстречу. Равно как и в еще более важном для православных вопросе — возможности чтения на литургии вслух ряда тайных (то есть произносимых священником про себя) молитв и чтения Евангелия лицом к народу, а не к алтарю. Сейчас в Русской церкви сторонников таких новшеств часто обвиняют в симпатиях к обновленчеству — поддержанному большевиками раскольничьему движению, возникшему в 1920-е годы. Но надо помнить, что эти изменения поддерживал и причисленный к лику святых противник обновленчества владыка Агафангел.

В качестве рижского архиерея ему довелось столкнуться и с драматическими событиями — подавлением первой русской революции 1905 года в Прибалтийских губерниях, которое сопровождалось произволом карательных отрядов. Один из самых уважаемых священников епархии, служивший в Эстляндии Николай Бжаницкий, направился в Ригу и сообщил владыке Агафангелу о

массовых бесчинствах. Агафангел был монархистом и русским патриотом, но смотреть спокойно на гибель людей, часто невиновных или виновных незначительно, он не мог. Владыка издал обращение к духовенству с призывом о заступничестве за тех, кому угрожал военно-полевой суд.

При этом архиерей, во-первых, поручил священникам заступаться не только за православных, но и за представителей других конфессий. Во-вторых, не только за невиновных, но и за людей «заведомо доброго направления и вообще благонадежных, но увлеченных на эту деятельность угрозами, насилием и боязнью мести со стороны агитаторов восстания» (понятно, что эту формулировку можно было при желании толковать расширительно). Разница состояла в том, что если за первых можно просить об освобождении от ответственности, то за вторых — об облегчении участи и помиловании. Наконец, особо отмечалось, что если власти отклонили бы просьбу священника, то ему предписывалось попросить о приостановке приведения приговора в исполнение и немедленно сообщить об этом Агафангелу, чтобы тот мог обратиться с ходатайством к генерал-губернатору.

Такое обращение было беспрецедентно для русского архиерея, и оно позволило спасти множество жизней. Тот же отец Николай Бежаницкий лично добился отмены смертного приговора четверым арестованным — троим лютеранам и одному православному. Современник вспоминал, что «было приблизительно 4 часа утра, когда священник Бежаницкий пришел ко мне в квартиру. Он танцевал, плакал и смеялся. Я думал, что он сошел с ума. Он сказал, что это был самый счастливый день в его жизни — он спас от смерти четырех невинных заключенных». Протоиерей Бежаницкий был расстрелян большевиками в Тарту во время красного террора в 1919 году — как и митрополит Агафангел, он причислен к лику святых. Можно, наверное, сказать, что надо было бы в 1906-м быть еще жестче — и тогда не было бы революционной смуты. А можно и о том, что насилие порождает насилие, жертвами которого часто становятся невиновные люди, и что таких священников как владыка Агафангел и Николай Бежаницкий было слишком мало на всю огромную Россию. Второе представляется верным — не только с

моральной точки зрения, но и потому, что слишком жесткая система быстрее ломается.

В 1910 году владыка Агафангел становится архиепископом Литовским и Виленским — церковные власти стремятся использовать его опыт на не менее сложной кафедре в условиях напряженных взаимоотношений между литовской, польской и русской общинами. И здесь у него резко осложняются отношения с «черной сотней» — Союзом русского народа, который играл значительную роль в православном сообществе тогдашней Литвы.

Проще всего посчитать Агафангела либералом, выступающим против ультраправых, но это было бы ошибкой. Владыка был консерватором — более того, в Ярославле, куда его переведут из Вильно, он станет почетным председателем местного отделения Союза русского народа, быстро установит дружеские отношения с семьей лидера местных «союзников», известного врача-офтальмолога Ивана Кацаурова. А в Вильно близким соратником Агафангела был ректор семинарии, архимандрит Лаврентий, возглавлявший одновременно отделение Союза Михаила Архангела, тоже крайне правой организации, отделившейся от Союза русского народа и мало от нее отличавшейся. На проводах Агафангела из Вильно Лаврентий произнес прочувственную речь, а владыка, не склонный к излишним комплиментам, сказал в ответ, что семинария — чуть ли не единственное учреждение, которое никогда не причиняло ему огорчений. Лаврентий вскоре станет епископом — расстреляют его чекисты в Нижнем Новгороде в 1918-м.

На самом деле Агафангел был против конфронтационного радикализма ультраправых, как думец Василий Шульгин, начавший свою политическую карьеру в их рядах, а затем выступивший против фальсификации антисемитами «дела Бейлиса», когда еврей был ложно обвинен в совершении ритуального убийства. Апогея его противоречия с «союзниками» достигли в ноябре 1913 года, когда архиепископ отказался благословить крестный ход в Вильно к памятнику Михаилу Муравьеву в память 50-летия назначения его генерал-губернатором. Суровый подавитель польского восстания 1863 года, Муравьев и для поляков, и для литовцев был ненавистной фигурой, «вешателем». Памятник ему местные жители обма-

зывали по ночам волчьим салом, и вой сбегавшихся на запах собак был слышен по всему центру Вильно.

Такой крестный ход стал бы политической демонстрацией, возбуждающей национальную рознь, и Агафангел не мог этого позволить. Он совершил панихиду о покойном в кафедральном соборе, но не произнес проповеди с восхвалением покойного, это сделал обычный священник. Не было и крестного хода, а на панихиде у памятника владыка не присутствовал. Впрочем, он посетил собрание памяти Муравьева, но как обычный участник. Агафангел не хотел полностью игнорировать муравьевские торжества — это тоже было бы своего рода политической акцией, которой он хотел избежать. Но сведя свою роль в них к минимуму, он вызвал протесты со стороны «союзников», и уже в январе 1914 года был послан в Ярославль.

Там его нормальные отношения с Союзом русского народа были связаны с двумя обстоятельствами. Во-первых, пик активности ярославских «союзников» давно прошел — к этому времени они занимались в основном культурно-историческими мероприятиями и религиозными чтениями, что Агафангел мог только приветствовать. И во-вторых, с началом Первой мировой войны «союзники» в этой губернии провозгласили курс на сотрудничество с другими общественными силами для борьбы с внешним врагом, что также импонировало владыке.

На ярославской кафедре Агафангел остается до конца своей жизни. Пережил на ней многое. И Первую мировую войну, во время которой он организовывал госпитали для раненых. И Февральскую революцию, после которой, вспомнив о «муравьевской истории», Временное правительство продвигает его в члены Святейшего Синода, также он был возведен в сан митрополита. А тем временем в самой Ярославской епархии бушевали страсти: радикально настроенная часть священнослужителей и мирян выступила против холодноватого и требовательного архиерея, выразив ему недоверие. Но большинство осталось на стороне своего архипастыря, и негативная волна быстро схлынула. На Поместном соборе 1917–1918 годов, где обсуждали (не успев принять многих важных решений) вопросы, которые Агафангел со своими священниками и

мирянами рассматривали еще в Риге в 1905-м, он был определен патриархом Тихоном вторым из трех кандидатов в местоблюстители патриаршего престола — временных преемников патриарха на случай его смерти или ареста.

Это стало актуальным в 1922 году, когда патриарх был лишен свободы. И хотя власти не позволили митрополиту Агафангелу прибыть в Москву, он и из Ярославля 18 июня обратился ко всем верующим с посланием не подчиняться обновленцам, которые при активной помощи советской власти пытались установить контроль над церковью. Агафангел не был реакционером, он выступал за аккуратные перемены, которые признал бы церковный народ. От обновленцев его отделяла стена. Он не мог согласиться с перехватом власти в церкви, отстранением законно избранного патриарха. Для него было неприемлемым сотрудничество обновленцев с чекистами, доходившее до прямых доносов. Многие требования сторонников обновленческого движения, вроде упразднения только что введенного патриаршества, отмены безбрачия епископата или разрешения священникам жениться второй раз, выглядели для него уже не реформой, а внутрицерковной революцией.

Через несколько дней Агафангела арестовали. Даже сотрудник ГПУ, который вел его дело, признавал «громчайшую популярность» митрополита среди верующих. Более года Агафангел содержался в тюрьмах в Ярославле и Москве. В 1923 году почти 70-летнего старца отправили в ссылку в Нарымский край — на север нынешней Томской области, недалеко от тех мест, где он когда-то был молодым инспектором семинарии. Его не освобождают из ссылки даже после того, как некоторые священники были выпущены в результате примирительного по отношению к советской власти обращения патриарха Тихона. Уже после смерти Тихона в 1925 году срок ссылки Агафангела закончился, но его отправляют в пермскую тюрьму.

Весной 1926 года Агафангела неожиданно освобождают — не из милосердия, а из циничного расчета. Чекисты хотели столкнуть между собой ведущих иерархов церкви — митрополитов Петра, Агафангела, Сергия, чтобы у нее не было общепризнанного главы. Введенный чекистами в заблуждение, Агафангел заявляет, что

берет на себя руководство церковью. Но когда получает информацию о том, что у церкви уже есть легитимный и находящийся на свободе руководитель — митрополит Сергей (Страгородский), отказывается от своего предыдущего заявления. Никаких честолюбивых амбиций у него не было.

В 1926 году Агафангел возвращается в Ярославль, где в феврале 1928-го еще успеваеt осудить декларацию митрополита Сергея, в которой содержались недопустимые, по его мнению, уступки большевикам, когда лояльность заменялась сотрудничеством. Он отказался от административного подчинения Сергию, но вскоре почувствовал, что силы покидают его — стало отказывать сердце. Умереть в расколе, даже совершенном из самых лучших побуждений, было для него трагедией. Агафангел вместе со своими помощниками готовит новое обращение, поправив прежнее, — что молитвенное общение с Сергием сохраняется, но его распоряжения, «смущающие нашу и народную религиозную совесть и, по нашему убеждению, нарушающие каноны, в силу создавшихся обстоятельств на месте, исполнять не могли и не можем». Сергей, авторитет которого и без того шатался, был вынужден признать такую формулировку как примирительную.

16 октября 1928 года митрополит Агафангел скончался. Его похоронили в Леонтьевской церкви Ярославля, которую после закрытия превратили в склад, а на месте захоронения владыки устроили подобие мусорной ямы. В 2000 году Агафангел был прославлен в лике святых — сейчас его мощи находятся в Казанском монастыре в центре Ярославля и являются одной из почитаемых православных святынь древнего города.

Никифор Бардыгин

Что такое социальная ответственность бизнеса? В современном российском «неформальном» понимании это нередко добровольно-принудительное принятие бизнесом на себя финансирования части государственных функций или же сотрудничество с государством в решении других задач. Например, надо провести общественное мероприятие для ветеранов, а денег на него нет. Или патриотический митинг, или еще что-нибудь в этом роде. И тогда в кабинете директора местной фирмы раздастся звонок — мол, надо помочь. А тот к звонку уже готов — и внутренне уже занес требуемую сумму в графу плановых убытков.

Противиться не стоит. Во-первых, потому что никто не хочет конфликтовать с государственными людьми, способными организовать серию проверок и основательно осложнить жизнь бизнесмену. Потом придется тратить больше на ликвидацию последствий собственной ошибки. Во-вторых, действует принцип «ты мне — я тебе», и социально ответственный бизнесмен может попросить чиновника об ответной услуге — и отказать ему будет невежливо. В-третьих, убыток можно компенсировать, включив его в цену товаров или услуг для потребителей, которые в конце концов и оказываются крайними. Само понятие социальной ответственности от этого только дискредитируется.

А что же такое социальная ответственность на самом деле? Это создание благоприятной среды для развития бизнеса — как внутри предприятия, так и на территории его присутствия. От своевременной и полной выплаты зарплат и налогов до выполне-

ния всех экологических стандартов. И добровольная поддержка местных сообществ, которые делают жизнь людей лучше и комфортнее, занимаясь общественно полезной повседневной деятельностью.

Есть ли такие практики в современной России? Безусловно. Более того, немало добрых примеров, когда богатые люди не только выполняют свои обязательства, но и перевыполняют их. Можно вспомнить в связи с этим историю бывшего гендиректора корпорации ВСМПО-АВИСМА, доктора наук Владислава Тетюхина, построившего на свои средства Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр, оснащенный современным оборудованием. Или другой широко известный пример — Дмитрий Зимин, тоже доктор наук, основатель «Вымпелкома», активно вложил в поддержку просветительских и образовательных проектов, в том числе учредив премию «Просветитель». Много и других, менее известных, но о тенденциях часто судят не по ним, а по «добровольно-принудительным» практикам.

Примеры социальной ответственности в таком понимании были в российской истории. Обычно внимание привлекают примеры меценатства — поддержки художников и артистов, яркие и эффектные. Мамонов, Морозов, Третьяковы. Но были и примеры куда менее известные, когда речь шла не о помощи знаменитостям, а о делах рутинных, провинциальных, но важных для людей. Одна из этих историй связана с именами егорьевского предпринимателя Никифора Бардыгина и его сына Михаила.

Город Егорьевск был основан в екатерининское время, в 1778 году, в составе Рязанского наместничества (затем губернии, а сейчас он относится к Московской области). С первой половины XIX столетия стал одним из важных центров текстильной промышленности. В 1847 году успешные фабриканты братья Хлудовы открывают в нем свою фабрику. Правда, в 1868-м в городе случилась беда — пожар уничтожил две трети его деревянной застройки. Но уже в следующем, 1869-м, Хлудовы добиваются решения о проведении железной дороги для вывоза продукции со своей фабрики. В 1870-м на их деньги была построена станция недалеко от фабрики — а уже Хлудовы провели к ней подъездные пути.

Идиллия? Не совсем. От «хлудовской» станции до города проехать было трудно, потому что станция построена за речкой Гуслицей (в Егорьевске ее зовут Гуслиянской), что было удобно для фабрики, а через речку в направлении города нет нормального моста. Весной и осенью дорогу «развозило», но и в летнее время ездить по ней было очень неудобно. Хлудовых это не беспокоило, они действовали в собственных деловых интересах и не более того. К тому же территория станции и подъездных путей до хлудовской фабрики принадлежала городу, но Хлудовы ни копейки не платили за это в городской бюджет. Таким образом, построенная ветка работала преимущественно для фабрики, а не для города. И вообще городской бюджет находился в плачевном состоянии из-за того, что городскими имуществами управляли плохо, многие егорьевские земли были, как сейчас говорят, «прихватизированы» — и город в этих условиях восстанавливать было не на что.

В этих условиях в 1872 году городским головой разоренного Егорьевска становится 37-летний купец Никифор Бардыгин. Купцом он был во втором поколении — бизнесом занимался еще его отец Михаил Федорович, сын государственного крестьянина (типичная судьба русских купцов), ставший егорьевским горожанином. С юности Никифор помогал отцу в торговле зерном, мукой, хлебом, а затем по примеру других егорьевцев, в первую очередь Хлудова, завел текстильный бизнес: в 20 лет — производство по выработке ткани, в 22 — красильню. Постепенно бизнес развивался, рос интерес его хозяина к городским делам.

Итак, что делает Бардыгин в качестве мэра Егорьевска? Первым делом занимается строительством моста и нормальной дороги от железнодорожной станции до города. В короткие сроки это удается сделать, а расходы компенсируются с помощью установленной платы за провоз грузов через мост. Станция начинает работать на город, и это дает импульс его развитию.

Затем настает очередь упорядочивания городской торговли, которая велась в мелких передвижных деревянных лавочках. Бардыгин предлагает построить на Соборной площади два каменных здания для торговли и сдать площади в аренду. Что в 1873 году и было сделано. Городская казна стала получать доход от торговли,

удобнее стало и покупателям. Но все торговцы в новых зданиях не уместились, да и соборный причт, посмотрев на полезный опыт, тоже захотел заработать. Город и соборяне договорились — и по периметру соборной ограды были построены еще 46 лавочек. Деньги поровну дали город и собор, они же разделили и доходы (а контроль за соборными деньгами также обеспечивает Бардыгин, которого за честность и набожность избирают церковным старостой). Город богател, и городскому управлению пришлось создавать еще дополнительные места для торговли.

Одновременно Бардыгин занимается имущественными вопросами. Город нанимает адвоката, который начинает дело об изъятии земли, занятой фабрикантами Хлудовыми под станцию и подъездные пути. Денег на дорогостоящего юриста у Егорьевска нет, но Бардыгин предлагает адвокату работать бесплатно — за половину выигранной суммы. В случае поражения тот не получил бы ничего. Адвокат рискует и выигрывает. Хлудовы понимают, что они на грани поражения и незаконно построенные сооружения по решению суда придется снести. Разумеется, Бардыгин на это не рассчитывает, так как станция нужна городу, но для Хлудовых такой исход был бы серьезным ударом. Борьба нервов завершается в пользу города: Хлудовы вынуждены выкупить у города землю, на которой находятся не только железнодорожные сооружения, но и принадлежащие им фабрики. Хлудовы платят 50 тысяч рублей — город доволен, адвокат тоже.

Разбирается Бардыгин и с другими отторгнутыми имуществами — их собственники тоже вынуждены платить. Одно из дел тянулось с 1818 года и проходило при нескольких царях. Бардыгин его заканчивает — обширную территорию по мировому соглашению разделяют на несколько частей, и Егорьевск становится крупным владельцем лесов и лугов, что приносит городу дополнительную прибыль. Результат работы Бардыгина: только за первое четырехлетие его пребывания в должности городские доходы выросли почти в 10 раз — с 10 тысяч до 96 тысяч рублей в год.

Появившиеся в распоряжении городского управления средства активно тратятся на благоустройство. До Бардыгина город утопал в грязи, а часть Егорьевска осенью превращалась в болото; при

новом городском голове начинается дорожное строительство. Построенные мостовые регулярно ремонтируются. В городе не было освещения, и по ночам он погружался во тьму. При Бардыгине появилась целая сеть фонарей, даже превосходившая скромные пожелания егорьевцев. Жители одной из улиц (не самой центральной) просили поставить у них хотя бы один фонарь — городское управление смогло соорудить 31 светильник.

Важный элемент городского благоустройства — сады. По инициативе Бардыгина были основаны два сада — один из них получил название «Нескучный» (по аналогии с московским), а второму в 1897 году было официально присвоено наименование «Бардыгинский» — к 25-летию пребывания Никифора Михайловича в должности городского головы.

В городе не было водопровода — впрочем, Егорьевск не представлял исключения на фоне других уездных городов. Все же не Питер и не Москва. Как только у города появляются деньги, в 1875 году начинается строительство водопровода. Конечно, он отличается от нынешнего: вода не подводилась непосредственно в дома. Но все равно по тем временам это было вполне современное сооружение — водокачка, главный резервуар с водонапорной башней и бассейны на трех центральных площадях. На строительство выделяется 25 тысяч рублей, а недостающие 5 тысяч Бардыгин выделяет из собственных средств (кроме того, горожане по подписке собирают еще более 2,5 тысячи). Необходимые машины закупаются за границей: Бардыгин добивается их беспошлинного ввоза, экономя каждый городской рубль. В 1877 году водопровод начинает работать — и вскоре по просьбам горожан водные колонки стоят почти на всех городских перекрестках.

Одной из жизненно важных проблем, которую решал Бардыгин, была защита города от пожаров, чтобы не повторился драматичный для города 1868-й. Городской голова с самого начала своей деятельности работает над улучшением пожарной части — нанимаются новые сотрудники, закупается инвентарь. Затем строится пожарное депо. После запуска городского водопровода центральные бассейны оснащаются пожарными кранами и рукавами, по которым вода могла подаваться на место пожара — как и от улич-

ных водяных колонок. Больше страшных пожаров в истории Егорьевска не было.

Можно предположить, что многочисленные общественные дела негативно сказались на бизнесе Бардыгина. Напротив, в 1880 году он строит в Егорьевске свою текстильную фабрику недалеко от Хлудовской. Ее капитальное каменное здание выглядит не столь внушительно — Хлудовы интересовались британским опытом и даже свою фабрику украсили башней с часами — «мини-Биг-Беном». Всего же у них в Егорьевске были три фабрики — целый промышленный комплекс. У Хлудовых руководящие должности занимали британские мастера, у Бардыгина — местные. Бардыгин открывает красильную фабрику в Городце, распространяя свое влияние за пределы Егорьевска.

Надо сказать, что Хлудовы занимались в городе благотворительностью — ими были построены больница, богадельня, маленькое здание училища (кроме этого, они много жертвовали на церковные нужды). Вообще ничего не строить было нельзя — предприниматель думал о спасении души, а к этому вопросу тогда относились серьезно. Но их отношение к рабочим не позволяет говорить о социальной ответственности. «При фабрике рабочие помещаются в громадном, сыром корпусе, разделенном, как гигантский зверинец, на клетки или каморки, грязные, смрадные, пропитанные вонью отхожих мест. Жилыцы набиты в этих каморках, как сельди в бочке», — это описание хлудовского «общежития», сделанное современником. Неудивительно, что такая «корпоративная культура» довела рабочих до стачки, после чего в Егорьевске был расквартирован Моршанский полк. У Бардыгина бунтов не было — хозяин фабрики умел улаживать трудовые конфликты, не доводя рабочих до крайности. И условия жизни рабочих у него были существенно лучше.

Но не только успешным управлением городом был известен Бардыгин, но и благотворительностью. Вообще русских благотворителей церковные и светские историки сейчас оценивают по-разному. Церковные подчеркивают достоинства храмостроителей, светские — тех, кто вкладывал деньги в народное просвещение и сферу искусств. Бардыгин стремился совмещать и то и другое, но

как человек глубоко верующий он больше жертвовал на нужды церкви. По просьбе своей супруги Марии Владимировны он строит в Егорьевске Троицкий Мариинский женский монастырь с Троицким храмом и богадельней. Мария Владимировна думала провести в обители свои последние годы, но не получилось — она умерла раньше своего мужа. Первой настоятельницей монастыря стала сестра Бардыгина — игуменья Олимпиада. Бардыгину Егорьевск обязан и строительством монументального храма Святого Александра Невского. Интересно, что главный городской собор, около которого были сооружены лавки, был уничтожен при советской власти, а оба «бардыгинских» храма — Троицкий и Александровский — продолжают действовать.

Не забывал Бардыгин и о просвещении. В 1874 году в городе была основана четырехклассная прогимназия, преобразованная спустя восемь лет в гимназию. Основателем выступил местный предводитель дворянства Константин Афанасьев, он же стал и одним из попечителей. Другим был Бардыгин.

В 1901 году бессменный городской голова Егорьевска скончался. Хоронили его в Троицком Мариинском монастыре, за гробом шел, казалось, весь город. Современник вспоминал, что желающих нести гроб было так много, что его поставили на большую платформу, под которой непрерывно менялись люди, поддерживая ее на своих головах. Перед кончиной он завещал своему сыну Михаилу Никифоровичу продолжить его дело — позаботиться о монастыре и построить в городе промышленное училище.

Михаил Бардыгин был человеком уже другого времени. Если его отец был талантливым самоучкой, то родившийся в 1864 году Михаил получил солидное образование — сначала в Егорьевской прогимназии, а затем в аристократическом Московском лицее имени цесаревича Николая, основанном знаменитым консерватором Михаилом Катковым для подготовки национальной, монархической элиты. Лицей окончил с золотой медалью. Изучал промышленные достижения в Европе, а по возвращении стал ближайшим соратником отца. После смерти родителя принимает на себя ответственность за его дело, хотя уже городским головой не избирается и живет в Москве. Бардыгин-старший поставил дело так, что

городское хозяйство без него не развалилось, а его сын мог заниматься «точечными» проектами.

Михаил заботится о монастыре — он расширяет Троицкий храм, в котором покоится его отец, финансирует строительство колокольни и установку на ней часов с курантами. Не забывает и о втором отцовском храме — Александро-Невском — перед самой Первой мировой войной на средства Бардыгина-младшего к нему также была пристроена колокольня. Остается попечителем гимназии. В селе Горки (тогда Егорьевского уезда) он строит большой Никольский храм в стиле эклектики с элементами неовизантийских форм.

Но главным его делом становится создание низшего механико-электротехнического училища с пятилетним сроком обучения. Несмотря на скромную формулировку «низшее» (оно было обязательным, потому что среднее образование давали только гимназии и реальные училища), это полноценное техническое учебное заведение, дававшее своим воспитанникам серьезное образование. Сам учившийся в элитном лицее, Михаил был сторонником общедоступного обучения — в училище принимали детей всех сословий. Воспитанник монархического учебного заведения, церковный благотворитель, он становится депутатом III Государственной думы от либеральной «младобуржуазной» партии прогрессистов.

В училище готовили слесарей, токарей, литейщиков, электротехников. Бардыгин на свои средства строит обширное здание для училища в стиле модерн, до сих пор являющееся украшением города. В подмосковном Егорьевске появился дом, похожий на английский колледж. Рядом с ним были построены жилые здания — для педагогов (Бардыгин позаботился о приглашении квалифицированных специалистов) и учеников. Училище оборудовали по последнему слову тогдашней техники. Напротив был разбит ботанический сад. Егорьевские думцы предложили назвать училище именем Бардыгина, но основатель предложил другой вариант — присвоить ему имя цесаревича Алексея. Это обеспечило принятие учебного заведения под покровительство императора, что было полезно.

В 1909 году при бардыгинской фабрике открывается публичная библиотека, которая положила начало еще одному интереснейше-

му проекту младшего Бардыгина, так полностью при его жизни и не реализованному. При библиотеке быстро создается музейное собрание, которое затем отделяется и превращается в Музей русской старины, который Бардыгин дарит городу, но продолжает содержать. В музее за короткий срок были собраны более 10 тысяч экспонатов: иконы, фарфор, стекло, оружие, нумизматика, старинные документы, археологические находки. Это неудивительно, так как братом жены Бардыгина, Глафиры Васильевны, был Владимир Постников, коллекционер и владелец антикварного магазина на московском Тверском бульваре. Вносит большой вклад в формирование музейной коллекции и сам Михаил — например, у священника из построенного им Никольского храма он выпрашивает редкую неканоническую икону святого Христофора с песьей головой.

Бардыгин договаривается с модным среди ценителей русской старины архитектором Щусевым, и тот придумывает «головкружительный» проект здания музея — огромную многоэтажную круглую башню с окнами-бойницами, наверху которой располагалась конная статуя Георгия Победоносца — покровителя Егорьевска. Однако революция помешала реализации этой затеи — работа Бардыгина по превращению родного города в культурный центр оказалась прервана.

После революции имущество Михаила Бардыгина было конфисковано. Но советская власть использовала его способности, а он не просто был «сыном своего отца», но и унаследовал его предпринимательский талант. Основной капитал бардыгинской фирмы составлял 7 млн рублей, оборот достигал 18 млн в год, отделения функционировали в Ташкенте, Коканде, Китае, других местах. Некоторое время Бардыгин консультировал новых руководителей текстильной промышленности, а затем ему разрешили уехать во Францию. Там егорьевский благотворитель вел жизнь тихую и богомольную, составил двухтомный труд в помощь читателям Нового Завета, умер в 1933 году. Он мечтал быть похороненным рядом с отцом в монастыре в Егорьевске, но его могила находится на русском кладбище в Ницце.

В постсоветское время о Бардыгиных вспомнили. Восстановлено захоронение бывшего городского головы в еще не так давно

разоренном, а сейчас восстановленном Троицком монастыре. В здании бывшего училища сейчас находится Егорьевский технологический институт — филиал московского Станкина, носящий имя Никифора Бардыгина. В Егорьевске продолжает работать историко-художественный музей, находящийся сейчас в бывшем особняке купцов Никитиных — в 2010 году он представлял Россию на конференции Европейского музейного форума. В городе есть маленькая Бардыгинская улица.

Пример отца и сына Бардыгиных показателен тем, что можно сочетать успешное ведение бизнеса и социальную ответственность. Таких примеров становилось все больше — на место хватких, безжалостных, обильно представленных в пьесах Островского Тит Титычей приходили люди, понимавшие, что надо работать иначе, более гуманно, создавая не только пресловутую прибавочную стоимость, но и комфортную социальную среду. Иногда кажется, что российскому обществу не хватило нескольких десятилетий эволюционного развития, чтобы на смену «хлудовскому» бизнесу в России окончательно пришел «бардыгинский». Но такой шанс история дает не всегда.

Сергей Войцеховский

Русские гимназисты в рамках классического образования изучали сочинение Ксенофонта «Анабасис» (в русском переводе «Восхождение») — про возвращение из Персии в Европу воевавшего на стороне Кира Младшего против Артаксеркса II наемного греческого войска. Оказавшиеся после гибели своего нанимателя в глубине чужой страны, да еще и без главных полководцев, вероломно убитых одним из персидских вельмож, они смогли организоваться, выбрать новых командиров и прорваться на родину. Этот поход вошел в историю не как пример победы — ее не было, хотя Ксенофонт и подчеркивает, что греки воевали успешно и лишь гибель Кира привела к поражению, — но как пример того, как сильное руководство способно спасти жизни подчиненных в, казалось бы, безнадежной ситуации. Эта история дошла до нас в подробностях, так как участвовавший в походе греков Ксенофонт совмещал таланты военачальника и писателя, автора сочинений, ставших классическими.

В Великолуцком реальном училище, где учился Сергей Войцеховский, греческий язык не преподавали, там готовили будущих «технарей», которые, как считалось, могли обойтись и без классики. Дети, кстати, были только довольны, так как классическое образование в российских условиях часто превращалось в нудную зубрежку древних языков. Но об «Анабасисе» он, конечно же, имел неплохое представление, так как мировую военную историю проходили и в Константиновском артиллерийском училище, и в Николаевской академии Генерального штаба, которые Войцеховский последовательно закончил.

С «Анабасисом» с давних пор стали сравнивать и другие опасные, выглядевшие безнадежными военные отступления, которые позволяли спасти армию или хотя бы ее часть. В истории Белого движения во время Гражданской войны было два «анабасиса». Один — это Ледяной поход (его еще называют Первым Кубанским походом) Добровольческой армии генерала Корнилова зимой 1918 года. Тогда под напором красных войск несколько тысяч белых отходили от Ростова-на-Дону на Кубань, к Екатеринодару, где Корнилов был убит, а потом вернулись на Дон. Но армия была спасена, новым командующим стал Деникин, и в течение последующих месяцев она развернулась в мощную военную силу, контролировавшую юг России. «Первопоходники» стали элитой Добровольческой армии, вошли в состав ее знаменитых «цветных» (названных так из-за разных цветов фуражек, погон, наруканных знаков и шевронов) частей — корниловцев, алексеевцев, марковцев. В ходе похода к его участникам присоединился офицерский отряд, пробившийся под командованием полковника Дроздовского с боями из румынских Ясс на Кубань — так в Белом движении появились дроздовцы.

Но Ледяной поход Корнилова проходил в условиях относительно мягкой южнорусской зимы. В то время были надежды на скорый крах большевиков, на помощь союзников по Первой мировой войны, для которых большевистский режим был враждебен не только своей идеологией, но и в связи с сепаратным выходом из войны, облегчившим Людендорфу последнее отчаянное наступление на Париж. Были надежды на то, что «окаянные дни» скоро закончатся, пройдут как страшный сон, в который погрузилась еще недавно понятная и предсказуемая страна.

И эта вера в безусловную победу вела к трагедии — к тому, что в кубанском Ледяном походе сформировалась элита, которая несла на себе основную тяжесть боевых действий и в то же время с пренебрежением относилась к тем, кто в этом походе не участвовал. И тем более к тем, кто по тем или иным причинам оказался в Красной армии — пусть даже в качестве насильно мобилизованных. Василий Шульгин, один из идеологов и практиков Белого движения, писал, что к Белому движению примазывались серые и

грязные — первые «прятались и бездельничали, вторые крали, грабили и убивали не во имя тяжкого долга, а собственно ради садистского, извращенного грязно-кровавого удовольствия». Но и многие идейные белые, не опорочившие чистоты своего знамени, оказались неспособными морально принять, что офицер мог не пойти в кубанский Ледяной поход и остаться честным человеком. Прежние заслуги таких офицеров — а среди них было немало героев Первой мировой — в глазах «первопоходников» фактически обнулялись. В этом белые отличались от красных — Троцкий прагматично брал в свою армию всех, кто мог быть ему полезен. Припоминать старые грехи — реальные и мнимые — большевики начали только в конце 20-х, когда вырастили свое, «красное офицерство» и значимость военспецов резко упала.

Второй Ледяной поход проходил в совершенно иной ситуации. В историю Белого движения он вошел как Великий Сибирский Ледяной, а значит, проходил в условиях суровой сибирской зимы. Разгромленная армия адмирала Колчака уходила на восток в условиях, когда уже никто из белых в Сибири не верил в победу, по крайней мере в этой части России (информация о том, что происходит на юге — а там тоже ничего хорошего для белых войск не было, — поступала скудно). Жуткий хаос отступления сопровождался нравственным упадком — один из видных колчаковских генералов, Бронислав Зиневиц, поднял мятеж под флагом примирения красных и белых. Еще более известный военачальник, Анатолий Пепеляев, балансировал на грани мятежа, сохраняя верность Колчаку, но самовольно арестовав его главнокомандующего Константина Сахарова. Казалось, еще немного, и армия развалится, превратившись в массу людей, спасающихся кто как может.

В этот момент армию сплотил и повел в 2000-километровый путь на восток генерал Владимир Каппель. А его ближайшим соратником, а после гибели преемником стал генерал Сергей Войцеховский. Наверное, ему было еще труднее, чем Каппелю. У того была лидерская харизма, слово «каппелевцы» стало нарицательным для наименования лучших войск «белой Сибири». Дело было не только в его безусловном военном таланте, но и в политических способностях: Каппель мог объединить и монархистов, и республиканцев. У Вой-

цеховского с харизмой было хуже: для монархистов он был слишком левым, близким к республикански настроенным чехам. Да и второму всегда труднее — вольно или невольно его сравнивают с первым. Но он обладал волевыми качествами, чтобы в ходе похода сменить Каппеля и сохранить свой авторитет командира в течение всего оставшегося времени похода. Оба они обладали качествами сильных лидеров в чрезвычайной ситуации.

Генерал Войцеховский, как и Каппель, был потомственным кадровым военным. Впрочем, карьера отца Каппеля, Оскара Павловича, не задалась: несмотря на награды за боевые действия в Средней Азии, он дослужился в армии лишь до штабс-капитана, затем служил в жандармском корпусе и умер в 45 лет ротмистром. Отец Сергея Войцеховского, Николай Карлович, несмотря на участие в Русско-турецкой войне и три боевых ордена, тоже блестящей карьеры не сделал. По национальности поляк, но православный, а значит, ограничения по службе для католиков на него не распространялись, он в 45 лет стал лишь подполковником после многолетнего командования ротой. Некоторый импульс его продвижению по службе дала Русско-японская война, во время которой Николай Карлович стал полковником. Через несколько лет он получил под свое начало далеко не самый престижный 11-й Сибирский стрелковый полк во Владивостоке и вышел в отставку перед Первой мировой войной в возрасте 56 лет генерал-майором (своего рода утешительный приз, влиявший на статус и пенсию, но не позволявший вернуться в армию в генеральском чине). Впрочем, на следующий год началась война, и пожилой военный все же стал действующим генералом, командуя бригадой ополчения на Юго-Западном фронте.

Карьера Сергея Войцеховского, в отличие от отцовской, была блестящей, хотя проходила не без проблем. После окончания Константиновского артиллерийского училища в 1904 году 21-летний подпоручик был направлен на службу в Грузию. Вскоре он попросился на фронт Русско-японской войны, но пока принималось решение, боевые действия закончились, и он остался служить на прежнем месте. В 1907 году был переведен в Польшу, где проходил строевую службу в артиллерийском дивизионе в Сувалках. Но его задача — не служить долгие годы в провинции, подобно отцу, а

поступить в Академию Генштаба, успешное окончание которой гарантировало быстрое продвижение по службе. Но для этого надо было преодолеть массу препятствий — пройти предварительные испытания в своем военном округе, сдать экзамены в академию, окончить основной двухлетний курс (с массой предметов и педантичными профессорами, не прощающими промахов), быть переведенным на дополнительный курс, успешно завершить учебу на нем и получить право на причисление к Генеральному штабу. Срыв на каждом этапе приводил к возвращению в свой полк — и нужно было либо все начинать заново (в отличие от гражданских учебных заведений, результаты предыдущей учебы не засчитывались), либо дальше тянуть гарнизонную лямку.

Войцеховский поступает в академию, учится, но тут происходит срыв. Роман офицера с дочерью начальника Виленского военного госпиталя полковника Темникова Маргаритой приводит к беременности девушки. Никто не заинтересован в скандале, тем более что молодые люди любят друг друга. Для урегулирования семейных дел поручику Войцеховскому приходится покинуть академию. После женитьбы он снова сдает экзамены — и все начинается сначала. Во время второго года учебы на первом курсе у поручика рождается сын Георгий.

В 1912 году Войцеховский заканчивает академию. Его тянуло к новым знаниям — и вскоре он получает образование в авиационной школе. Офицер Генштаба должен был иметь командный опыт — и штабс-капитана Войцеховского в 1913-м назначают командиром роты в Харьков. В следующем году, за несколько дней до начала Первой мировой, он становится старшим адъютантом (по современному — начальником оперативного отдела) штаба 69-й пехотной дивизии, с которой уходит на фронт. Воюет три года — только в штабах. Не потому, что отсиживается в ближнем тылу — просто в армии дефицит хороших штабных офицеров.

Вначале он воюет на Юго-Западном фронте, потом дивизию перебрасывают на Западный. В 1915-м капитан Войцеховский переводится в штаб корпуса, в следующем году был ранен (штабная служба тоже опасная) и производится в подполковники — на войне успешным офицерам чины присваивались быстро, происходил

естественный отбор, который Войцеховский выдержал. В 1917-м он уже исполняет обязанности начальника штаба дивизии. Награжден несколькими орденами, но, как «штабной» не получает ордена Святого Георгия — мечты офицеров, который обычно получали командиры воинских частей (Каппель, кстати, тоже служил во время Первой мировой в штабах и тогда не стал георгиевским кавалером).

Уже при Временном правительстве Войцеховский получает назначение, повлиявшее на всю его дальнейшую судьбу: он становится начальником штаба вновь сформированной союзной Россией 1-й чехословацкой Гуситской стрелковой дивизии, входивший в состав Чехословацкого корпуса. Основу корпуса составили чехи и словаки, служившие в австро-венгерской армии и перешедшие на стороны славянской России. Но среди братьев-славян не было старших офицеров — и командные и штабные посты заняли русские военные. Войцеховский неплохо вписался в новую для себя реальность — он остается в корпусе и после прихода к власти большевиков. Более того, в 1918 году получает свою первую за время войны командную должность — командира чехословацкого стрелкового полка.

После выхода России из войны Чехословацкий корпус, официально перешедший в состав французской армии, направляется через Сибирь на Дальний Восток с тем, чтобы переправиться во Францию и усилить войска Антанты. Понятно, что немцы были против, и под их давлением большевики в конце мая пытаются разоружить корпус, растянувшийся в эшелонах чуть ли не по всей Сибири. В ответ чехословаки — чуть ли не единственная часть старой армии, сохранившая боеспособность, — восстают, их поддерживают русские офицеры, ушедшие в Сибири в подполье и сочувствовавшие Белому движению. В течение нескольких дней советская власть на сибирской территории рушится. Войцеховский руководит взятием Челябинска, затем войска под его командованием занимают Троицк и Златоуст, а затем движутся на север, к Екатеринбург и Нижнему Тагилу, и берут эти города. Произведенный в полковники, он показывает себя прекрасным тактиком и становится одним из ведущих белых военачальников на востоке России. В конце 1918-го он стано-

вится генерал-майором и командиром корпуса. В Гражданскую войну успешные офицеры продвигались по службе еще быстрее, чем в Первую мировую. Но многие выдвиненцы компенсируют нехватку опыта самоуверенностью, доходящей до авантюризма. Войцеховский надежен и компетентен. В 1919-м уже в составе войск Колчака он участвует вначале в весеннем наступлении, а затем в контрнаступлении белых — и снова добивается успехов. За заслуги получает два Георгиевских ордена.

Но белая армия слабеет из-за слабости руководства, нехватки сил, крестьянских восстаний в тылу — и способностей Каппеля и Войцеховского становится недостаточно, чтобы удержать фронт. Начинается тяжелое осеннее отступление, во время которого Войцеховский получает командование 2-й армией. Оборона столицы «белой Сибири» Омска, задуманная генералом Сахаровым (на два года старше Войцеховского, храбрый офицер, но плохой стратег), завершается полным крахом. В армии начинается деморализация. Подчиненный Войцеховскому генерал Петр Гривин — георгиевский кавалер — приказывает своим подчиненным бросить фронт и уходить в глубь Сибири, что угрожает развалом всего фронта. Войцеховский 20 ноября 1919 года приезжает на командный пункт Гривина и требует отменить приказ. Гривин отказывается, и Войцеховский, недавний рафинированный штабист, расстреливает генерала. Катастрофы удается избежать — но только на время.

Через пару недель в Новониколаевске (ныне Новосибирск) поднимает мятеж молодой полковник Аркадий Ивакин, приказавший арестовать Войцеховского. Генерала спасает польская дивизия, сформированная, как и Чехословацкий корпус, в основном из военнопленных. Войцеховского освобождают, Ивакина расстреливают. А в конце декабря в Красноярске восстает Зиневич — и фронт окончательно рушится.

В начале января 1920-го Войцеховский выводит свои войска из окружения под Красноярском и вместе с Каппелем возглавляет Великий Сибирский Ледяной поход. Это был страшный поход: по тайге, по бездорожью, вдоль Транссибирской железной дороги шли люди. Военные и их семьи, знаменитые генералы и безвестные поручики. Интеллигенты, купцы, священники, чиновники со свои-

ми семьями — все, кто понимал, что встреча с красными не сулит им ничего хорошего. Это был путь к жизни, на котором разворачивались жесточайшие трагедии.

В повести «Курако» Александра Бека есть история про группу гражданских беженцев: стоят в тайге у дороги растерянные городские люди, и вдруг появляются запряженные лошадьми сани с замерзшими насмерть седоками. Мертвецов выбрасывают, и инженер Иосиф Федорович вталкивает в сани своего друга профессора Павла Гудкова и его жену, а сам остается (фамилии в книге другие — это художественное произведение). Федорович — крупнейший организатор каменноугольной промышленности, и он рассчитывал выжить при большевиках, и действительно они дают ему видный пост (арестуют его только в 1928-м, расстреляют в 1937-м). А Гудкову, как бывшему министру в одном из антисоветских правительств, оставаться нельзя — он доберется до Владивостока, потом до Америки, где станет членом пяти академий и научных обществ.

Во время похода от тяжелейшего воспаления легких умирает Каппель, успев назначить Войцеховского новым главнокомандующим. Войцеховский ведет белых дальше, к Иркутску, громит красные отряды, не выдержавшие напора голодных и обмороженных людей. В Иркутске в плену находится адмирал Колчак — Войцеховский требует его выдачи, но адмирала успевают расстрелять. Понимая, что город брать бессмысленно — боеприпасов и продовольствия не хватает, можно погубить армию — он обходит Иркутск и ведет своих людей дальше — через Байкал (в условиях начавшегося ледохода) к Чите, где пока еще правит белый атаман Семенов. Там в начале марта 1920 года поход завершается. Всего Войцеховский вывел на восток 30–35 тысяч человек. Было вывезено и тело генерала Каппеля, похороненное в Чите, затем перезахороненное в Китае, а в 2007 году в московском Донском монастыре.

В семеновских владениях Войцеховский долго не задерживается — он презирает атамана, который всю Гражданскую войну провел в тылу. Семенов тоже демонстрирует неприязнь к генералу, чьи заслуги выше, чем его собственные. Войцеховский уезжает к

Врангелю в Крым, чтобы продолжать войну, но успевает только к эвакуации.

В эмиграции его жизнь сильно отличается от судеб многочисленных белых генералов и офицеров. В 1921 году он поступает на службу в армию Чехословакии, где сохраняет генеральский чин, полученный у Колчака. С чехами у него были хорошие отношения еще с 1917-го, да и чехословацкие власти много сделали для поддержки русских эмигрантов. В то же время репутация Чехословацкого корпуса в глазах белых была сильнейшим образом испорчена выдачей Колчака иркутским повстанцам и отказом помочь белой армии во время Ледяного похода, отчего число замерзших в застрявших эшелонах, умерших от тифа, сгинувших в тайге, существенно увеличилось. Каппель даже во время похода заочно вызывал командующего чешскими легионерами Яна Сыровы на дуэль. Но была и другая сторона, о которой тоже не надо забывать, — чешский корпус находился в Сибири уже полтора года, Гражданская война в России была для него чужой и все менее понятной войной, солдаты и офицеры рвались домой, во вновь созданную независимую Чехословакию. Большевики же охотно соглашались выпустить их из страны.

Наверное, и эти аргументы учитывал Войцеховский, когда соглашался вступить в чехословацкую армию, где он быстро продвинулся по службе. Уже в 1924 году он командовал дивизией, с 1927-го — военными округами, в 1929-м был произведен в высший чин генерала армии. Его ценили как военного профессионала, но не послушали осенью 1938-го, когда Гитлер предъявил Чехословакии ультиматум о передаче Германии Судетской области. Войцеховский требовал сопротивляться, но глава чехословацкой армии, все тот же генерал Сыровы, высказался за то, чтобы уступить. Была ли у Чехословакии реальная возможность остановить Германию, можно спорить. Финляндия же сопротивлялась Сталину, и сохранила независимость, а военная промышленность Чехословакии была одной из передовых в Европе. Но в любом случае сдача части территории не спасла страну от захвата нацистами меньше чем через полгода — в марте 1939-го, после чего Войцеховского, как и многих других военачальников, уволили из армии.

Во время Второй мировой войны Войцеховский участвует в некоммунистическом сопротивлении и даже некоторое время числится военным министром в подпольном правительстве, но большой активности не проявляет — шанс на сопротивление был упущен в октябре 1938-го. Есть версия, что под конец войны немцы пытались привлечь его к сотрудничеству, но получили ответ: «Я большевиков ненавижу, но против русского солдата я воевать не пойду». Перед занятием Праги советскими войсками в мае 1945-го Войцеховский на всякий случай отправляет семью на Запад, а сам остается в столице — ведь он ничем не опорочивший себя генерал армии, союзной СССР. Советские власти думают иначе — уже 12 мая он был арестован СМЕРШем и вскоре вывезен в Союз.

Осудили его на срок, который в сталинской стране считался почти символическим — 10 лет лишения свободы, видимо действительно разобравшись в том, что с немцами он не сотрудничал и красных во время Гражданской войны не расстреливал. Но этот срок стал для пожилого и больного генерала пожизненным. Последние годы жизни он провел в лагере в Иркутской области — в тех местах, где проходил Ледяной поход. Умер он в 1951-м, а спустя 46 лет президент Чехии Вацлав Гавел посмертно наградил его орденом Белого льва. В России Войцеховский до сих пор малоизвестен, оставаясь в тени Каппеля. Такова нередко судьба второго — хотя бы и достойно заменившего своего предшественника.

Петр Григоренко

В советское время идеологи и пропагандисты сформировали образ идеального исторического героя, лишённого противоречий и если обладающего недостатками, то только как продолжением достоинств. Такой подход способствовал тому, что многие официальные кумиры не устояли перед публикациями разоблачительных документов конца 1980-х годов, когда знаки стали меняться с плюса на минус. Другое дело, что стремление найти идеальные образцы от этого никуда не исчезло. И получается, что очень трудно рассматривать историческую личность во всей ее многомерности и противоречивости. А это надо делать, чтобы не творить новых миров и в то же время не делать поспешных выводов.

Есть биографии типичные — родился, учился, работал, ушел на пенсию — таких большинство. Они по-своему интересны, как интересен каждый человек, но не вызывают ярких эмоций. А есть исключительные, когда человек, до поры до времени внешне гладко шедший по жизни и игравший по правилам системы, вдруг становится бунтарем, ломающим свои планы во имя справедливости. Такие люди редки, окружающим они могут казаться странными, иногда безумцами, когда обычный человек со своими слабостями и «скелетами в шкафу» превращается в гонимого правдоискателя.

Такова судьба Петра Григорьевича Григоренко, генерал-майора, разжалованного за участие в диссидентском движении. Он родился в 1907 году в селе Борисовке Бердянского уезда Таврической губернии, недалеко от побережья Азовского моря — сейчас это юг Запорожской области. Отец был справным крестьянином, рано овдовел (мать Петра умерла от тифа, когда ему было три года).

Вскоре отец ушел на Первую мировую и попал в плен, дядю, который мог помочь, забрали в тыловое ополчение, и хозяйствовать стал 12-летний старший брат Иван, которому помогал семилетний Петр. Дети убрали хлеб, свезли его во двор, сложили в скирды, частично обмолотили. Осенью взялись за кукурузу, подсолнухи, бахчевые культуры — убрали и их. Когда посеяли озимые, вернулся дядя, которого демобилизовали как кормильца двух семей, — стало легче. Отец вернулся из плена только в 1918-м.

Петр учился в сельской школе, был хорошим учеником, книго-чеем. Читал и Пушкина, и Гоголя, и Жюль Верна, и Фенимора Купера. Любил ходить к сельскому священнику, умному, образованному и доброму отцу Владимиру Донскому, который учил его Закону Божьему, даже когда после революции эти уроки в школе отменили. В Гражданскую войну отец Владимир сочувствовал белым, в армии которых воевали его дети, но как пастырь спасал от расстрела красных. Потом уже красные хотели его расстрелять как белого, но спасли односельчане. Приверженцами красных были дядя Петра Александр и старший брат Иван; симпатии Петра были на их стороне и не только из-за родственных связей.

После сельской школы он недолго учился в реальном училище в близлежащем Ногайске — сейчас это Приморск. Там столкнулся с белым террором, когда вошедшие в апреле 1918-го в Ногайск белые расстреляли членов местного совета — людей зажиточных и хозяйственных, пошедших в совет ради поддержания порядка и не бежавших потому, что не видели за собой никакой вины. Жуткая картина — отправленный на расстрел председатель совета, офицер военного времени Антон Новицкий, педагог из того самого училища, в которое поступил Петр, идет по Ногайску к зданию совета в полной офицерской форме, а вскоре его убивают на крыльце этого здания. Оказывается, Новицкого недострелили — он упал за секунду до выстрела, потом вернулся домой, надел форму и отправился протестовать против беззакония: «Ведь если никто их не остановит, они же пол-России перестреляют. Нет, надо командованию об этом рассказать». И погиб. Здесь социалист Новицкий выступил в качестве защитника порядка, искренне полагавшего, что «начальство не знает» (такая вера свойственна людям при разных репрес-

сивных режимах). Потом Григоренко сравнивал Новицкого с правозащитниками 1970-х: «Величие человека, который собственную безопасность ставит ниже общественного интереса, никогда не умрет».

Неудивительно, что Петр ненавидит белых. После драки с реалистами, издевавшимися над еврейским мальчиком, его исключают из училища. Петр возвращается в родное село, где после Гражданской войны становится одним из организаторов комсомола: еще недавно учившийся Закону Божьему 14-летний юнец требует закрытия церкви, вместе с друзьями издевается над верующими и над Богом. И тогда он встречается с большим и постаревшим отцом Владимиром. Бог не нянька и не мальчишка, чтобы откликаться на глупые обиды, говорит он и призывает Петра к разуму. Мальчик, только что демонстративно кощунствующий, возвращается домой, беззвучно плачет и долго молится. «Я много еще зла наделал своему народу, думая, что творю добро, но я уже никогда больше не допускал святотатства», — писал Петр Григорьевич в своих воспоминаниях. Но вера в диктатуру пролетариата, в светлое будущее, в коммунистическую утопию осталась — она была простой и привлекательной.

В 1922 году Петр переезжает в Юзовку, нынешний Донецк, где учится на слесаря. Потом работает слесарем, сцепщиком вагонов, кочегаром. Не забывает строить коммунизм, создав пионерский отряд из уличных мальчишек. Восхищается простой, железной логикой Сталина, спорит с троцкистами. В 1925-м идет работать помощником машиниста, попадает в аварию, месяц находится между жизнью и смертью, но выживает. Врачи запрещают ему заниматься физическим трудом — приходится идти политруком в трудовую школу и детский городок для несовершеннолетних правонарушителей (пригодился опыт пионерского организатора). Затем становится секретарем сельского райкома комсомола.

В 19 лет его принимают в партию большевиков, и вскоре он уже руководит комсомольской организацией транспортного комбината. И тут строитель нового мира сталкивается с банальной интригой — подчиненный Петра, ведающий в организации агитацией за светлое

будущее, пытается занять его место. Для этого он заручается поддержкой горкома комсомола и объявляет Петра сыном кулака. Григоренко снимают с должности, но после проверки восстанавливают: согласно советскому классовому подходу его отец оказывается середняком, а вот родитель его конкурента — хотя и мелким, но фабрикантом.

Одновременно Петр учится на рабфаке (рабочем факультете), а в 1929 году его направляют учиться в Харьковский политехнический институт на отделение мостостроения инженерно-строительного факультета — советской власти нужны красные инженеры. В институте его тоже избирают комсомольским секретарем, он становится членом Центрального комитета украинского комсомола. В это время начинается коллективизация. Отца Петра как агронома-полевода оставляют в покое, а вот дядю Александра — того самого, который был за красных, — раскулачивают, затем арестовывают. Умирает он в тюрьме в Омске — Петр был уверен, что дядю забили на допросе. В конце 1931 года Петр вывозит отца из голодающего села, спасая его от смерти, и пишет письмо в ЦК партии, описывая катастрофу своей сельской артели. Обращение действует — селу оказывают помощь, и Петр ликует: эта история становится для него подтверждением мудрости родной партии. То, что соседним селам так никто и не помог, он осознал спустя много лет.

К тому времени он уже по приказу партии переводится на учебу в Военно-инженерную академию в Москву и без особого желая связывает свою жизнь с армией. В 1934-м заканчивает учебу, служит начальником штаба, а затем командиром инженерного батальона в Западном особом военном округе. Он руководит строительством мостов и дорог, но при этом занимается и другим, очень хорошо оплачиваемым делом, — уничтожением храмов. В Витебске он взрывает Успенский собор XVIII века (восстановлен этот храм уже в веке нынешнем). Причем делает это настолько умело, не разрушив соседних домов и не погубив людей, как это случилось в соседнем Бобруйске, что его направляют в столицу советской Белоруссии, Минск, взрывать Казанскую церковь в византийском стиле у Дома Правительства — так, чтобы не задеть важное государственное здание. Григоренко снова выполняет приказ, запросив за минский храм

в три раза больше, чем за витебский. Потом он взрывает церковь в Смоленске.

Гордости за содеянное военный инженер не испытывал. По его настоянию из витебского собора вынесли иконы и церковную утварь — уничтожать храм вместе со святынями Григоренко счел святотатством, возможно вспомнив деревенского отца Владимира. К моменту смоленского взрыва неприятие достигла предела — и он отказывается от выгодной работы. Премииальные за взрывы напоминают ему о 30 сребрениках. И снова спустя много лет Григоренко судит себя, не ставя в заслугу этот отказ — он ведь не восстал против разрушения, а решил, что пусть разрушают другие.

Многие сослуживцы Григоренко были репрессированы, сам он избежал ареста, возможно, потому, что в 1937 году был направлен учиться в Академию Генерального штаба. В академии он учится успешно — насколько можно было в условиях арестов многих ведущих профессоров. Уже после смерти Григоренко было опубликовано его письмо секретарю ЦК Андрееву от декабря 1938-го, в котором, требуя повысить качество обучения, он обвинял профессора Меликова в восхвалении врагов народа и преуменьшении роли Сталина в Гражданской войне. Было в письме и кое-что разумное — например, о необходимости изучения опыта современных войн, но это тонуло в идеологической пене, превращавшей письмо в донос.

Тогда Меликов не пострадал — арестовали его только в 1942-м по совсем другому делу, из тюрьмы он не вышел. Текст письма больше говорит о самом Григоренко того времени — коммунист-фанатике, который, несмотря на некоторые частные сомнения, искренне верит в правоту партии и готов бороться со всеми, кого он считает ее врагами. Тем более что в том же 1938 году советская власть творит для него очередное чудо. В этом году арестовали брата Ивана — того самого, кто был маленьким хозяином в 12 лет во время мировой войны; к 1938-му он уже стал заводским инженером. И хотя его скоро выпустили, но он бросился в Москву к брату Петру рассказывать про тюремные порядки, про пытки. Майор Петр Григоренко добивается приема у генпрокурора СССР Вышинского, на котором рассказывает о том, что услышал от брата.

Затем, когда видит, что ничего не изменилось, приходит в прокуратуру еще раз — и настаивает на своем. К тому времени власти сворачивают массовые репрессии — и настойчивые обращения Григоренко становятся основанием для того, чтобы в данном случае восстановить справедливость. Арестовываются причастные к пыткам следователи и прокуроры, а некоторых узников освобождают. История Григоренко — один из страшных примеров того, что правдоборец и доносчик не обязательно могут быть разными лицами.

В 1939 году Григоренко направляют на Дальний Восток, где он служит в штабах, участвует в боях на Халхин-Голе, получает ранение. Великую Отечественную он встречает офицером штаба Дальневосточного фронта, затем командует там же бригадой, занимается подготовкой пополнений, уходивших на фронт. Командир из него не получился — видимо, таких способностей у него не было. В декабре 1943-го он отправляется на Западный фронт в качестве заместителя начальника штаба 10-й гвардейской армии, но уже через пару месяцев тяжелое ранение на полгода выводит его из строя. Возвращается Григоренко на фронт в августе 1944-го — начальником штаба 8-й Ямпольской стрелковой дивизии 4-го Украинского фронта, воевавшей в Карпатах. И здесь оказывается на своем месте — за умелое планирование боевых операций и личную отвагу награждается двумя орденами и производится в полковники.

Но в полной мере его военные таланты раскрываются на педагогической работе — после войны он более полутора десятилетий работает в Академии имени Фрунзе. Вначале он становится старшим преподавателем, а после защиты кандидатской диссертации об особенностях организации и ведения общевойсковой наступательного боя в горах переходит в научно-исследовательский отдел, который возглавляет в 1952-м. Руководит авторским коллективом основного теоретического труда академии «Общевойсковой бой», публикует книги и статьи по тактике. Но главным делом Григоренко постепенно становится военная кибернетика — научная дисциплина, которую он внедрил в академии. Еще в 1953 году он впервые услышал о работах Норберта Винера о применении кибернетики для исследования операций в вооруженных силах. И хотя кибернетика тогда еще официально значилась «буржуазной лженаукой», Гри-

горенко создал в своем отделе переводческое бюро, получившее указание прежде всего реферировать работы, связанные с этой наукой. Когда запрет на кибернетические исследования был снят, Григоренко инициирует создание в академии кафедры военной кибернетики — в 1958 году он становится ее первым заведующим.

За научно-педагогические заслуги ему присваивается генеральское звание, к августу 1961 года он завершает докторскую диссертацию. И вот этот успешный военный деятель полностью меняет свою жизнь 7 сентября 1961-го, когда выступает на партийной конференции Ленинского района Москвы с необычайной для того времени речью. Почему он так поступил? Смерть Сталина Григоренко воспринял как личную трагедию — он еще верил вождю всех народов. Доклад Хрущева на закрытом заседании XX съезда, который Григоренко в отличие от абсолютного большинства советских людей смог прочитать, потряс его, но все равно вызвал смешанную и типичную для того времени реакцию — мол, нельзя плясать на могиле великого человека.

Однако это было время, когда из лагерей стали возвращаться реабилитированные узники — и к жене Григоренко, Зинаиде Михайловне, которую в 30-е годы арестовывали по политическим обвинениям, приехала ее тяжело больная подруга, отбывшая в тюрьме, лагере и ссылке почти два десятилетия как ЧСИР (член семьи изменника родины). Разговоры с ней — и с другими людьми — позволили Григоренко постепенно отказаться от привычных представлений о Сталине и его режиме. Произошло то, что иногда свойственно сильным и убежденным людям — если из их мировоззрения выпадает ключевой элемент, то эрозии подвергается и многое другое. Так что выступление генерала стало не импульсивной акцией, а действием, продуманным в течение долгого времени. Григоренко вспоминал, что страха у него не было, но было то, что хуже страха, — беспокойство за семью. И все же после тяжелых раздумий он решил высказаться публично.

В выступлении Григоренко не было ничего антисоветского — в своей речи он уже антисталинист, но еще ленинец. Он предложил «усилить демократизацию выборов и широкую сменяемость, ответственность перед избирателями. Изжить все условия, порож-

дающие нарушение ленинских принципов и норм, в частности высокие оклады, несменяемость. Борьба за чистоту рядов партии». Призвал отправлять коммунистов, замеченных в бюрократизме, заниматься физическим трудом. Но главное — мягко намекнул на то, что повторяется культ личности. Этот намек в отношении Хрущева был быстро понят начальством.

Речь Григоренко встречают аплодисментами, большинство зала на его стороне, но когда после перерыва начальство требует лишить его делегатского мандата, то за лишение голосует меньшинство (все же не сталинские времена), но против — никто. Мандат тем не менее отбирают — а затем объявляют строгий выговор и выгоняют из академии. В начале 1962 года генерала отправляют на Дальний Восток в город Усурийск на полковничью должность в штаб армии. Но он не успокаивается — много читает. Пока Григоренко остается сторонником ленинских идей, искаженных, по его мнению, Сталиным и Хрущевым. Но подсознательно он отбирает из ленинского наследия то, что соответствует его взглядам — и переосмысляет идеи, из которых прямо вытекала сталинская практика, например о диктатуре. Только в последние годы жизни он откажется и от ленинской догматики, завершив свою идейную эволюцию от сталиниста до демократа.

Мысли рожают дела. Осенью 1963 года, будучи в отпуске в Москве, генерал организует подпольный «Союз борьбы за возрождение ленинизма» (в который вошли сыновья Петра Григоренко, молодые офицеры, и несколько их друзей, студентов и офицеров). Генерал пишет листовки, распространявшиеся в Москве и других городах. Он обличает правящую бюрократию, выступает за «отстранение от власти бюрократов и держиморд, за свободные выборы, за контроль народа над властями и за сменяемость всех должностных лиц, до высших включительно». То есть развивает и обостряет тезисы, высказанные им еще в речи на партконференции в 1961-м.

Долго так продолжаться не могло — 2 февраля 1964 года генерала арестовывают в Хабаровске, доставляют в Москву и помещают во внутреннюю тюрьму КГБ. Арестовывают и сыновей. Отказавшегося от раскаяния Григоренко заключают в психиатрическую лечебницу, где быстро признают невменяемым. Его лишают

генеральского звания, что выглядит парадоксом — если человек безумен, то по закону он невиновен и наказывать его нет оснований. Похоже, что с самого верха поступили взаимоисключающие указания — и чиновники не посмели им противиться.

А далее происходит неожиданное. В октябре 1964-го снимают Хрущева, прогнозы о скорой отставке которого были одним из оснований для признания Григоренко невиняемым. Врачи сравнивают биографии нового главы партии Брежнева и Григоренко и выясняют, что оба воевали на 4-м Украинском фронте. Можно представить себе ужас этих людей, когда они решили, что отправили в психушку участника антихрущевского заговора и брежневского соратника. Григоренко быстро признают вменяемым и выпускают из лечебницы. Правда, в звании не восстанавливают — это зависит от Брежнева, а его не волновала судьба человека, который никакого отношения к его заговору не имел.

После выхода из лечебницы Григоренко не может устроиться на квалифицированную работу — поэтому идет работать грузчиком в магазин, на овощную базу, затем устраивается мастером на завод — на базе пожилому человеку работать было тяжело из-за радикулита. В 1968 году его увольняют, и с тех пор он больше не мог найти работу. К этому времени Григоренко сближается с нарождающимся диссидентским движением, многие участники которого становятся его друзьями. Он активно поддерживает Пражскую весну, пишет открытые письма с требованием демократических преобразований, защищает Сиявского и Даниэля, других политзаключенных. Но при этом Григоренко меньше всего был похож на «свадебного генерала» в правозащитном движении. Его уникальный вклад в него связан с тремя составляющими.

Во-первых, с решительным отрицанием нелегальных, подпольных методов борьбы с репрессивным режимом, то есть тех, которыми он сам поначалу занимался. После долгих размышлений он пришел к выводу, что необходима активная и гласная общественная деятельность. Мотивировал он это так: «Власть, родившаяся в подполье и вышедшая из него, любит в темноте творить свои черные дела. Мы же стремимся вынести их на свет, облучить их светом правды. Власть, стремясь уйти из-под света, изображает наши

действия как нелегальные, подпольные, пытается загнать нас в подполье. Но мы твердо знаем, что в подполье можно встретить только крыс» (эта фраза стала названием его книги воспоминаний). Такой подход позволял резко уменьшить число провокаций против диссидентского движения, избегать угрозы «азефовщины», способной дискредитировать оппозицию — как это произошло до революции с партией эсеров, по которой сильнейший удар нанесло предательство работавшего на царскую охранку Азефа.

Во-вторых, разжалованный генерал написал большую самиздатскую историческую работу о первых месяцах войны и ответственности Сталина за трагедию поражений того времени. До Григоренко об этом же — только в официальном издательстве — выпустил книгу талантливый историк Александр Некрич, за свой случайно прорвавшийся через цензуру труд исключенный из партии, уволенный с работы, а затем и вытолкнутый в эмиграцию. Но Некрич на войне был капитаном, а Григоренко выступил с позиций человека, уже перед войной бывшего старшим офицером и одновременно свидетелем событий и аналитиком. Это придавало его работе особую весомость — слушать лекции Григоренко по истории Великой Отечественной войны неофициально приходили студенты МГУ.

Григоренко четко формулирует причины поражений Красной армии в начале войны: «Войска западных приграничных военных округов, незначительно уступая по численности вероятной армии вторжения противника, в военно-техническом отношении были значительно сильнее ее. Но — квалифицированные командные кадры были изъяты из армии почти полностью и подвергнуты репрессиям различной степени. На их место пришли в большинстве люди малоквалифицированные и просто в военном отношении неграмотные, зачастую — абсолютные бездарности. Авторитет командного состава в связи с этим, а также вследствие психоза борьбы с “врагами народа” резко снизился, дисциплина пришла в упадок». Сейчас сталинисты стремятся доказать, что репрессии, наоборот, укрепили Красную армию, так как омолодили командный состав. Но, выделяя имена военачальников, успешно проявивших себя в военные годы, они «забывают» о многочисленных провалившихся сталинских выдвигенцах.

В-третьих, Григоренко решительно поддержал национальное движение крымско-татарского народа, высланного из Крыма в 1944 году по обвинению в коллаборационизме. Он ободряет его активистов, призывает отказаться от неэффективных смиренных просьб к советской власти и выступить с жесткими требованиями. Фактически именно Григоренко переводит крымско-татарский вопрос из периферийного на общесоюзный уровень, и крымские татары до сих пор с благодарностью его вспоминают. В Крыму они в 1999 году без санкции властей устанавливают его бюст, который был «узаконен» через несколько лет.

В 1969 году Григоренко был второй раз арестован, две недели держал голодовку. Его пытались сломать — насильно кормили, били. В Ташкенте, куда его отправили подальше от московских диссидентов, местные психиатры признают его вменяемым. Приходится вернуть Григоренко в Москву, где уже психиатры столичные ставят устраивающий власть диагноз. В 1970-м на этом основании его снова заключают в специальную психбольницу, где здорового человека подвергают «лечению», способному превратить его в больного. Но он выдерживает и это, а в 1974 году под мощным давлением международного сообщества в условиях начавшейся разрядки Григоренко выпускают на свободу.

Он возвращается в диссидентское движение, становится одним из основателей Московской, а затем и Украинской Хельсинкских групп. В 1975 году вынужден эмигрировать его сын Андрей. В 1977-м Петр Григоренко вместе с женой выезжает в США на встречу с сыном и для проведения сложной операции. Назад его не пускают, лишив гражданства. Последние годы он проводит в США, где выступает с лекциями и пишет обширные мемуары — ценный источник обширного периода отечественной истории XX века. Американские психиатры подтверждают его вменяемость. Бывший атеист становится православным верующим, советский генерал присоединяется к украинской эмиграции. Умирает он в 1987 году, немного не дожив до возможности вернуться на родину. Хоронили его с воинскими почестями.

В современной Украине Григоренко герой — в его честь названы улицы, Леонид Кучма посмертно наградил его орденом «За муже-

ство» первой степени. В России же Борис Ельцин тоже посмертно восстановил его в генеральском звании, но этим дело фактически и ограничилось. Ельцинский указ 1997 года об увековечении памяти Григоренко выполнен не был — в Москве не появилось улицы, названной в честь генерала, не были установлены мемориальные доски, не учреждена стипендия его имени. Это неудивительно. Украина стремится максимально отмежеваться от России — и Григоренко с его протестом и поддержкой крымских татар является для ее элиты вполне приемлемой, «антиимперской» фигурой. Для российского военного сообщества Григоренко остается бунтарем, антигосударственником и, следовательно, отнюдь не примером для подражания, что тоже вполне естественно, учитывая приоритет государственных интересов в современной России и ползучую реабилитацию Сталина. А в истории Григоренко остался человеком, решившимся выйти на площадь, подобно декабристам — впрочем, в нынешней России тоже не слишком почитаемым. Только в отличие от них, без оружия — вооруженный только словом.

Федор Дубасов

В Советском Союзе исторических персонажей старались по мере возможности делить на хороших и плохих. О хороших можно было выпустить книгу в серии «Жизнь замечательных людей» (ЖЗЛ). Причем если в начале выхода этой серии в 1930-е годы ее героями еще могли быть неоднозначные (ругательное слово в советской традиции) персонажи, такие как Форд или Писарро, то в послевоенные годы это стало уже невозможным. Замечательный человек — это герой, безусловный образец для подражания. Поэтому биографии Наполеона, Клемансо, Черчилля и даже уважаемого в СССР де Голля (все же «буржуазный политик», хотя и вывел Францию из военной организации НАТО) в этой серии выйти не могли.

В постсоветское время инстинктивно сохраняется этот понятный и комфортный подход, хотя в серии ЖЗЛ теперь возможна публикация книг не только о «хороших», но и о «плохих» (понятное исключение делается для Гитлера и его сподвижников). Все же были сняты некоторые ограничители: тем более что полностью «черно-белая» схема не работала даже в советское время. Например, было затруднительным широкое прославление генерала Скобелева — могли возмутиться туркмены и узбеки, воспринимавшие его как колониального завоевателя. В то же время Скобелев — герой-освободитель для болгар, союзников СССР по Варшавскому договору. Выход был найден: коль скоро отдельная книга о генерале в серии ЖЗЛ была невозможна, то один из сюжетов во входившем в эту серию сборнике об участниках Русско-турецкой войны, вполне допустим. Восстановление снесенного в

1918-м памятника Скобелеву в Москве считалось нецелесообразным. Сейчас же этого ограничителя нет, «наша» Средняя Азия стала зарубежной Центральной — и памятник с 2014 года снова стоит в столице. Хотя и несколько иной и на другом месте (предыдущее занято Юрием Долгоруким). Так Скобелев из «неоднозначного» стал хорошим.

Но в ряде случаев однозначный советский минус заменяется плюсом. Пример — адмирал Федор Васильевич Дубасов. В советское время его воспринимали исключительно как жестокого подавителя Московского восстания в декабре 1905 года. Хрестоматийными стали слова Маяковского: «По крови рабочей пустился в плавание царев адмирал, каратель Дубасов». Каратель — это жесткое слово, не предусматривающее разных толкований. В современной литературе подчеркивается подвиг, совершенный молодым лейтенантом Дубасовым в 1877 году во время той самой Русско-турецкой войны, когда Скобелев освобождал Болгарию. А консервативные авторы считают подавление восстания в Москве его безусловной заслугой перед Российским государством.

Но Дубасов примечателен тем, что он сложнее, чем черная или белая версия его жизни. А значит, и интереснее.

Потомственный моряк — как и большинство выпускников Морского корпуса того времени. В родовом гербе известных с XVII столетия дворян Дубасовых присутствовала серебряная галера с золотыми веслами — в память о ратном подвиге петровского офицера, бомбардира Автонома Дубасова, который в 1709 году участвовал во взятии шведского бота «Эсперн». Отец Федора, Василий Андреевич, молодым морским офицером участвовал в Русско-турецкой войне 1829 года.

В морской среде культивировалась корпоративная этика, офицеры должны были ощущать себя единой сплоченной семьей, в которой не было места чужакам. Герой войны, отличавшийся не просто смелостью (смелых офицеров было немало), а какой-то демонстративной дерзостью, стремлением показать окружающим, как надо воевать. Прибыв на Дунай в апреле 1877-го, лейтенант Дубасов первым делом направляется ночью снимать флаг с полузатонувшего после обстрела русской артиллерией турецкого броне-

носца «Люфти-Джелиль». Акт символический — пока на корабле не спущен флаг, он не побежден. Речь не шла о бессмысленном героизме — Дубасов холодно оценил ситуацию, понимая, что трофей воодушевит моряков. Тем более что он был добыт с угрозой погибнуть или попасть в плен — рядом с броненосцем находились другие турецкие корабли.

Но свой главный подвиг лейтенант совершил в мае, когда на своем минном катере смог подорвать другой турецкий броненосец — флагманский «Сейфи». Всего в лихой атаке участвовали четыре катера. Дубасов был флагманом маленького отряда, а потопление «Сейфи» довершил его соратник, лейтенант Шестаков. Оба офицера стали национальными героями, георгиевскими кавалерами. Нет ничего удивительного в том, что Дубасов вернулся на побежденный корабль за флагом и на этот раз — дело надо завершить.

Дальше были новые бои, а затем и мирная жизнь, во время которой выяснилось, что герой войны и флигель-адъютант государя (еще одно отличие за войну) Дубасов является более сложной фигурой, чем обычный офицер, всегда защищающий честь своей корпорации. В двух случаях он пошел против большинства — когда на Черном море погибла царская яхта «Ливадия» и на Балтике решался вопрос о создании военно-морской базы в Либаве (ныне Лиепая), за которое выступали влиятельные адмиралы. В первом случае Дубасов отказался выгораживать высших морских чинов, допустивших, по его мнению, нерасторопность. Во втором — посчитал, что Либавка для базы неудобна, так как находится слишком близко к границе (напомним, что тогда немецкой была Восточная Пруссия вплоть до Мемеля — нынешней Клайпеды). В обоих случаях Дубасов был прав — так, из Либавы русским морякам пришлось спешно эвакуироваться в Первую мировую войну во время немецкого наступления 1915 года, — но оба раза он вызывал недовольство морского начальства.

Но репутация национального героя позволяла ему продолжить карьеру. Несколько лет он командовал различными кораблями, в 1893 году получил чин контр-адмирала, а спустя шесть лет стал вице-адмиралом. Как профессионала, талантливого моряка и

министра Дубасова уважали, как человека — не слишком любили. Он считался строгим начальником, весьма скептически относящимся к способностям подчиненных ему офицеров. К тому же гордый, резкий и замкнутый Дубасов не допускал подчиненных в свой внутренний мир, что также не приводило к росту его популярности.

В 1897 году адмирал командовал эскадрой на Тихом океане и участвовал в гонке мировых держав, стремившихся создать свои плацдармы на Дальнем Востоке. Дубасов, исходя из профессиональных аргументов, настаивал на том, чтобы русская военно-морская база была расположена в Корее. Дипломаты считали, что в Корее Россия может столкнуться с Японией, а поэтому база должна находиться в Китае, где можно договориться о разделе сфер влияния с японцами. В результате Дубасова в очередной раз не послушали, база была создана в неудобном Порт-Артуре, а конфликта с Японией избежать не удалось. Причем Япония подготовилась к нему куда лучше, чем Россия, а конфликт все равно произошел из-за корейского вопроса.

Когда в 1904 году началась японская война, Дубасов возглавлял Морской технический комитет — должность почетная, но тупиковая для адмирала. Его сложный характер способствовал тому, что он не получил ни командования одним из флотов — Балтийским или Черноморским, ни должности управляющего морским министерством (морского министра тогда в России не было, так как флотом командовал дядя царя, генерал-адмирал великий князь Алексей Александрович). Во время войны его не посылали на Тихий океан — туда направили вначале Макарова, а после его гибели — Скрыдлова и Рожественского, других героев турецкой войны, также георгиевских кавалеров. Можно только гадать, что было бы, если Дубасов оказался на месте Макарова в столь нелюбимом им и уязвимом Порт-Артуре. Возможно, что в советской литературе он стал бы героем, а не карателем.

Дубасову в 1904-м дали другое поручение — дипломатическое. Надо было спасти репутацию России в международной комиссии, расследовавшей обстрел флагманским кораблем направлявшейся из Балтики в Тихий океан эскадры Рожественского мирных анг-

лийских рыболовных судов. История была крайне скандальной, британские журналисты называли эскадру Рождественского «флотом сумасшедших», в России судорожно искали оправдание и утверждали, что английскими рыбаками прикрывались японские миноносцы. Эта версия дожила до наших дней и занимает почетное место в отечественной конспирологии наряду с «планом Даллеса», или историей о том, как Россия сдала Америке Аляску в аренду (ну не могли мы свою землю продать!) и прочими подобными историями. Есть и вариация этой версии, где виновными признается Англия, сочувствовавшая Японии и устроившая провокацию. Хотя в мемуарах барона Таубе, который был юристом-консультантом комиссии с российской стороны, она полностью опровергается.

В состав международной комиссии, собравшейся в Париже для расследования этого инцидента, первоначально был делегирован пожилой адмирал Казнаков, совершенно непригодный для этой роли. Уже в ходе работы комиссии пришлось срочно заменять его Дубасовым — «точным, строгим, решительным» (по определению Таубе). Задачей Дубасова было не оправдание российской стороны — оно было невозможным, а выход с честью из крайне неприятной ситуации. И адмиралу это удастся: комиссия хотя и обвинила эскадру в обстреле рыбаков, но при этом заявила, что ее выводы «не бросают никакой тени на военные способности или на чувства человечности адмирала Рождественского и личного состава его эскадры». Таким образом, она признала, что речь шла о роковой ошибке (за которую Россия заплатила компенсацию), но не о военном преступлении. Наградой Дубасову стало почетное звание генерал-адъютанта.

Вернувшись в Россию, Дубасов столкнулся с взрывным ростом революционного движения, с которым власть не могла справиться. Это неудивительно — ни с чем подобным со времен Пугачева она не сталкивалась. И военные, и гражданские администраторы в большинстве своем были растеряны. Здесь и пригодился Дубасов, который был готов защищать престол и отечество не только от внешних, но и от внутренних врагов. Осенью 1905 года его посылают на подавление крестьянских восстаний в Черниговской,

Курской и Полтавской губерниях. Он жестко подавляет выступления, в ходе которых крестьяне поджигали помещичьи усадьбы и захватывали земли, которые считали своими. «Он всюду появлялся сам с горстью войск, справлялся с бунтующим крестьянством, отрезвлял их и достиг почти полного успокоения», — писал о нем тогдашний председатель Совета министров граф Витте. И в то же время Дубасов просит Витте сохранить за крестьянами захваченные земли, понимая, что любое наведение порядка будет только временным без решения земельного вопроса (чего, как известно, не произошло до 1917 года, когда его решили кровавыми и зверскими средствами).

Не завершив свою миссию, Дубасов был отозван: Витте, понимая, что в Москве ситуация находится на грани вооруженного восстания, добился назначения адмирала московским генерал-губернатором. Дубасов прибыл в Москву 3 декабря 1905 года, а волнения начались 7 декабря, в ночь на 9-е они переросли в восстание. Гарнизон был ненадежен, и Дубасов с трудом смог организовать сопротивление. Бои шли в центре города — на Тверской, Брестской улицах, на Арбате. Впервые со времени подавления Чумного бунта в 1771 году власть в Москве использовала против восставших артиллерию. По настоянию Дубасова на помощь были присланы Семеновский и Ладужский полки, некоторые другие части. К 19 декабря восстание было подавлено. Основной очаг восстания, находившийся на Пресне, был расстрелян из орудий.

В ходе подавления восстания семеновцы расстреляли немало вооруженных восставших — как в Москве, так и в пригородах. Патронов не жалели. Но немалое число людей, в той или иной степени причастных к восстанию, избежали немедленного расстрела и оказались под арестом. И здесь произошло необычное для того времени явление. Министерство внутренних дел настаивало на том, чтобы судить их военно-полевым судом, что означало неминуемый расстрел. Дубасов выступил против, утверждая, что военный суд слишком непопулярное учреждение, а мятежников лучше просто «переколоть».

На первый взгляд Дубасов выглядит здесь сторонником бессудных казней, безудержного белого террора, еще более суровым

подавителем революции, чем министр внутренних дел Дурново. Однако по словам подчиненного Дубасова, московского губернатора Джунковского, адмирал исходил из того, что «достоинство власти требует не мстить, а разобрать виновность каждого наиболее доступным беспристрастным образом на основании общих законов». И Дубасов не остановился перед обращением к царю, который принял его сторону. Витте, поддержавший просьбу Дубасова, назвал его в связи с этим «истинно благородным человеком». Царь, кстати, между жестокостью и жесткостью в подавлении революции выбирал обычно первую — из двух генералов, громивших бунтовщиков в Сибири, Меллер-Закомельского и Ренненкампа, он предпочитал первого, считая, что второй слишком нерешителен (мало кто из его подданных разделял это мнение). Дубасовская позиция царю явно не понравилась — в результате царские награды за подавление восстания оказались чуть более скромными, чем ожидалось. Но, похоже, адмирала это мало интересовало — орден Александра Невского, полученный за борьбу с врагом внутренним, он не носил.

Возникает странная и противоречивая картина — невозможное вроде бы сочетание суровости и гуманности. Но логика в действиях Дубасова была. Надо разделить его действия во время и сразу после восстания. Действительно, он не противодействовал семеновцам, когда те расстреливали сопротивлявшихся революционеров, но решительно остановил казни, как только непосредственная угроза миновала. И не соглашался с введением военно-полевых судов, которые продлили бы их на неопределенное время.

Не знаю, читал ли адмирал труды Макиавелли, но один из его советов — о том, что за коротким периодом жесткого насилия должно последовать восстановление правосудия, — он выполнил почти буквально. За тем исключением, что в «Государе» со ссылкой на опыт Цезаре Борджиа можно найти рекомендацию выбрать «козла отпущения» за жесткости и примерно его наказать. Но Дубасова никак нельзя было назвать циником, перекладывающим ответственность за свои дела на других. Вероятнее всего, макиавеллистского холодного расчета и не было — Джунковский обращает внимание

на сильную вспыльчивость и отходчивость Дубасова, которого он считал добрым в душе и гуманным человеком.

Итак, после подавления восстания ни о каком самосуде не могло быть и речи. Восставшие были переданы гражданскому суду, заведомо не имевшему права выносить смертные приговоры. Они получили право на защиту, которым и воспользовались, в результате многие были оправданы, а другие получили незначительные сроки лишения свободы.

Интересно также, что Дурново настаивал на предании военно-полевому суду не только революционеров, но и либерала Фидлера, владельца частного училища, превращенного в один из штабов восставших и взятого правительственными войсками штурмом с применением артиллерии. Власти подозревали его в сочувствии восстанию. Дубасов отказался, также считая, что надо действовать «неформально». И что же — Фидлер был убит при попытке к бегству? Нет, он был вскоре освобожден из-под ареста под залог до суда и тут же эмигрировал. Трудно себе представить, но во время Московского восстания продолжала действовать городская дума, оппозиционные гласные (депутаты) которой подвергали резкой критике действия правительственных сил. Дубасову это вряд ли нравилось, но он терпел, понимая, что нельзя править, сидя на штыках. И что после подавления восстания ему потребуется помощь общественности в виде умеренного большинства думы во главе с городским головой Гучковым (братом будущего министра Временного правительства). Так и произошло.

Уже через две недели после подавления восстания, 30 декабря, Семеновский полк вернулся в Петербург. Вскоре покинули Москву и ладожцы. В последних числах декабря Дубасов лично съездил на Пресню, где говорил с представителями рабочих. По просьбе Дубасова царь выделил 100 тысяч рублей для пособий неимущим москвичам, пострадавшим во время подавления восстания. Ситуация в городе быстро нормализовалась: накануне Нового года были открыты все театры, а на Крещение состоялся обычный многотысячный крестный ход из Успенского собора Кремля к Москве-реке с участием Дубасова.

Но понятно, что для революционеров генерал-губернатор был опасным врагом и убийцей их товарищей. Поэтому на него были совершены два покушения. Во время первого, в апреле 1906-го, Дубасов был ранен; погибли сопровождавший генерал-губернатора граф Коновницын и бомбист. Второе покушение состоялось в конце того же года, уже после отставки Дубасова с поста московского генерал-губернатора. Двое эсеров стреляли в него, но лишь слегка ранили. Обоих покушавшихся арестовали, и Дубасов просил царя помиловать их. Есть точка зрения, что он хотел заключить своего рода «перемирие» с террористами, опасаясь новых покушений, но учитывая его неприятие военно-полевых судов как средства мести, можно предположить, что адмирал был не столь прагматичен. Витте вспоминал о своей встрече с Дубасовым вскоре после покушения: «Он был совершенно покоен, и только беспокоился, что этого юношу, который в него стрелял, будут судить военным судом и, наверное, расстреляют. Он мне говорил: “Я не могу успокоиться, так передо мною и стоят эти детские бессознательные глаза, испуганные тем, что в меня он выстрелил; безбожно убивать таких невменяемых юношей”». В ответ Николай прислал холодноватое письмо с банальным указанием на то, что «казнь немногих преступников предотвратит моря крови — и уже предотвратила». Молодых людей казнили.

После отставки Дубасов не вернулся к активной государственной деятельности. Он занимал почетные должности члена Государственного совета и Совета государственной обороны. Отказался от поста морского министра (должность генерал-адмирала по итогам Русско-японской войны упразднили), но к морю его все равно тянуло — Дубасов совершил небольшую экспедицию на север для поиска места для сооружения незамерзающего военного порта на Мурманском побережье. Место он выбрал, хотя порт там был построен спустя много лет после его смерти, — сейчас это город Североморск.

Умер Дубасов в 1912 году в Петербурге. К этому времени разгромленная боевая организация эсеров давно прекратила попытки покушения на него, но в русском обществе имя адмирала было

накрепко связано с артиллерийскими залпами, разгромившими Московское восстание. И мало кто задумывался над тем, что этот углубленный в себя, вспыльчивый и суровый человек спас жизни многим своим смертельным врагам, что в то время случалось нечасто.

Евлогий (Георгиевский)

Есть люди, всю свою жизнь приверженные одним и тем же взглядам, которые отстаивают жестко и непреклонно. Мне пришлось сталкиваться с людьми, которые с уверенностью, не допускающей иных мнений, утверждают, что после кончины место всем, кто не принадлежит к канонической православной церкви, в аду. Такой «семинарский» подход опирается на большое количество цитат, выглядящих непробиваемо для неофитов, стремящихся найти «истинно-ортодоксальное православие» и на этом успокоиться. Возражения о том, что в этом случае на муки обречены Махатма Ганди и «святой доктор» Гааз, Франциск Ассизский и Альберт Швейцер, встречают жесткий и решительный ответ: «Да, конечно. Они же неправославные».

Это ключевой момент в общении православных с людьми, не принадлежащими к православной церкви. Потому что можно вести себя с ближним корректно, даже уважительно, но если внутренне исходить из того, что участь его обязательно будет печальна, то о какой любви к человеку может идти речь? Отношения неизбежно становятся отравленными, фальшивыми — пусть даже это внешне незаметно. Независимо от того, что возобладает — гордость от принадлежности к избранным или горечь от представления об обреченности на адские муки абсолютного большинства человечества (даже если абстрагироваться от известных имен). Или же горячее желание спасти ближнего, способное вылиться в навязчивое самодеятельное миссионерство.

А некоторые идут дальше и в своем сознании «обрекают» на муки и «неправильных православных» — тех, кто придерживается

экуменических взглядов и не претендует на горделивую исключительность. Но даже те, кто так далеко не заходит, следуют точке зрения, что шанс на спасение имеют примерно 220 миллионов (по оптимистическим подсчетам) «канонических православных» из 7,5 миллиарда жителей Земли. То есть около 3%, в число которых входит, понятно, немалое число грешников. Если вдуматься, то картина страшная.

Конечно, в православном мире есть и другие люди, и другие мысли. Митрополит Антоний Сурожский говорил, что «благодать разлита так широко, что мы просто постигнуть не можем». Бог в его представлении — это не неумолимый судья. Бог — это любовь, и глас Божий может дойти до чужого, а не до своего. Но Антоний необычен для православного священнослужителя. Он никогда не учился в семинарии, жил в европейской инославной среде, пришел к Богу не с раннего детства, а сомневающимся подростком, работал врачом, был во французском Сопротивлении. Но и человек из традиционной православной среды, более того, вовлеченный в сложные межконфессиональные споры, может подняться над узкими представлениями о должном. Впрочем, для этого нередко надо покинуть — добровольно или нет — свой привычный мир.

Таким человеком был митрополит Евлогий, после большевистской революции управлявший русскими православными приходами в Западной Европе. В миру его звали Василием Семеновичем Георгиевским, он родился в 1868 году в захолустном (по его собственным словам) селе Сомове Одоевского уезда Тульской губернии. Расположено оно между старыми русскими городами Одоевым и Белёвом, вдалеке от региональных (тогда губернских, сейчас областных) центров. Отец будущего митрополита был бедным многодетным сельским священником — кроме Василия, в семье были пятеро сыновей и дочь. Для того чтобы отправить ребенка в школу, надо было занимать деньги у деревенского кулака — не того «кулака», справного крестьянина, которого уничтожил Сталин во время коллективизации, а другого, сельского мироеда, ростовщика, исчезнувшего в годы Гражданской войны. А кулак этот давал деньги неохотно, под грабительские проценты.

Как и другие дети священников, Василий получил образование в духовном училище, а затем в семинарии. И тут у него было немного хороших воспоминаний. В училище самым светлым временем был конец занятий и возвращение в семью на каникулы, хотя он был прекрасным учеником, закончил учебу первым в своем выпуске. Семинария тоже разочаровывала — серенькая жизнь, казенная учеба, равнодушие учителей и начальников («начальство было не хорошее и не плохое, просто оно было далеко от нас») и неуважительное отношение к ним семинаристов, равнодушие большинства молодых людей к вере.

И все же в юности Василия было и другое, светлое — паломничества в Оптину пустынь, где он исповедовался старцу Амвросию — «его благодетельная рука хранила меня от дурных путей, чудесно оберегала от всякой нечистоты». Было и увлечение литературой, и серьезные занятия богословием в последние годы учебы в семинарии, которую он также закончил первым, поступив после этого в Московскую духовную академию. И там он встречается с человеком, оказавшим немалое, хотя и очень разное влияние на его жизнь — Антонием (Храповицким), который был старше него на пять лет.

В отличие от Василия юный блестящий аристократ Алексей Храповицкий вопреки воле отца-генерала поступил в Петербургскую духовную академию и перед ее окончанием, в 22 года, принял монашество. Уже через пять лет, в 1891 году, Антоний стал ректором Московской академии, в которой учился Василий. Яркий оратор, эрудированный богослов, друг, а затем оппонент Владимира Соловьева, честолюбец и грубиян, будущий покровитель крайне правого, антисемитского Союза русского народа, резко осудивший при этом Кишиневский погром, Антоний был, пожалуй, самым талантливым иерархом Русской церкви последних десятилетий существования империи. Под влиянием Антония многие студенты начали принимать постриг — кто-то из них стал хорошим монахом, кто-то принял мученическую смерть при советской власти, а кто-то сломался и спился, так как Антоний «постригал неразборчиво и исковеркал не одну судьбу и душу». Об этом Евлогий тоже вспоминал в эмиграции — сам он фанатиком никогда не был, хотя увлекающимся человеком его назвать можно.

Интересно, что в академии Василий проявляет самостоятельность и не принимает монашества — он колеблется, сомневается. Влияние Антония велико, но студента отталкивает его грубый цинизм в отношении брака и женщин, которым ректор отваживал своих учеников от семейной жизни. Василий обращается к духовным авторитетам, но старец Амвросий перед смертью не дает ему однозначного совета, хотя и говорит о монашестве как благословенном пути. Иоанн Кронштадтский приветствовал намерение постричься, но предлагал перед этим испытать себя. Василий так и поступает. Окончив в 1892 году академию, он возвращается в родную Тульскую губернию, где преподает в духовном училище, затем в семинарии. Лишь в начале 1895-го он принимает монашество с именем Евлогий и в том же году становится инспектором Владимирской духовной семинарии. Церковные власти тогда активно продвигали по службе так называемых «ученых монахов» с академическим образованием, и если человек не совершал грубых ошибок, то мог рассчитывать на епископство.

Во Владимире Евлогий прилагает немало усилий, чтобы успокоить волнующихся студентов, наладить с ними человеческие отношения, старается избегать формализма, который был свойствен его собственным семинарским наставникам. На его дипломатические способности и человеческие качества обращают внимание, и в 1897 году он становится ректором духовной семинарии в небольшом городе Холме и возводится в сан архимандрита. Это назначение, казавшееся «проходным» этапом духовно-учебной карьеры, определяет его жизнь на два последующих десятилетия.

Холм был уездным городом Люблинской губернии, входившей в состав Царства Польского. Местная элита уже несколько веков была польской, а значит, католической (религиозная и национальная идентичности были тесно связаны). Большинство населения близлежащих мест — крестьяне-малороссы, которых Евлогий, как и многие его современники, считал не украинцами, а частью русского народа. В конце XVI века под давлением польского короля многие из них ушли в унию (грекокатоличество), в 1875 году волею русского царя из унии вернулись в православие. Однако как в XVI–XVII столетиях многие сопротивлялись унии, так и в конце XIX

века были недовольны ее административной ликвидацией. Отказываться от «веры отцов», от обычаев, которым следовали предки, всегда тяжело — а к унии за многие годы уже привыкли.

В 1903 году Евлогий становится епископом Люблинским, викарием Холмско-Варшавской епархии. Его задачей стала «православизация» региона, который он видел не только неотъемлемой частью России, но и принадлежащим к русской культуре. В своих поездках по приходам он, по собственным словам, «давал директивы: говорить по-русски, разучивать русские песни, припомнить наши сказки, игры, восстанавливать в житейском быту русские обычаи». Однако в 1905 году молодой епископ, как и вся православная церковь, сталкивается с проблемой оттока верующих после царского указа 17 апреля о веротерпимости, отменявшего уголовное наказание за переход из православия в другое христианское исповедание. 168 тысяч номинально православных перешли в католичество — почти в два раза больше, чем ожидали власти. В православии осталось около 300 тысяч верующих. Чтобы остановить этот процесс, полномочия Евлогия расширяются — под его руководством создается новая Холмская и Люблинская епархия.

Евлогий приложил много сил для оживления епархиальной жизни — часто служил и проповедовал, посещал приходы и учебные заведения. При нем на Холмщине строились новые храмы, была расширена сеть церковно-приходских школ, учреждены несколько периодических изданий («Холмская церковная жизнь» с «Народным листком», «Братская беседа», «Холмская Русь»). Приходские братства были объединены в Холмское Богородицкое братство, что активизировало их деятельность (в частности, братство открыло собственную типографию). По инициативе и при участии владыки были созданы Холмское женское благотворительное общество, Народно-просветительное общество Холмской Руси, Холмская архивная комиссия.

Но Евлогий занимался не только духовными, но и сугубо светскими делами. При его активном содействии были учреждены Холмское сельскохозяйственное общество взаимного кредита, Русское сельскохозяйственное общество Холмщины и Подляшья для улучшения крестьянского хозяйства. Он организует товарищество,

предназначенное для покупки и распродажи мелкими участками польских имений православным крестьянам. В своей ставке на мужика для укрепления монархии он близок к Антонию, но сельский попович Георгиевский лучше понимал крестьян, чем аристократ Храповицкий, а за тяготение к простым людям его иногда называли мужицким архиереем. Евлогия дважды избирают депутатом Государственной думы (II и III созывов) от православного населения Люблинской и Седлецкой губерний, входивших в состав его епархии. В Думе он принадлежит к фракции правых — самых последовательных монархистов, но затем переходит к более умеренным русским националистам, наследникам консервативных славянофилов. Это не случайно: и идейные взгляды, и политическая деятельность Евлогия вписываются в основной тренд «века национализма», которому были свойственны обращение к символам прошлого (от религии до фольклора) при конструировании настоящего.

Как политик, Евлогий лоббирует создание самостоятельной Холмской губернии с выделением ее из состава Царства Польского. В течение пяти лет существования III Государственной думы это становится главным его делом. Евлогий говорит о том, что «объединение Холмщины с остальной Россией — это завет всей истории русского народа, это долг его национального чувства, это требование русской народной совести». Что только так можно остановить расширение польского влияния. Русский националист Евлогий получает поддержку русского националиста Столыпина — и Холмская губерния создается в 1912 году, несмотря на протесты поляков (правда, уже после гибели премьер-министра). Это был момент торжества Евлогия. В новой губернии католиков и православных было примерно поровну (первых немного больше), но епископа это не смущало — он видел себя спасителем соотечественников от порабощения чужаками. Впрочем, Евлогий успел застать разочаровывающий приход в новую губернию русской бюрократии, настроенной не столь идеалистически, как он.

В Думе Евлогий старался защищать интересы крестьян, в том числе вступая в противоречия с правыми депутатами из числа помещиков. В то же время он активно отстаивает интересы православной церкви, выступая с консервативных позиций по большин-

ству общественных вопросов. Позднее, в эмиграции, он напишет: «Может быть, и не надо было цепляться за старые позиции — бояться пропаганды, но мы, увы, тогда еще не знали, что придут безбожные агитаторы, которые будут кощунствовать и вытравливать самое понятие Бога из русских душ. Лишь теперь, оглядываясь назад, видишь, как мы были близоруки». То, что до революции казалось важным для судеб страны и народа, после нее выглядело чем-то архаичным и никчемным (например, ограничения прав старообрядцев, за которые выступал депутат-епископ).

В 1914 году Евлогий становится архиепископом Волынским и Житомирским, сменив в этом качестве своего учителя Антония. Но уже через несколько недель начинается Первая мировая война. В ее начале русские войска добились немалых военных успехов, заняв Галицию, входившую в состав Австро-Венгрии, и Евлогий назначается управлять церковными делами на завоеванных территориях. Сбывалась еще одна мечта — и его, и других русских националистов: только что из Царства Польского выделена Холмская Русь, и вот уже в состав России переходит Галиция — Червоная Русь древних князей Романа и Даниила Галицких.

Евлогий активно открывает православные приходы в Галиции, что вызывает обвинения в насильственных действиях, в русификации, в борьбе с грекокатоличеством, распространенным на этих землях, хотя инициаторами перехода униатов в православие обычно были местные русофилы, которые формально принадлежали к униии, но уже давно тяготели к России и к православию. Их неофитская активность, давление на грекокатолическое духовенство вызывали подчас недовольство Евлогия, но «православизация» Галиции была прочно связана с его именем, особенно с учетом холмского опыта. Впрочем, большинство грекокатоликов все равно остались в униии — еще до войны слабеющее русофильское движение стали теснить украинские активисты, поддерживаемые и властями, видевшими угрозу со стороны России, и грекокатолическим митрополитом Андреем Шептицким, высланным русским военным командованием из Галиции и отправленным под арест.

Но военные успехи сменились неудачами: в 1915-м Галиция была потеряна, и Евлогию приходится эвакуировать вглубь России

свою новую паству, которой угрожала гибель. Февральская революция и последующий выход России из войны становятся фатальными для всего, чего добился Евлогий в предшествовавшие годы. Холмщина возвращается в состав Польши, и в ней начинается быстрая полонизация, православные храмы отбираются у верующих, некоторые разрушаются. В Галиции, также ставшей польской, торжествует грекокатоличество. Потом, после Второй мировой войны, Сталин, присоединивший Галицию, грубо и насильственно ликвидирует унию (на этом фоне методы Евлогия представляются крайне умеренными), но грекокатолики уйдут в подполье и выйдут из него при Горбачеве, снова доминируя в этом регионе — теперь уже в независимой Украине (а Холм остается польским Хелмом в Люблинском воеводстве).

Во время Гражданской войны Евлогий вместе с Антонием (ставшим в 1918 году киевским митрополитом) оказались в Киеве в драматической ситуации. Для сторонников Украинской народной республики они были врагами, сторонниками единой и неделимой России, поэтому после вступления войск Симона Петлюры в Киев обоих владык арестовывают и отправляют в грекокатолический монастырь в Галицию — зеркально повторяется ситуация с Шептицким. Потом украинцы их освобождают, но вскоре арестовывают уже поляки, которые припомнили Антонию и Евлогию активное участие в русификации. Их отправили во Львов и поместили в резиденцию митрополита Шептицкого, который отнесся к ним весьма благожелательно. Евлогий в своих мемуарах упоминает об искренних беседах и даже о сближении между ними, но слишком далеко этот процесс не заходил. Украинская идея была Евлогию чужда, хотя он не мог отказать Шептицкому в искренности.

При помощи французов Антония и Евлогия освободили, но их приключения не закончились. Последовал переезд на юг России в расположение Добровольческой армии, то есть к своим. А затем эвакуация из Новороссийска — тяжелая, на битком набитом беженцами корабле, но все же происшедшая до катастрофического бегства белых войск из города, когда далеко не всем удалось спастись. В эмиграции Антоний берет на себя руководство Русской церковью за границей и назначает Евлогия управляющим русскими прихода-

ми в Западной Европе, Румынии и Болгарии. Патриарх Тихон подтверждает это назначение.

А дальше пути Антония и Евлогия расходятся. Антоний осенью 1921 года собирает в Сремских Карловцах (город в современной Сербии) Всеаграничный церковный собор, участники которого высказываются за восстановление в России монархии. Евлогий был монархистом, но с этим решением он согласиться не может. Во-первых, оно подставляло под удар церковь в России: большевики получали дополнительные основания для репрессий. При этом зарубежные архиереи, клирики и миряне ничем не рисковали в отличие от православных в России. Во-вторых, среди прихожан, оказавшихся в изгнании, были люди разных политических взглядов, и Евлогий считал, что тех, кто не разделяет монархических взглядов, нельзя отталкивать. Фактически речь шла о том, что первично — религия или политика. Антоний, основавший Русскую православную церковь за границей (РПЦЗ), выбрал политику, Евлогий, бывший в России политиком, предпочел религию.

Патриарх Тихон дезавуирует политизированные решения «карловацкого» собора, возводит в 1922 году Евлогия в сан митрополита и назначает его управляющим всеми русскими приходами за границей. Антоний этого решения не признает, считая, что Тихон находится в плену у большевиков (смысл в этом был, но отказ от политики был для Тихона принципиальным выбором). Евлогий организует церковное управление в Париже — вокруг него собираются не только либералы, но и умеренные консерваторы. В епархиальный совет в Париже входил бывший премьер-министр, граф Владимир Коковцов, игравший важную роль в парижской эмиграции. Настоятелем прихода в Брюсселе стал бывший обер-прокурор Синода Петр Извольский, которого Евлогий рукоположил в священники («В нем сочетались смирение и кротость, столь трогательные в бывшем важном сановнике, со стойкостью, с умением стать авторитетом в глазах прихожан», — вспоминал Евлогий). Однако большинство консерваторов остались с Антонием.

Антоний и Евлогий выбирают две разные стратегии существования русского православия за границей. Для Антония главным стало сохранение традиций в неприкосновенности — до того

момента, как русский народ призовет эмигрантов возглавить возрождение страны. РПЦЗ становится подчеркнуто консервативной церковью, минимизировавшей общение с западным миром до необходимого для выживания уровня. Стремление к защите чистоты православия привело к занятному результату: самого Антония заподозрили в недостаточной богословской ортодоксальности, в преувеличении роли страданий Иисуса в Гефсимании по сравнению с крестными муками на Голгофе. Для Евлогия на Западе надо было не выживать, а жить, будучи максимально открытыми в отношении стран, в которых русские люди оказались не по своей воле. По сути, это было осознание необходимости адаптации к жизни в новых условиях с горьким, но реалистичным пониманием того, что возвращения на родину под звон колоколов может и не состояться. Более того, Евлогий рассматривал эмиграцию как шанс для необходимых, по его мнению, перемен: «Нашему несчастью — эмигрантскому существованию — обязаны мы тем, что Русская церковь, оказавшись в соприкосновении с инославной стихией, была самой жизнью вынуждена войти в общение с нею и тем самым преодолеть свою косность и обособленность».

Неудивительно, что Евлогий был сторонником развития связей с другими церквями. Тем более что еще до революции он проявлял интерес к экуменическому движению, возглавляя Общество сближения Англиканской церкви с Православной. К англиканам в Русской церкви относились с интересом, рассматривая их как более удобных партнеров для диалога, чем католиков, так что эта деятельность Евлогия находилась в русле официальной церковной линии. Но в эмиграции его экуменическая деятельность приобрела куда больший масштаб: он участвует в международных форумах, возглавляет Содружество святого Албания и преподобного Сергия, в рамках которого сотрудничали православные и англиканские священники, богословы, студенты. «Мы открыли англиканам глубину бездонную, мистическую, и широту необъятную нашей православной веры и неизъяснимую красоту и благолепие православного культа. Они нам — крепкую церковную дисциплину, благоговейное, чуткое отношение к тому, что в церкви происходит, что говорят, что поют, а также особенное умение применять христианские

идеалы в практической жизни», — вспоминал Евлогий. Но при этом он устанавливает грань, которую нельзя перейти без потери идентичности: совместная молитва возможна, а вот совместное причащение — уже нет.

С католиками у Евлогия диалога не получилось: сказались и его «антикатолическая» репутация, и антиэкуменизм католической церкви в этот период. Но Евлогий искренне пытался понять своих оппонентов. Он посетил Лурд и пришел к выводу о благодатности этого места, особо почитаемого католиками всего мира. Он встречался с одним из замечательных католических пастырей, бельгийским кардиналом Мерсье, и не только оставил в своих мемуарах восторженную характеристику его личности и деятельности, но и после его смерти служил о нем торжественную панихиду, что не соответствовало ортодоксии, но было понятно с человеческой точки зрения.

Важнейшим начинанием Евлогия стало создание в Париже Свято-Сергиевского православного богословского института, ректором которого он был более двух десятилетий. Он приглашает для преподавания в нем группу либеральных профессоров, включая бывшего министра Временного правительства, церковного историка Антона Карташова и экс-министра исповеданий при украинском гетмане Скоропадском, философа Василия Зеньковского (некоторые ортодоксальные русские патриоты не могли простить ему даже умеренного «украинства»). Профессором становится и отец Сергей Булгаков — знаменитый философ, проделавший путь от марксиста до христианского мыслителя. Его богословские взгляды вызывали критику за свою неортодоксальность, в том числе и внутри института, но Евлогий, тоже далеко не всегда солидарный с Булгаковым, ценил его талант и глубину мышления. Выдающимися учеными были и другие профессора — Георгий Флоровский, Георгий Федотов, Сергей Безобразов (будущий епископ Кассиан), архимандрит Киприан (Керн).

Средства на создание института дали христиане Англии и Америки, в том числе Христианская ассоциация молодых людей (ИМКА). Как следствие — обвинения в адрес Евлогия со стороны РПЦЗ в связях с масонством. Впрочем, митрополита это мало интересовало — он не страдал конспирологией. Зато институт получил-

ся не только качественный, но и долговечный — он существует в Париже до сих пор. Фактически Евлогий в эмиграции сохранил русскую богословскую школу, которая была разгромлена большевиками в России, и не просто сохранил, а предоставил ей возможности для творчества и развития.

Евлогий поддерживает благотворительное объединение «Православное дело», основанное монахиней Марией (Скобцовой), знаменитой Матерью Марией, и священником Димитрием Клепининым. Мать Мария была необычной монахиней — она проповедовала служение в миру, создала дом отдыха для выздоравливающих туберкулезных больных и общежитие для одиноких женщин. Сама ходила на рынок, готовила пищу, убирала. Ортодоксы и здесь недовольны: бывшая революционерка, некогда член партии эсеров, критически относящаяся ко многим укоренившимся церковным правилам, да еще и курящая — о каком монашеском благочестии может идти речь? Евлогий же считал, что пути к Богу могут быть разными. И одна из дорог — это путь деятельного милосердия матери Марии.

Желание Евлогия быть вдалеке от политики не сбылось. В 1927 году заместитель патриаршего местоблюстителя митрополит Сергей (Страгородский) под давлением советской власти выпускает декларацию не просто о лояльности советской власти, но и об активном сотрудничестве с ней. Не желая рвать отношения, Евлогий не оспаривает декларацию, но трактует этот документ в привычном со времен патриарха Тихона духе — как неучастие церкви в политической жизни. Но в 1930-м компромиссы закончились: Евлогий принял участие в совместных с англиканами молитвах о страждущей Русской церкви. Отказ противоречил бы его принципам, в ответ Сергей увольняет его с должности, а Евлогий этого увольнения не признает и в 1931 году переходит в юрисдикцию Константинопольского патриарха.

В 1934-м Евлогий примиряется с Антонием, которому оставалось жить два года. Но примирение было личным и не привело к вхождению Евлогия в состав РПЦЗ — слишком многое их разделяло. В годы Второй мировой войны «зарубежники» приветствовали нападение Гитлера на СССР, надеясь на близкий крах большевизма. Евлогий не разделяет этой точки зрения. Мать Мария и Димитрий

Клепинин спасают от гибели евреев, отец Димитрий не только крестит желающих, но и выдает фальшивые справки о крещении тем, кто остается верным иудаизму. Мать Мария гибнет в газовой камере в Равенсбрюке, отец Димитрий умирает в Бухенвальде.

В конце войны Евлогий стремится на родину — как и многие эмигранты, которые видели в победившем в войне Советском Союзе возрожденную Россию. Он посещает советское посольство, объявляет о возвращении в юрисдикцию Московского патриархата, а незадолго до смерти в 1946 году получает советский паспорт. Паства не отходит от него, но в подавляющем большинстве в Москву не стремится, понимая, что режим остался прежним; поэтому число тех, кто вернулся в сталинский Союз (и нередко оказался в лагерях или ссылке), было сравнительно невелико. Разочароваться в сталинском режиме Евлогий не успевает, а после кончины митрополита большинство его приходов и Свято-Сергиевский институт остаются в юрисдикции Константинополя. Советские иллюзии митрополита становятся достоянием истории, а его опыт открытости миру и жизни церкви в современных условиях остается актуальным и для наших дней.

Владимир Жданов

Адвокатура в России появилась в результате судебной реформы 1864 года — уникальной для царской России. Обычно Великие реформы Александра II воспринимаются в совокупности — как набор модернизационных мероприятий, которые должны были преодолеть отставание России от Европы, последствия которого наглядно проявились во время Крымской войны. Но в большинство реформ государство заложило ограничители, не допускающие подрыва устоев самодержавия.

Так, крестьянская реформа привела к личному освобождению крестьян, что было значительным достижением и дало импульс развитию деревни. Но она проводилась так, чтобы не допустить ни разорения помещиков, остававшихся опорой трона, ни наделения крестьян в полной мере гражданскими правами. Крестьяне должны были выкупить землю у помещиков по ценам, превышавшим рыночную стоимость, у них отобрали часть земель (до 20%), перешедших в собственность тех же помещиков в виде так называемых «отрезков», а сами крестьяне вплоть до Столыпинской реформы остались в зависимости от общины. Впрочем, многим помещикам полученные преференции не помогли (вспомним Раневскую и Гаева из чеховского «Вишневого сада»), а у крестьян условия реформы вызвали недовольство, заложив основу для радикального, силового решения аграрного вопроса.

Земская и городская реформы были проведены таким образом, чтобы новые выборные органы занимались лишь местными вопросами, не затрагивавшими общегосударственные дела. Не предусматривалось «увенчание здания» — то есть создания всероссийского

представительного органа, пусть даже законосовещательного, а не законодательного — парламентаризм был несовместим с самодержавием. Вследствие этого парламент (Государственная дума) в России появился только в результате революционной бури 1905 года — с сорокалетним запозданием и как нелюбимый царем институт.

На их фоне судебная реформа 1864 года выглядит самой радикальной, лишенной изначально заложенных в нее ограничителей; их стали вводить потом, вызывая недовольство немалой части юридической корпорации. Реформа ввела несменяемость судей — их не мог уволить даже император. В России появился суд присяжных, который принимал решения без вмешательства профессионального судьи — у последнего было лишь право напутственного слова перед уходом присяжных в совещательную комнату, но в нем судья должен был соблюдать объективность. Нарушить тайну обсуждения вердикта не имел права никто. Судопроизводство стало гласным и состязательным, что предусматривало учреждение адвокатуры (присяжных поверенных) как самоуправляемой корпорации, самостоятельно решающей вопрос о том, кого принимать в свои ряды, а кому отказать.

Похоже, что Александр II, одобряя судебную реформу, не совсем представлял себе ее последствия. Вскоре после введения принципа несменяемости судей он вызвал к себе одного из главных авторов реформы, министра юстиции Дмитрия Замятина, и потребовал оформить увольнение либерального сенатора Марка Любошинского, высказывания которого по общественным вопросам вызвали возмущение императора. В ответ Замятин указал на невозможность подобного решения, так как сенаторы — это судьи (Сенат был аналогом современного Верховного суда) и не могут быть никем смещены. Александр был шокирован, столкнувшись с тем, что лично подписал закон, ограничивающий его права. Характерен итог этой истории: царь не решился нарушить собственный закон, Любошинский остался сенатором, но Замятин вскоре был отправлен в почетную отставку.

Консерваторы, осуждавшие судебную реформу и предпочитавшие ей дореформенный суд (где людей судили не только без адвокатов, но даже и без присутствия обвиняемых на заседании), гово-

рили о «судебной республике» в рамках самодержавного государства. Неудивительно, что власти стремились ограничить возможности присяжных и адвокатов. Из компетенции судов присяжных были выведены многие политические процессы, оправданного судом можно было выслать из крупных городов в административном порядке. Но основного содержания «судебной республики» отменить не удалось, в том числе и роль института адвокатуры в формировании гражданственности, продвижении идеи приоритета прав человека над государственными интересами.

Независимость адвокатуры, возможность оппонировать государству привели к тому, что адвокатская корпорация была существенно более либеральной, чем общество в целом. Знаменитый адвокат Федор Плевако, бывший конституционным монархистом (октябристом), считался в своем сообществе одним из умеренных. Крайне правых было немного, и в корпорации им было неуютно. Зато многочисленные адвокаты входили в состав главной либеральной партии — кадетской. Это и председатель Первой Государственной думы Сергей Муромцев, и Василий Маклаков, и Николай Тесленко, и Максим Винавер, и Оскар Грузенберг, и многие другие. Среди более левых — социал-демократов — знаменитостей было меньше, хотя среди них были такие известные профессионалы, как Николай Муравьев, Павел Малянтович. Но и они, даже участвуя в оппозиционной деятельности, старались не вступать в прямое столкновение с властями.

Случаи, когда адвокаты становились фигурантами уголовных дел, были редкими. Можно вспомнить трагическую судьбу известного адвоката Григория Бардовского, близкого к народнической организации «Земля и воля», — в 1879 году он был арестован, в тюрьме психически заболел, что навсегда сломало его жизнь. Более счастлив был присяжный поверенный Сергей Старынкевич, высланный в Сибирь за участие в военной организации партии эсеров, — в ссылке он как квалифицированный юрист смог оказаться полезным местным предпринимателям в качестве адвоката и юрисконсульта. После Февральской революции Старынкевич, как бывший революционер, стал прокурором Иркутской судебной палаты, а во время Гражданской войны был министром юстиции у адмира-

ла Колчака, причем подвергал преследованиям своих бывших товарищей по партии.

В числе радикальных оппозиционеров был и Владимир Анатольевич Жданов. Он принадлежал к дворянскому роду, восходившему по легенде к знатному татарину Аслану-Челеби-мурзе, поступившему на службу к великому князю Дмитрию Донскому и крестившемуся с именем Прокопий. Точно известен считающийся его отдаленным потомком Димитрий Яковлевич Кременецкий, живший в XVI веке и имевший прозвище Ждан — так называли долгожданных детей, на рождение которых уже не надеялись.

В XVII столетии Ждановы поднялись при первых Романовых, но близкие предки Владимира Анатольевича были не очень заметными тульскими землевладельцами и офицерами (род, как и другие дворянские, был военным — отсюда и две сабли со стрелой в ждановском гербе). Прадед, секунд-майор Михаил Сергеевич, служил одоевским уездным предводителем дворянства. Дед, Николай Михайлович, воевал с восставшими поляками в 1831 году и вскоре ушел в отставку в чине поручика. Отец, Анатолий Николаевич, недолго служивший артиллерийским офицером, также завершил службу поручиком и потом являлся мировым посредником, то есть улаживал споры помещиков и крестьян после реформы 1861 года. Женился он на соседке — Наталье Александровне Исленьевой, дочери гвардии капитана.

В исленьевском имении Ивицы Одоевского уезда и родился 1 июля 1869 года Владимир Анатольевич Жданов. Сразу отметим, что к советскому партийному лидеру Андрею Жданову он никакого отношения не имел — тот был выходцем из рязанского священнического рода. Владимир стал первым в роде, не имевшим отношения к армии. Учился он в рязанской гимназии — в этой губернии его отец получил имение в качестве приданого после свадьбы. Поступил в Московский университет на юридический факультет, но увлекся революционной деятельностью, вступив в нелегальную народническую организацию «Народное право». В отличие от народовольцев, народоправцы были куда более умеренными — они выступали за социализм, но отрицали террор и заговоры, стремились к созданию широкой антиправительственной коалиции, от

революционеров до либералов (в деятельности «Народного права» участвовал будущий лидер кадетов Павел Милкоков). В то же время часть участников «Народного права» всерьез интересовались входившим в моду марксизмом, хотя Ленин считал, что конституционализм интересовал народоуправцев больше, чем социализм. В 1894 году организация была разгромлена царской полицией.

Из-за нелегальной деятельности учеба Жданова растянулась на долгий срок — он учился в Москве, Петербурге, снова в Москве, а выпускные экзамены сдал в 1895 году в Юрьевском (ныне Тартуском) университете, подальше от начальства. Там же он защитил работу на соискание степени кандидата прав (аналог нынешнего диплома о высшем образовании) на тему «Система наказаний в русском праве XVII века и в законодательстве Петра Великого». В том же году Владимир был впервые арестован и выслан в Вологодскую губернию. Ссылка создавала препятствия для профессиональной деятельности, но не запрещала ее, и Жданов, недолго прослужив в городской управе маленького города Грязовца, смог стать помощником присяжного поверенного (адвоката). Спустя положенные пять лет работы помощником он в 1902 году получил статус присяжного поверенного. Вел дела в разных городах Вологодской губернии — Вологде, Великом Устюге, Тотьме, Кадникове, Грязовце.

Вологда тогда была местом ссылки, в которую отправляли противников режима, не представлявших, как считала полиция, большой опасности (более опасных отправляли в Сибирь). Знакомыми Жданова по ссылке были начинающий философ Николай Бердяев и будущий ленинский нарком просвещения Анатолий Луначарский, Борис Савинков, еще не прогремевший на всю Россию как один из ведущих эсеровских террористов, и Алексей Ремизов, ставший через много лет одним из ведущих писателей русской эмиграции. Ссылные интеллигенты жили насыщенной духовной жизнью, спорили о судьбах России и о том, кто прав — идеалисты или материалисты. Жданов в ссылке сблизился с социал-демократами, что позднее привело его в партию большевиков.

Одновременно развивается и его профессиональная карьера. После окончания срока ссылки он получает право выезжать за пре-

дела Вологодской губернии. Жданов входит в кружок защитников по политическим делам, который возглавляли более опытные либеральные адвокаты Александр Ледницкий и Иван Сахаров. Ледницкий позднее станет политиком, депутатом Государственной думы от кадетской партии. Польский патриот, он после прихода к власти большевиков уедет в Польшу, где его посчитают русофилом, и это помешает продолжению его политической карьеры. Он займется общественной и предпринимательской деятельностью, окажется вовлечен в громкий коммерческий скандал и покончит с собой, не выдержав обвинений. Судьба Ивана Сахарова окажется совершенно иной — он тоже станет кадетом, но предпочтет политической деятельности профессиональную и общественную, будет выступать против смертной казни, после Февральской революции возглавит Московское юридическое собрание. Умрет он в 1918 году в Харькове, куда уедет, опасаясь ареста большевистской властью. Его внук, Андрей Дмитриевич, станет великим физиком и знаменитым правозащитником.

В 1903 году Жданов участвует в процессе по делу о кишиневском погроме, в ходе которого погибли десятки и ранены сотни евреев. Причем в отличие от целого ряда политических защитников, представляет интересы не пострадавших, а погромщиков. Такой странный для оппозиционера выбор был не случайным: Жданов и несколько его коллег стремились разоблачить организаторов погрома и для этого получить свидетельства рядовых преступников, которых они считали орудиями в руках влиятельных лиц (позднее эта версия не подтвердилась — кровавый погром был стихийным, хотя некоторые представители власти и были виновны в бездеятельности).

Однако главным его делом стала защита эсера-террориста Ивана Каляева, убившего в 1905 году великого князя Сергея Александровича. Жданов хорошо знал Каляева (познакомил их в Вологде Савиных), так что эта защита носила для него и личный характер. Спасти подзащитного от казни в таком процессе адвокат не мог — поэтому короткая речь Жданова была посвящена объяснению причин теракта. Он описал противостояние власти и революции в военных терминах: «столкнулись две великие силы — старый, веками

утвержденный строй и новая, так страстно стремящаяся к свободе Россия. Теряется надежда на мирный исход этой борьбы, и все ближе надвигается чудовищный призрак Гражданской войны». Адвокат призвал отнестись к Каляеву не как к преступнику, а как к врагу после сражения — следовательно, с милосердием. Есть известная история о том, как вдова убитого, великая княгиня Елизавета Федоровна, будущая святая новомученица, посетила Каляева в камере, простила его и передала ему икону Воскресения Христова. Современный вологодский адвокат Олег Сурмачев опубликовал исследование, в котором предположил, что именно Жданов после казни Каляева передал эту иконку другому своему знакомому по вологодской ссылке, писателю Ремизову. А тот в 1921 году, перед отъездом в эмиграцию, отдал ее в петроградский Музей революции.

В 1905–1907 годах Жданов проводит многочисленные политические защиты в Москве (куда он переезжает из Вологды) и других городах. Защищает своего знакомого Савинкова, которому эсеры организуют побег, участников вооруженного восстания в Москве, генеральскую дочь, эсерку Марию Беневскую, готовившую бомбу для убийства московского генерал-губернатора адмирала Дубасова и изувеченную в результате случайного взрыва. Но одновременно он ведет нелегальную большевистскую деятельность, оказывается замешан в крупной экспроприации. В 1907 году его арестовывают и приговаривают к четырем годам каторжных работ, которые он отбывал под Иркутском. После освобождения лишенный дворянства Жданов жил в Чите, где занимался «подпольной адвокатурой» — официальным адвокатом бывший каторжанин стать не мог.

После Февральской революции Жданов восстанавливается в политических правах, возвращается в Европейскую Россию. К тому времени он уже далек от большевиков — работает председателем суда в занятом матросами Кронштадте (и пытается восстановить там законность), работает в Чрезвычайной следственной комиссии по расследованию преступлений царского режима, а затем принимает должность комиссара Временного правительства на Западном фронте. После большевистского переворота Жданов пытался организовать вооруженное сопротивление новой власти, отправить к Петрограду верные Временному правительству войска, но таковых

не находится. В начале ноября Жданова арестовывают, но затем освобождают. Он возвращается к адвокатуре, и вскоре его клиентом становится капитан Щастный.

Алексей Михайлович Щастный был кадровым офицером Военно-морского флота. Блестяще (вторым в выпуске) окончив Морской корпус, он направляется на Дальний Восток, где в 23 года участвует в Русско-японской войне на крейсере «Диана» и, как отмечалось в донесении командира, «своей бодростью, быстрой распорядительностью, присутствием духа... выказал боевые способности, какие трудно ожидать при его молодости». Вернувшись в Россию, Щастный служил офицером-минером и стал одним из лучших флотских специалистов по вопросам связи. Занимался как внедрением радиосвязи на флоте (на Балтике и будучи специально командированным на Каспий), так и преподаванием радиотелеграфного дела. В Первую мировую войну был старшим офицером линкора «Полтава», командиром эсминца «Пограничник», служил в штабе Балтийского флота, в июле 1917-го был произведен в капитаны 1-го ранга.

После прихода к власти большевиков многие морские офицеры уходят со службы, не желая сотрудничать с новой властью. Щастный остается: он считает своим долгом сохранять боеспособность флота. Он фактически командует Балтийским флотом, в феврале 1918 года руководит перебазированием находившихся в Ревеле (нынешнем Таллине) кораблей флота в Гельсингфорс (ныне Хельсинки), что спасло их от захвата немецкими войсками. Последние корабли покинули Ревель 25 февраля 1918 года — в день, когда в город вошли немцы. А в марте-апреле, в связи с сохраняющейся угрозой со стороны наступавших немцев, Щастный возглавляет Ледовый поход — переход кораблей из Гельсингфорса в Кронштадт в сложных условиях, когда Балтика была покрыта льдом. За время похода не был потерян ни один корабль, несмотря на резкое ослабление дисциплины, связанное с революционной смутой и убийствами офицеров. Щастный, официально ставший 5 апреля начальником морских сил Балтийского моря (командующим флотом), и здесь покидает Гельсингфорс последним, когда на подступах к городу уже шли бои с наступающими немецкими войсками.

Авторитет Щастного среди моряков был огромным, но большевистское руководство обвиняет его в нелояльности, тем более что он выступает против планов большевиков взорвать корабли — а следовательно, уничтожить только что спасенный флот — в случае угрозы их захвата немцами. По требованию народного комиссара Троцкого Щастный 27 мая был арестован за то, что «настойчиво и неуклонно углублял пропасть между флотом и советской властью» и «сея панику, он неизменно выдвигал свою кандидатуру на роль спасителя». 13 июня был принят декрет о восстановлении в России смертной казни, и 20–21 июня Щастного судят уже по этому декрету, в нарушение элементарного юридического правила о недопустимости обратной силы закона в случае его ужесточения.

Жданов произносит на суде речь, в которой аргументированно опровергает все доводы обвинения. Здесь он, в отличие от «дела Каляева», апеллирует не к эмоциям, а к рациональным аргументам, надеясь, что они подействуют на людей, еще совсем недавно подвергавшихся гонениям. Но напрасно: Троцкому и другим большевистским лидерам нужен показательный процесс, демонстрирующий, что любой военспец в любой момент может быть расстрелян, вне зависимости от его заслуг и характера доказательств. Для Троцкого нет тайны совещательной комнаты: будучи свидетелем и фактическим обвинителем на процессе, он прямо давит на судей, чтобы они вынесли смертный приговор.

Перед расстрелом Щастный написал Жданову письмо, которое не было передано адресату, но сохранилось в материалах дела: «Дорогой В. А., сегодня на суде я был до глубины души тронут Вашим искренним настойчивым желанием спасти мне жизнь. Я видел, что Вы прилагаете усилия привести процесс к благополучному для меня результату, и душой болел за Ваши переживания. Пусть моя искренняя благодарность будет Вам некоторым утешением в столь безнадежном по переживаемому моменту процессе, каковым оказалось мое дело. Крепко и горячо жму Вашу руку. Сердечное русское Вам спасибо». Рано утром 22 июня Щастный был расстрелян.

Жданов был возмущен беззаконием — не только в отношении Щастного, но и людей, во множестве становившихся жертвами чекистов. 11 июля 1918 года он направляет управляющему делами

Совнаркома Владимиру Бонч-Бруевичу докладную записку, в которой осуждает преступления ВЧК. Для него недопустимо, что ЧК считает провокационную деятельность законной и допустимой. Он обращает внимание на то, что Чрезвычайная комиссия, взяв на себя деятельность прежних охранного и сыскного отделений, «восприняла те же методы деятельности и тот же способ производства дел: полная безгласность и тайна производства, недопустимость защиты и отсутствие права обжалования». Такая аналогия была смертельно опасна для того, кто на нее решался.

Но при этом Жданов идет дальше простого сравнения: он прямо заявляет, что чекисты хуже царских чиновников. Во-первых, ЧК «обладает гораздо большими полномочиями. Она не только производит дознания и следствия, но и сама решает дела, применяя даже смертную казнь. Поэтому над ней нет контролирующего органа, который был над отделениями. Она принципиально допускает провокацию». И далее Жданов предсказывает, что все это приведет ЧК «к тому, что в ней соведут себе гнездо люди, которые под покровом тайны и безумной, бесконтрольной власти будут обделывать свои личные или партийные дела». Во-вторых, «состав ее гораздо невежественнее состава бывших охранных и сыскных отделений» (адвокат приводит конкретные примеры вопиющей некомпетентности), так что «невежественные следователи идут на поводу у агентов-провокаторов».

И наконец, резюме Жданова: «Я утверждаю, что деятельность Чрезвычайной комиссии будет являться сильнейшим дискредитированием советской власти. Единственное средство уничтожить вредные стороны деятельности комиссии — лишить комиссию права самостоятельно решать дела, обязав ее каждое дело в определенный срок представлять в соответствующий трибунал для гласного разбирательства, и допустить защиту к участию в дознаниях, производимых комиссией». Разумеется, советская власть отвергает рекомендации Жданова, хотя он и остается в живых — видимо, сыграл свою роль его статус бывшего политкаторжанина и известность в революционных кругах. Луначарский позднее писал о Жданове как о «так печально, но так героически выступившем против нас».

Жданов продолжает свою адвокатскую деятельность. В 1922 году он защищает на открытом процессе руководителей партии эсеров и в числе других адвокатов демонстративно отказывается от участия в суде в знак протеста против грубого нарушения прав подсудимых. За это он на два года высылается в Рыбинск, в 1924-м возвращается в Москву, где вновь работает адвокатом. В 1930 году, после очередного усиления репрессий, его отчисляют из адвокатуры, но он остается членом Всероссийского общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев, что давало какую-то опору в советском обществе.

Умирает Жданов в 1932 году на свободе, похоже за ним просто не успевают прийти. Наступало время, когда никакая революционная биография уже не спасала от гибели, когда советская власть стала уничтожать не только своих идейных оппонентов, но и искренних сторонников. Об адвокате Жданове, как и о капитане Щастном, в течение долгих десятилетий нельзя было говорить сколько-нибудь объективно. В годы перестройки о них вспомнили, но интерес к истории оказался непродолжительным. В честь Щастного назвали улицу в его родном Житомире, переименованную в 2016 году: для украинской власти спаситель Балтийского флота оказался чужим. В память о Жданове улицы пока нет — в современной России адвокат и правозащитник не принадлежит к числу официальных героев.

Петр Зайончковский

Гражданская война разделяет людей, ломает их судьбы. Причем нередки случаи, когда люди из стана побежденных остаются жить под властью победителей. И должны приспособливаться к новым реалиям — каждый по-своему.

Для взрослых, сформировавшихся людей нередко это трагедия, особенно если победители не предпринимают шагов к национальному примирению, а, напротив, всячески припоминают проигравшим былые обиды и воспринимают их как потенциальную угрозу. У Бориса Слуцкого есть грустные стихи о старых офицерах, живших — или доживавших — при советской власти: «Точные счетоводы, честные адвокаты, слабые живописцы, мажущие плакаты, но с обязательной тенью гибели на лице и с постоянной памятью о скоростном конце!» Будучи ребенком, поэт запомнил их «хмурые речи, полные обиняков» — поводов для веселья не было, а прямо нельзя было говорить не только в присутствии посторонних, но и с друзьями. За этими людьми пришли не в 1937-м, а раньше, в 1930-м, по так называемому делу «Весна», проходившему почти одновременно с другими «интеллигентскими» делами (Промпартии, Трудовой крестьянской партии и др.).

Но среди «белой среды» были люди совсем молодые, которые либо не успели повоевать, либо Гражданская война затронула их по касательной. Им было немного легче: обвинять их в чем-либо оказалось сложнее. Кто-то скрыл «неудобные» эпизоды своей биографии, а кто-то и собственное происхождение. У кого-то и эпизодов таких не было.

Выдающийся ученый-атомщик, предпоследний советский президент Академии наук Анатолий Александров был не только трижды Героем Социалистического Труда за строительство атомных ледоколов и подводных лодок, лауреатом Ленинской, Государственной и четырех Сталинских премий, но и многолетним членом ЦК КПСС. Но его коллеги по ЦК не догадывались, что в 1919 году 16-летний сын мирового судьи добровольно вступил в белую армию, был юнкером, пулеметчиком в армии Врангеля, лишь по молодости не был произведен в офицеры. Чудом оставшись жив после массовых крымских расстрелов, он вернулся домой, но сразу продолжить учебу ему не удалось. Лишь через несколько лет, в 1924-м, Анатолий поступил в Киевский университет, с чего и начался его блестящий научный путь, не связанный даже с намеком на внутреннюю нелояльность советскому строю. Сильнейшим ударом по одному из инициаторов развития атомной энергетики стала Чернобыльская катастрофа, вскоре после которой 83-летний академик ушел в отставку с поста главы Академии — и до самой смерти оставался советским ортодоксом, рассматривая СССР как закономерного преемника исторической России.

Были и другие примеры. До сих пор досконально не изучена судьба Ивана Кононова — по анкете красного командира с безупречным пролетарским происхождением. Быстро продвигаясь по служебной лестнице перед Великой Отечественной войной, он к ее началу был майором, командиром полка, орденосцем. В начале войны переходит на сторону немцев — причем вместе с ним сдается и некоторое количество его подчиненных, что было редкостью. В плену этот сын рабочего вдруг заявил, что его родители — казаки — были повешены большевиками в 1918 году, три брата тоже погибли, а Кононов скрыл все это, поступив в Красную армию. Историки не пришли к единому мнению о том, правду ли говорил Кононов немцам, в любом случае он командовал казачьими частями в составе вермахта, и казаки считали его своим. Надел форму врага, участвовал в жестоких боях с югославскими партизанами и бывшими товарищами по Красной армии, был произведен немцами в полковники, а Власовым — в генералы. Оказался единственным власовским генералом, избежавшим после войны казни, и умер в ав-

стралийской эмиграции. Для Кононова СССР был аномалией, с которой надо бороться, не выбирая союзников (в Австралии он предлагал свою помощь американцам во время корейской войны).

Была и совершенно иная судьба Петра Андреевича Зайончковского — известного советского историка, бывшего членом компартии и при этом человеком, глубоко влюбленным в Россию своего детства. И проделавшим в своей жизни две выстраданные идейные эволюции — вначале от белых к красным, а затем от красных к исторической России.

Некоторые считают, что Петр Зайончковский имел какое-то отношение к известному российскому генералу Андрею Медардовичу Зайончковскому, тем более что и отчество подходит, и генерал был автором целого ряда книг по военной истории, включая многократно переиздававшееся исследование о Первой мировой войне. На самом деле это представители двух далеких друг от друга ветвей рода Зайончковских, происходившего из польской шляхты. Более того, историк Зайончковский не любил, когда его спрашивали о генерале, и даже посвятил одну из своих книг своему отцу Андрею Чеславовичу, чтобы его не считали сыном Андрея Медардовича.

Неприятность историка к военачальнику объяснима, так как бывший генерал от инфантерии, кавалер орденов Белого орла, Святого Владимира II степени, Святых Анны и Станислава I степени (все с мечами, то есть за военные заслуги) и золотого оружия «За храбрость», гвардеец, генштабист, профессор военной академии Зайончковский в конце жизни был осведомителем ГПУ. В Гражданскую войну он служил военспецом у красных, но во время наступления Деникина на Москву предал их, передав через своего адъютанта белым саквояж с секретными документами. То ли это стало известно чекистам, то ли из-за подозрений в польских симпатиях из-за фамилии, но вскоре он был арестован и завербован. Но если бывшего генерала Зайончковского чекисты, похоже, сломали, то его дочь, Ольга Андреевна, в замужестве Попова, была провокатором-энтузиастом, сыгравшим роковую роль в «деле Тухачевского». Подозрения в подобном родстве для историка были оскорбительны.

Андрей же Чеславович, отец Петра Андреевича, был военным врачом, твердым сторонником монархии, которым оставался до

самой смерти, последовавшей уже в советское время. Он был сыном смоленского дворянина Чеслава Зайончковского, женатого на Александре Васильевне Воеводской, племяннице знаменитого адмирала Павла Степановича Нахимова. Родством с Нахимовым в семье гордились. Дядя Петра Андреевича, Николай Чеславович, на досуге занимался переводом православных богослужебных текстов с церковнославянского на русский язык и издавал свои труды под псевдонимом Николай Нахимов. Псевдоним был необходим, потому что на службе Николай Чеславович был крупным чиновником, занимавшим значимые посты на государственной службе. Правда, ему не слишком везло: с поста попечителя Оренбургского учебного округа пришлось уйти из-за твердого монархизма, ставшего немодным и временно невостребованным в период революции 1905 года. Недолго был товарищем обер-прокурора Синода, но тоже был вынужден покинуть этот пост — на этот раз из-за аппаратных интриг. Только стал сенатором, как случилась новая революция, Февральская. Правда, не исключено, что «мозаичность» карьеры спасла ему жизнь после ареста в 1919 году, когда большевики выпустили его на свободу, видимо, не имея на него слишком много компромата. Умер он в следующем году в Брест-Литовске, находившемся тогда под контролем Польши.

Двое других дядей Петра были артиллерийскими офицерами, подполковниками. Оба ушли на Первую мировую войну, оба оказались в плену в ее начале. Модест Чеславович служил в злосчастной 2-й армии генерала Самсонова, погибшей в самом начале войны во время битвы с германцами при Танненберге. Боевые награды он, как и его сослуживцы, получить не успел. Павел Чеславович успел повоевать подольше — в составе 4-й армии на Юго-Западном фронте. Был награжден тремя орденами, в том числе высшей военной наградой империи — орденом Святого Георгия, но все приказы вышли уже после взятия его в плен, когда он считался пропавшим без вести.

Неудивительно, что выходец из такой семьи должен был стать военным. В 1914 году 10-летний Петр поступил в Первый московский кадетский корпус, расположенный в Лефортово. Проучился недолго — в ноябре 1917 года старшие воспитанники корпуса уча-

ствовали в Москве в боях против восставших большевиков. Под командованием заместителя директора корпуса, раненого офицера-фронтовика полковника Владимира Рара, кадеты несколько дней держали оборону в своих казармах. Петр в боях не участвовал, но, безусловно, был в курсе этих событий. После закрытия корпуса он некоторое время учился в Киевском кадетском корпусе, а осенью 1919-го вместе с семьей оказался в Орловской губернии. Белые взяли Орел и готовились идти на Москву — если бы они прошли еще несколько десятков километров, то 15-летний Петр присоединился бы к армии Деникина. Но судьба распорядилась иначе: у белых не хватило сил, началось отступление, превратившееся через несколько месяцев в катастрофу. Зайончковские остались под красными

А дальше произошли события типичные и не очень. Типичной была невозможность для дворянского сына с громкой фамилией получить нормальное высшее образование и заниматься интеллектуальным трудом. Петр был вынужден работать пожарным, служащим на железной дороге, рабочим на машиностроительном заводе в Москве. Среднее образование он заканчивал без отрыва от производства. Нетипичным было другое: Петр искренне поверил в коммунистические идеалы. Возможно, его захватил мощнейший порыв к переустройству общества на более справедливых, как казалось, основах. А может быть, захотелось вернуть долг народу — эта тема еще в предреволюционные годы была популярна среди российского образованного класса. Так или иначе, но в 1931 году рабочий Петр Зайончковский вступил в партию — так он навсегда расходится с отцом.

А дальше у коммуниста и рабочего появилась возможность стать историком. В 1937 году Петр экстерном закончил знаменитый вольнолюбивый МИФЛИ (Московский институт философии, литературы и истории), дававший, по сути, университетское гуманитарное образование. И перед войной под руководством принадлежавшего к московской университетской исторической школе старого академика Юрия Владимировича Готье защитил кандидатскую диссертацию по истории Кирилло-Мефодиевского общества (тайной оппозиционной организации в николаевской России). Так

восстанавливалась связь времен — Готье был учеником еще великого Ключевского.

К середине 1930-х годов заканчивается вера в светлое будущее — стало окончательно ясно, что идеалы не выдержали испытания реальной жизнью. Только с отцом поговорить об этом, помириться с ним Петр не успел — Андрей Чеславович умер. В начале войны Зайончковский пошел добровольцем на фронт, хотя как кандидат наук и преподаватель Московского областного пединститута мог оставаться в тылу. Разочарование в партии не привело к отторжению от страны, которую учили защищать еще в кадетском корпусе, где будущим офицерам прививали высокие понятия о чести и человеческом достоинстве. Партийные руководители, получавшие деньги в конвертах и уже привыкшие к привилегиям, не отождествлялись для него с Россией. Путь, который избрал Кононов (и не только он), был для него аморален и неприемлем.

Прекрасно владевшего немецким языком Петра Андреевича направляли заниматься пропагандой противника — под Сталинградом, на Курской дуге, на Правобережной Украине. Работа была и опасная, и интеллектуальная. Опасная — потому что под Сталинградом приходилось подбираться к вражеским окопам и вести в мегафон агитацию, прерываемую пулеметными очередями. Интеллектуальная — так как в ходе допросов пленных немцев надо было анализировать сведения о немецкой армии, ее слабых местах, планах.

В конце 1944 года после тяжелой контузии майор Зайончковский был демобилизован и вернулся в Москву, где как историк и фронтовой офицер получил назначение на административную работу — заведующим отделом рукописей Государственной библиотеки имени Ленина. В это время отдел находился в плачевном состоянии: до войны не удалось закончить описание ни одного из фондов, которые поступили в него из бывших помещичьих имений, монастырских библиотек, дворянских особняков. Кроме того, документы только что вернулись из пермской эвакуации. За время руководства отделом Зайончковский смог наладить учет документов и сделать их более доступными для исследователей. Издается путеводитель по архивным фондам личного происхождения, возобновляется регулярный выход «Записок отдела рукописей», выходит капитальный

«Указатель воспоминаний, дневников и путевых заметок XVIII–XIX вв.» (хотелось включить в него и материалы XX века, но не удалось из-за цензуры). Тема информирования исследователей об исторических источниках, которые можно использовать в работе, остается для него одной из важнейших и в последующем. Уже уйдя из Ленинки и будучи университетским профессором, Зайончковский руководил изданием фундаментального многотомного справочника «История дореволюционной России в дневниках и мемуарах».

Активно публикуются документы: сам Зайончковский выпускает в свет четырехтомное издание наиболее интересной части дневника российского военного министра Дмитрия Милютина, реформатора, модернизировавшего армию при Александре II. Правда, полностью интереснейший комплекс милютинских документов — дневники и воспоминания — тогда опубликовать не удалось, причем не из-за цензуры, а в связи с позицией части коллег-историков. Так как Милютин не принадлежал к числу идеологически значимых фигур для власти, пробить издание тогда не удалось: оно было осуществлено в 12 томах ученицей Павла Андреевича, Ларисой Георгиевной Захаровой, в 1997–2013 годах.

В 1952 году Зайончковский уходит из Отдела рукописей, недолго является директором научной библиотеки Московского университета, а после 1954-го более не занимается никакой руководящей работой. До своей кончины в 1983 году он был профессором МГУ — благо параллельно с изданием милютинских дневников он готовил докторскую диссертацию по военной реформе XIX века в России, проводившейся под руководством Милютина.

С этого времени он занимается изучением российского реформаторства и роли в нем передовой бюрократии, а затем переходит к истории функционирования государственных институтов, как военных, так и гражданских. Сторонники вульгарной версии марксизма объединяли верхи (помещиков и высших чиновников) в один правящий слой с общими интересами, тогда как Зайончковский обращал внимание на то, что у наиболее продвинутой части государственной администрации может быть собственный, более реалистичный, взгляд на вызовы, стоящие перед страной. И если основная часть элиты выступает за сохранение привычного статус-

кво, то либеральные бюрократы инициирует перемены. Это было свойственно не только военной, но и другим Великим реформам Александра II, в том числе крестьянской, подготовку и ход которой Зайончковский тщательно изучал, преодолевая стереотип советской историографии о ее реакционном, даже крепостническом характере. Он считал, что при всех своих издержках реформа все же была большим шагом вперед для российского общества.

Зайончковский, конечно в кругу близких знакомых, называл себя позитивистом, отстраняясь от официальной марксистской методологии. Как известно, философы-позитивисты считают единственным источником истинного знания эмпирические исследования. Можно спорить об актуальности позитивизма для историографии второй половины XX века, но позитивизм Зайончковского был его реакцией на выборочное использование фактов многими официально признанными советскими историками, просто отбрасывавшими те из них, которые противоречили заранее выработанной концепции.

Исторический позитивизм в советское время противостоял конъюнктуре — это относилось к исследованиям и по российской, и по всеобщей истории. Яркий пример — деятельность блестящего знатока исторических источников Александры Дмитриевны Люблинской, тщательно и профессионально занимавшейся историей Франции XVII века и подвергшей резкой критике нашумевшую в конце 1940-х годов книгу профессора Бориса Федоровича Поршнева о народных восстаниях при Ришелье. Поршнев абсолютизировал роль классовой борьбы, что было идеологически «политкорректно», — Люблинская с опорой на факты показывала ущербность такой позиции, настаивая на тщательном изучении всей совокупности источников.

Для Зайончковского манипулирование фактами также было недопустимо, и с профессиональной, и с нравственной точки зрения. Например, проанализировав обстановку в России накануне крестьянской реформы, он пришел к заключению, что никакой революционной ситуации, якобы вынудившей царя освободить крестьян, не было (а этот тезис был тогда общим местом для советских историков). Это стало основанием для анализа «превентивно-

го реформаторства», на которое российская бюрократия была еще способна — в отличие от последних лет существования монархии. Таким образом, наполненные фактами и именами исследования Зайончковского не были похожи на нарративы XIX века, в которых содержалось подробное изложение событий, лишенное концептуальных взлетов. Из фактов делались выводы, которые имели значение для осмысления функционирования Российского государства, его элит и институтов. В советское время историки привычно говорили о роли объективных факторов — Зайончковский обратил внимание на значимость субъективного поведения людей, проводивших государственную политику. Позитивная оценка вклада либеральной бюрократии в историю России — его большая заслуга.

Его работы были основаны на тщательном изучении источников, некоторые из них Зайончковскому удалось издать, несмотря на их недостаточную приоритетность для официальной идеологии. Это не только милютинский четырехтомник, но и содержательнейшие дневники министра внутренних дел и председателя комитета министров Петра Валуева и государственного секретаря Александра Половцова. В своей последней, так и не завершенной книге о русской армии в начале XX века он немало цитировал Антона Деникина, книги которого находились в СССР под запретом, — того самого генерала, в армию которого кадет Зайончковский так и не смог вступить. Историк умер, работая в спецхране Ленинской библиотеки с деникинскими воспоминаниями.

Огромный труд историка был основан на анализе таких источников, как уставные грамоты (документы о земле и обязанностях крестьян, составленные в ходе крестьянской реформы), послужные списки офицеров и генералов, формулярные списки гражданских чиновников. Противопоставление увлекательной истории личностей и скучноватого исследования с применением количественных методов к нему не относилось — Зайончковский мог столь ярко изложить результаты исследований кадрового состава военной и гражданской бюрократии, что его работы было читать не только полезно, но и увлекательно.

Зайончковский создал свою научную школу — его учениками были 12 докторов и около 50 кандидатов наук. Одна из главных

проблем советской исторической науки была в ее изолированности от западной, и Зайончковский был одним из тех ученых, которые выступали за ее максимально возможную для того времени открытость. У него учились в качестве стажеров многие известные в будущем американские историки-русисты. Были у него ученики из Германии, Великобритании, Канады, тогдашней Чехословакии. Мой учитель Корнелий Федорович Шацилло рассказывал, что многие сотрудники библиотек и архивов относились к иностранным исследователям с подозрением, отказываясь выдавать им нужные для работы документы, и Петр Андреевич заказывал эти дела на свое имя. Отказать столь известному ученому не могли.

Один из учеников Зайончковского, Александр Павлович Шевырев, вспоминал, что за год до смерти профессор предложил ему отправиться в Лефортово, где в здании бывшего Первого московского кадетского корпуса располагалась Военная академия бронетанковых войск. Они попросили дежурного офицера пустить их посмотреть на парадную лестницу, которую еще с дореволюционных времен украшали кирасирские каски. Офицер неохотно, но разрешил. Так бывший кадет Петр Зайончковский простился со своей *alma mater*, с которой были связаны его молодость и мечты.

Иерофей (Афонин)

Когда-то, в благостные времена Жюль Верна, люди думали, что пройдет еще немного времени, и на Земле не будет места невежеству, спутником которого является фанатизм. Но прошли считанные десятилетия, и представление о всемогуществе науки, ее способности ответить на любой вопрос ушло в прошлое вместе с оптимистическим взглядом на улучшение нравов, обязательно совпадающее с расширением границ познания. Выяснилось, что модернизация не обязательно сопровождается гуманизацией, скорее наоборот: нередко человек, убежденный в том, что на его стороне последние достижения научной мысли, становится не менее фанатичным и даже иногда более непримиримым к инакомыслию, которое, по его мнению, противоречит объективным законам истории. Даже если об этих законах он имеет представление по первым страницам «Переписки Энгельса с Каутским», которые, видимо, одолел известный булгаковский персонаж Шариков.

Столкновение модернизации с архаикой — процесс драматический, особенно если модернизация приносится на штыках, малограмотными, по сути, людьми, считающими, что светлое будущее обеспечат «лампочка Ильича» и ликвидация неграмотности в форме политграмоты — набора простых лозунгов, внедрявшихся в сознание людей. И как оборотная сторона — с помощью разрушения или закрытия храмов, воспринимаемых как очаги невежества, препятствующие распространению подлинно научного мировоззрения. Но проходит время, и дети и внуки тех, кто преследовал религию, занимаются открытием новых храмов или становятся их прихожанами. Насильственные попытки внедрить прогресс закан-

чиваются неудачей, если они посягают на глубинные чувства, укоренные в народном менталитете.

И кроме того, в этой борьбе появляются свои герои, защищающие — вплоть до мученичества — привычные устои старого мира. Как вандейские вожди-роялисты во время Французской революции. И даже Виктор Гюго, сторонник прогресса, но крупный писатель, не мог в «Девяносто третьем годе» написать образ маркиза Лантенака только черной краской. Лантенаку свойственны и суровая справедливость, и неожиданное милосердие. Такие герои привлекают — пусть и рационально понимаешь их обреченность. А быть может, обреченность и способствует росту интереса — «адские колонны» республиканцев, давившие Вандею, могут вселять разные чувства, от морального отторжения до прагматичного признания исторической правоты победителей. Но обаяния и привлекательности в них нет.

В России противостояние советской власти и церкви было не менее драматичным. Но его особенностью было внешнее подчинение силе — закрытие храмов не вызвало не только новой гражданской войны, но даже сколько-нибудь ощутимого для власти открытого протеста. Первые же попытки оказать сопротивление изъятию церковных ценностей в 1922 году натолкнулись на демонстративные расстрелы — в Москве, Петрограде, Шуе. «Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать», — давал указания своим товарищам Ленин. Он оказался прав. После шуйских событий, когда вышедших на улицу верующих обстреляли из пулемета (четверо погибли), а потом расстреляли двоих священников и одного мирянина, стало ясно, что власть будет безжалостна. Поэтому, когда арестовывали епископов и священников, верующие не выходили на улицы, понимая, что поставят под удар не только себя, но и своих пастырей, которых легко будет обвинить в подстрельстве.

Но был один случай, когда верующие во главе с епископом не подчинились насилию. Они не пошли устраивать безнадежное вос-

стание — их протест носил мирный, ненасильственный характер. И все же он стоил жизни архипастырю — единственному епископу, который был смертельно ранен во время ареста.

Надо сказать, что эти события произошли в Никольске, небольшом городке в Северо-Двинской губернии с административным центром в Великом Устюге (сейчас Никольск входит в состав Вологодской области). В марте 1924 года в Никольск прибыл новый молодой епископ Иерофей, оказавшийся таинственным человеком, многие секреты которого не раскрыты до сих пор. Самостоятельной епархии в маленьком и далеком от крупных городов Никольске не было, но там существовало викариатство Великоустюжской епархии, которым, согласно церковным канонам, должен был управлять епископ.

До революции архиереями становились в основном выпускники духовных академий, биографии которых хорошо известны. В после-революционные годы посвящать начали и людей без высшего духовного образования, а то и без среднего светского. Епископская должность перестала быть привлекательной для людей, стремившихся сделать карьеру, и, напротив, скромный монах, решившийся взять на себя ответственность за паству, мог быть рукоположен в высокий церковный сан. Иногда, особенно в провинции, в епископы посвящали молодых людей, готовых пойти в тюрьму и ссылку за свои убеждения. В биографиях многих из таких архиереев были белые пятна или ошибки, связанные с недостаточно проверенной информацией, основанной нередко на устных источниках. Постепенно историки заполняют лакуны, устанавливают точные факты. В случае же с Иерофеем им приходится опираться на отрывочные сведения, достоверность которых в ряде случаев вызывает сомнения.

Есть версия советских времен, согласно которой епископ Иерофей, направлявшийся в Никольск, был убит белым офицером, завладевшим его документами. Таким образом, Никольским викариатством в течение нескольких лет управлял самозванец. Но возникает вопрос: как его в таком случае не разоблачили местные священнослужители (некоторые из них стали оппонентами Иерофея), да и крестьяне, на практике хорошо знавшие основы сложного цер-

ковного богослужения. Никаких документов, подтверждающих эту версию, нет, так что речь может идти о сознательной дезинформации, запущенной после убийства епископа. Мол, не епископа убили, а убийцу.

По другим данным, епископ был в прошлом махновцем, то есть участвовал в Гражданской войне на стороне Нестора Махно, воевавшего то против красных, то против белых, то против войск Украинской народной республики. Проблема у этой версии та же — полное отсутствие документов.

Достоверно неясна даже фамилия епископа. В эмигрантской литературе указывалась странная фамилия Афоник, потом выяснилось, что речь шла об опечатке. В показаниях на следствии он называл себя Тимофеем Дмитриевичем Афониним, уроженцем деревни Погореловки Перемышльского уезда Калужской губернии, родившимся в 1893 году. Но по другим данным, его фамилия — Федотов. Неясен и образовательный уровень владыки. Советские источники говорят о его малограмотности, что, отметим, полностью расходится с советской же «офицерской» версией. В то же время есть сведения, что он окончил семинарию или гимназию либо по крайней мере некоторое время там учился. Один из священников дал показания, что Иерофей был послушником в Белогорском монастыре Пермской губернии и некоторое время занимал там должность регента в церковном хоре. Есть информация, что он учился в этом монастыре в школе для сирот, уходил из монастыря в мир, работал учителем, но потом вернулся обратно.

Из всех этих противоречивых данных складывается такая картина: молодой человек родился в крестьянской семье, но потом по какой-то причине оказался на Урале (может быть, вместе с родителями-переселенцами). Паломничество практически исключено: Белогорский монастырь был новым, основанным в 1890-е годы, не настолько известным, чтобы идти туда из-под Калуги. Он мог осиротеть и «прибиться» к монастырю, где научился не только грамоте, но и основам богослужения (в том числе на практике: приютские дети должны были постоянно посещать службы) и церковному пению, к которому имел способности. Гимназия и семинария

в такую биографию вписываются плохо. Служба у Махно тоже сомнительна, хотя с учетом перемещения по стране огромных масс населения во время мировой и Гражданской войн могло быть всякое, в том числе и участие в каком-нибудь крестьянском движении (не обязательно в Украине). Зато трагедия 1918 года, когда настоятель монастыря и несколько монахов были казнены большевиками, а их тела брошены в Каму, могла врезаться в память, если, конечно, он в это время был на Урале. Но опять-таки все это только предположения.

Биография владыки подробно прослеживается с 1923 года, когда он был тайно рукоположен в викарные епископы в Уфимской епархии, но для епархии Томской. В Уфе после ареста патриарха Тихона местный епископ Андрей (в миру князь Ухтомский) провозгласил временную автокефалию (самостоятельность), чтобы защититься от экспансии связанного с властью обновленчества. В автокефальной епархии тайно рукополагали епископов не только для своей, но и для чужих епархий, в которых архиереи были арестованы или перешли на сторону обновленцев. Но до Томской епархии Иерофей не добрался, а стал викарием в Екатеринбургской епархии с кафедрой в городе Шадринске и некоторое время управлял всей епархией.

После выхода на свободу в конце 1923 года патриарх Тихон признал «андреевские» тайные епископские хиротонии. Но оставлять молодого и неопытного епископа главой (хотя и временным) огромной епархии Тихон не хотел. Патриарх пытается направить Иерофея в различные епархии в качестве викария, но ему не удается этого сделать, видимо сопротивляются чекисты. Наконец, в начале 1924 года Иерофей получает назначение в Никольск, куда и приезжает незадолго до Пасхи. Поселяется в сторожке при городском соборе, но в городе служит только по праздникам (причем настолько торжественно и вдохновенно, что привлекает в собор многих верующих), а в остальное время вместе с созданным им хором ездит по деревням, где не только служит в храмах, но и ведет многочасовые беседы с крестьянами.

Особое внимание он уделяет женскому служению, посвящая девиц в апостолиц (церковный ранг, неизвестный каноническо-

му православию). Апостолицы носили белые косынки и обязывались не только часто молиться и ревностно посещать храмы, но и игнорировать все мероприятия советской власти. Всего было посвящено около 500 апостолиц, которых Иерофей называл свои «белым комсомолом». Также Иерофей по уфимскому примеру тайно рукополагал священников, но так как имеющих хотя бы какое-то духовное образование в Никольске и его окрестностях было очень мало, то священнослужителями становились обычные крестьяне.

Практиковал Иерофей и общие исповеди — когда епископ или священник зачитывает список грехов, а прихожане каются в них. Вообще к общим исповедям отношение в Русской церкви весьма сдержанное: все же это дело сугубо индивидуальное, а «коллективное» покаяние может быть профанацией таинства. Но есть исключительные случаи, например так верующих исповедовал Иоанн Кронштадтский. В этих случаях прихожане действительно испытывали столь сильное чувство, что искренне каялись и обещали впредь не грешить. На никольских горожан и крестьян служение Иерофея производило столь же сильное впечатление. Разумеется, общая исповедь предшествовала частной, когда верующие тайно каялись перед священником и получали отпущение.

Такая деятельность епископа вызвала недовольство местных соборных священников, как слишком необычная для архиерея. Поэтому меньше чем через год он покинул собор и стал жить и служить в Казанской церкви Никольска. В деревнях Иерофея духовенство тоже недолюбливало. Жена одного из священников через несколько лет после гибели Иерофея вспоминала: «Однажды ожидали приезда архиерея. Со всей волости тыща людей собралась. Приехал он на «тройке» и сразу службу служить. От церкви к нашему дому дорогу холстом выстлали. Приготовила ему мезонин, чтоб отдохнул. Он поднялся туда и потребовал двух девушек для расчесывания волос. И вот он сидит, глазами посверкивает, а девушки с двух сторон чешут длинные его густые, черные волосы... А внизу священники вина выпили и шепчутся промеж себя: владыка-то неправильно службу ведет, не по уставу... Суций черт!»

Впрочем, никто из верующих Иерофея в разврате не обвинял — и это в традиционном обществе, где ничего скрыть нельзя. А незнание некоторых уставных богослужебных тонкостей может быть объяснено отсутствием систематического духовного образования, а не версией о самозванчестве.

Но, понятно, куда более серьезные проблемы для Иерофея создавала советская власть, которую он считал антихристовой и не скрывал этого. Правда, Иерофей не был сторонником прямого столкновения с властью, он считал, что законы надо соблюдать, но церковь и государство должны исходить из принципа взаимного невмешательства в дела друг друга. Для советской власти границы частной жизни были предельно сужены: страна жила в постоянном ожидании войны и в условиях мобилизационного общества любой инакомыслящий считался врагом.

Иерофея неоднократно вызывали на допросы в ГПУ, ему отказали в регистрации епархии. Местный суд приговорил его к штрафу за незаконную религиозную деятельность. Иерофей обратился в губернский суд и выиграл, дело было прекращено. На окраинах государства были возможны такие решения, но они мало что меняли: для чекистов даже «пролетарский суд» не был авторитетом. Через полгода, в сентябре 1925 года, Иерофей был арестован и отправлен в Москву, где содержался в Бутырской тюрьме. Но тут возмутились верующие, причем не «мелкая буржуазия», как в городах, — на нее как на временно терпимый при НЭПе, но отживающий класс власти могли не обращать внимания. И не «бывшие люди», как называли царских офицеров, чиновников и вообще зажиточных россиян, которые так и не смогли или не захотели приспособиться к новому строю. Возмутились крестьяне, отношение к которым у властей было двойственным. С одной стороны, они считались одной из опор власти и еще не было придумано слово «подкулачник», которым можно было назвать любого неблагонадежного крестьянина. С другой стороны, воспоминания о крестьянских восстаниях времен Гражданской войны продолжали быть актуальными.

Поэтому власти до поры до времени проявляли осторожность. Получив протест за двумя тысячами подписей, они освободили

епископа, который в начале 1926 года вернулся в Никольск. Но сотрудники ГПУ продолжали следить за ним и вызывать на допросы. Весной 1927 года, когда Иерофей заявил об очередном таком вызове, около 300 верующих двинулись к зданию районного ГПУ с требованием отстать от епископа. Уполномоченный ГПУ понял, что ситуация находится на грани бунта, и решил ее разрядить. Он обещал верующим, что епископа никто не тронет, и посоветовал Иерофею уехать из Никольска. Иерофей согласился и в течение полугода скрывался в местных деревнях, откуда продолжал управлять епархией. В ноябре 1927-го он вернулся в Никольск и вновь стал открыто служить.

К тому времени власти смогли «найти ключик» к церкви: ее формальный руководитель, митрополит Сергей (Страгородский), издал декларацию, в которой призвал верующих сотрудничать с большевиками. Иерофей оказался одним из самых решительных противников этой декларации. В его послании никольским верующим, написанном в январе 1928 года, со ссылкой на авторитетных церковных деятелей говорилось, что «митрополит Сергей избрал кривой путь дипломатического хитрословия, соглашений и уступок — будто бы для спасения Церкви — и оставил прямой, но скорбный путь креста, т.е. терпения и твердости». Иерофей считал Сергия еретиком, не признавая даже крещения в «сергиевской» церкви. В ответ Сергей сместил Иерофея с должности, запретил в служении и отдал под суд архиереев. Одновременно и власти готовились арестовать владыку и судить его своим судом. Время колебаний закончилось.

В апреле 1928 года, незадолго до Пасхи, около трех тысяч верующих собрались вокруг владыки и взяли его под охрану. Когда Иерофей все же был арестован, его отбили. После пасхального богослужения в Казанской церкви он покидает Никольск и начинает ездить по деревням, где служит и беседует с людьми. Путь Владыки устилали цветами и вытканными домашними половиками. Крестьяне надевали праздничные одежды, выстраивались рядами на пути епископа и целовали землю, на которую ступали его ноги.

Путешествие владыки продолжалось около двух недель. 2 мая в одной из деревень его арестовывает начальник милиции, но разда-

ется набат, а навстречу конвою и узнику выходят около 500 человек из соседних сел, вооруженных топорами, кольями и другими подобными орудиями. Иерофея на руках переносят в дом, а милиционерам приходится уехать. Это последнее торжество верующих, которые, однако, не чувствовали себя победителями, понимая, что на этот раз власти не останутся ни перед чем.

4 мая в деревню прибывают красноармейцы, но владыке удается бежать. Дороги были перекрыты — пришлось прятаться в стоге сена. Однако, разумеется, у властей нет возможности окружить весь лес, и епископу опять выпадает шанс бежать. Но он отказывается — по мнению верующих, чтобы не бросать свою паству. Крестьяне вспоминали, что Иерофей не хотел прятаться в одиночестве и ночью выходил на дорогу, где встречался с крестьянами. Чекисты заметили, что люди куда-то уходят ночью из деревень, и поняли, что епископ далеко не ушел.

6 мая чекисты задерживают епископского келейника, и он выдает место, где скрывался епископ (за это ему обещают должность дьякона). В лес отправляются милиционеры, чтобы арестовать Иерофея. Начальник райотдела милиции, переодетый крестьянином, чтобы не спугнуть епископа, пробирается к стогу и, увидев Иерофея, стреляет в него, тяжело ранив в голову. Видимо, у начальника сдали нервы: сопротивления епископ не оказывал.

В ночь с 6 на 7 мая Иерофей остается в лесу без всякой помощи, истекая кровью. Утром 7 мая милиционеры увозят его на телеге в Никольск. Когда он проезжал через деревни, то поднимал руку, чтобы в последний раз благословить крестьян, но охранники с размаха били прикладами винтовок по поднятой кисти. Из Никольска его на пароходе перевозят в Великий Устюг, где 16 мая он умер в тюремной больнице. Арестовали и многих крестьян, которые укрывали владыку; их называли «ерофеевцами».

После гибели Иерофея прихожане долгие десятилетия сохраняли о нем память как о святом человеке. О нем слагались духовные песни, на поляне, где он был смертельно ранен, был установлен поклонный крест. Туда приходили верующие, особенно много их собиралось на молитву в начале мая, в дни особого поминовения владыки. Если «ерофеевцев», защищавших своего епископа с коль-

ями в руках, отправили в лагеря, то многие «ерофеевки» остались на свободе и создали тайные сестричества.

Зарубежная церковь причислила епископа Иерофея к лику святых. Русская православная церковь от этого воздерживается, что неудивительно, причем не только из-за неясностей в его биографии — ведь Иерофей не признавал ее таинств. А для многих никольцев он остается святым вне зависимости от формального прославления. Когда в 1990-е годы исследователи занялись историей владыки Иерофея, они еще застали живыми последних, кто не только почитал, но и помнил этого человека.

Александр Кривошеин

Современная Россия — страна не просто с непредсказуемым прошлым, но и с прошлым актуальным. Появление Интернета еще больше расширило возможности для исторического самовыражения. Теперь не надо забрасывать письмами исторические журналы — вначале с надеждой на опубликование статьи о том, как все было на самом деле, а затем с возмущением по поводу отказа в публикации. Вместо этого можно высказывать свое мнение в Сети, подвергая ревизии любые суждения историков.

Особенно активно обсуждаются альтернативы состоявшимся событиям. Можно ли было избежать революции 1917 года? Какой стала бы страна без Сталина? Сохранился бы Советский Союз, если бы генсеком ЦК КПСС стал Романов, а не Горбачев? И, пожалуй, одна из самых популярных тем для обсуждений: была ли в российской истории альтернатива сталинской индустриализации? Можно ли было модернизировать экономику не такими зверскими методами, не ценой гибели и жизненных трагедий миллионов людей — расстрелянных, умерших от непосильного труда, отправленных в лагеря и ссылки, лишенных имущества? Был ли более гуманный путь для того, чтобы «принять Россию с сохой и оставить ее с атомным реактором», как говорится в известной цитате, приписываемой Сталину, а на самом деле принадлежавшей Исааку Дойчеру, биографу и поклоннику Льва Троцкого. Или же цари тратили деньги на всяческих Матильд и игнорировали реальные нужды страны.

Однозначно ответить на этот вопрос так же сложно, как и серьезно обсуждать несостоявшиеся альтернативы. Но все же некоторые сценарии были возможны, и они связаны с деятельностью

человека, который отвергал мобилизационный тип экономики и силовые методы управления страной. При этом он делал успешную карьеру (ругательное слово для советского дискурса, в котором официально ценилось подчеркнутое бескорыстие) на государственной службе с пользой для страны.

Александр Васильевич Кривошеин родился в 1857 году в Варшаве, где в то время служил его отец, Василий Федорович. Происхождение Кривошеина напоминает историю рода Деникиных. Отец — офицер, выслужившийся из солдат (только завершивший службу в чине подполковника, а не майора, как отец будущего генерала, Иван Ефимович Деникин). Матери — польки, небогатые дворянки, решившиеся связать свои судьбы с имперскими офицерами. Деда — крепостные крестьяне. Ни у Деникина, ни у Кривошеина не было имений — ни наследственных, ни благоприобретенных. В общем, выходцы из нового служилого дворянства, у которых не было склонности к расслабленной легкой жизни. Они были активны и деятельны. Деникин буквально прорвался в элитную корпорацию офицеров Генерального штаба: провалился на экзамене в академии, был зачислен снова; успешно завершив учебу, не был причислен к Генштабу; подал жалобу на начальника академии, отказался униженно просить милости — и все же прорвался в элиту.

У Кривошеина таких испытаний не было. Он избрал не военную, а гражданскую карьеру. Окончил гимназию в Варшаве, в одном из классов расслабился, остался на второй год, зато в другой год прошел сразу два класса и завершил учебу вместе со сверстниками. Потом отправился в Петербург, где поступил на физико-математический факультет университета. Этот факультет готовил не только преподавателей гимназий — его заканчивали и некоторые будущие государственные служащие, например Столыпин. Впрочем, Кривошеин вместе с ним не учился, так как был старше, да и факультет не закончил, перейдя на юридический, который окончил со степенью кандидата прав (примерный аналог современного красного диплома).

После окончания учебы был юрисконсультom Северо-Донецкой железной дороги, принадлежавшей Савве Мамонтову, известному не только как предприниматель, но и как меценат. Этот короткий

жизненный период стал для Кривошеина важным: он вошел в круг московского купечества, причем наиболее передовой его части, стремившейся выстроить отношения не только с художниками, но и с учеными. Познакомил Кривошеина с Мамонтовым профессор Петербургского университета Адриан Прахов, интеллектуал с высоким художественным вкусом, специалист по итальянскому и древнерусскому искусству. Кривошеин вместе с Праховым посещает Италию, гостит у Мамонтова в Абрамцеве, где играет в любительских спектаклях и знакомится с крестьянским кустарным искусством.

Иногда кажется, что Кривошеин не только впитывал в себя массу знаний и умений, но и раскладывал их по полочкам, находя каждому из них прагматичное применение. Кустарное искусство понадобится ему через много лет, когда он уже будет членом правительства — это помогло заручиться доверием императрицы Александры Федоровны, которая не интересовалась ни земледелием, ни промышленностью, но обожала созданную ее воображением «посконно-домотканную» Русь (оттуда произошел и феномен Распутина). У императрицы и министра оказалась общая тема для разговоров, что в России начала XX века случалось нечасто.

А знакомство с зарубежной культурой пригodiлось еще раньше — когда Прахов познакомил уже успешного перейти на государственную службу Кривошеина с могущественным министром внутренних дел Дмитрием Толстым. У Толстого был сын Глеб, «полуидиот» (по свидетельству одного из современников), которого отец отправил в кругосветное путешествие с целью хоть как-то развить его скромные способности. Прахов должен был стать наставником молодого человека, а Кривошеин — умным, тактичным и терпеливым сопровождающим. По совместительству ему дали и официальное задание от МВД — на пароходе, на котором они плыли, на Дальний Восток направлялись крестьяне-переселенцы, и Кривошеин должен был организовать их переезд до Владивостока да и еще и изучить их нужды. Кривошеин справился со всеми заданиями (впрочем, Глебу Толстому это не слишком помогло), получил благодарность министра и назначение комиссаром по крестьянским делам в Калишской губернии хорошо знако-

мой ему Польши. Служба в регионе могла дать сильный импульс его карьере в министерстве.

В русской литературе, в значительной степени сформировавшей менталитет общества, карьерных чиновников не любят. Типичный образ — умеренный, аккуратный, бессловесный Молчалин. Но Кривошеин меньше всего грибоедовский Молчалин (как и Деникин — никак не Скалозуб). В студенческие годы он дрался из-за любви на дуэли на саблях — и получил шрам, оставшийся на всю жизнь. Да и Дмитрий Толстой умер в 1889 году, вскоре после назначения Кривошеина в Польшу, так что дальше ему пришлось пробиваться без покровителя. В 1891 году он вернулся в центральный аппарат МВД, где служил почти полтора десятилетия. В первые годы скромный делопроизводитель постоянно направлялся в командировки, изъездив чуть ли не половину Европейской России.

При этом у него хватило времени на личную жизнь: уже не слишком молодой, 35-летний чиновник женился на Елене Геннадьевне Карповой. Ее отец — профессор истории Московского университета, но еще более важно, что мать — урожденная Морозова, дочь могущественного Тимофея Саввича, одного из столпов купеческой семьи, и сестра еще более знаменитого эксцентрика и мецената Саввы Тимофеевича. Так Кривошеин окончательно становится своим человеком в своеобразной среде московского купечества. Кстати, сестра Кривошеина Ольга уже после революции вышла замуж за пожилого и потерявшего свое состояние брата Саввы Сергея, создателя московского Кустарного музея (вспомним интересы Кривошеина!), так что дело было не только в деньгах.

В министерстве Кривошеин поднимается до должности начальника Переселенческого управления. В 1905 году он становится товарищем (заместителем) руководителя вновь созданного Главного управления землеустройством и земледелием — по нынешнему замминистра сельского хозяйства. В этот период Кривошеин выступает против своего начальника Николая Кутлера, человека премьеры Витте. Кутлер предлагал провести земельную реформу с частичным отчуждением помещичьих земель. Возможно, если бы план Кутлера был реализован, он позволил бы смягчить недовольство крестьянства при сохранении «культурных» (высокодоходных с современной

агротехникой) имений, основы товарного производства. Но против него выступила почти вся элита, и Кривошеин присоединился к большинству. Шансов на успех у Кутлера не было (от него отвернулся даже Витте), поэтому от позиции Кривошеина судьба его инициативы не зависела. Но решение Кривошеина было связано не только с желанием остаться на государственной службе (Кутлер ушел с нее и вскоре вступил в оппозиционную кадетскую партию), но и с внутренним убеждением в том, что не обязательно изымать землю у помещиков. Достаточно сделать ставку на создание слоя крестьян — частных собственников, на переселение на окраины крестьян из перенаселенного центра России и на другие меры, которые потом составили основу Столыпинской аграрной реформы.

Впрочем, попытка Кривошеина прорваться на пост главноуправляющего землеустройством и земледелием в 1906 году завершается неудачей — Витте блокирует его назначение, но в результате на Кривошеина обращает внимание царь, у которого Витте вызывал сильнейшее раздражение. Поэтому после некоторой заминки карьера Кривошеина развивается дальше. Осенью 1906 года он — товарищ министра финансов, управляющий Дворянским и Крестьянским банками, главными финансовыми инструментами Столыпинской аграрной реформы. Здесь Кривошеин сближается с новым премьером Столыпиным и занимается реализацией его аграрной политики, идеи которой сам формулировал еще раньше. Одним из ее главных элементов было переселение крестьян, и Кривошеин как бывший глава Переселенческого управления обладал ценнейшим опытом, который был особенно востребован новым премьером.

В 1908 году Кривошеин наконец становится главноуправляющим землеустройством и земледелием и входит таким образом в состав правительства. В этом качестве он активно реализует реформу, результаты которой сейчас оцениваются историками противоречиво. В деревне действительно складывается слой крепких мужиков, как их тогда называли, «чумазых лендлордов», постепенно вытеснявших неэффективных помещиков. Но одновременно социальные противоречия никуда не исчезали, а административные методы разрушения общины вызывали недовольство крестьян. Да и попытки создать «граждан» на основе насаждения в деревне част-

ных собственников столкнулись с сильнейшим сопротивлением крайних традиционалистов. В результате проект создания «мелкой земской единицы» на волостном уровне, где помещики и крестьяне имели бы равные права, так и не был реализован, а архаичный «крестьянский» волостной суд, в котором решения часто принимались в обмен на водку, был сохранен, хотя и в урезанном виде.

В то же время Столыпин и Кривошеин хотя бы взялись за решение труднейшей задачи, что заслуживает уважения на фоне бездействия большинства традиционной российской элиты. В любом случае целый ряд компонентов реформы, такие как улучшение землеустройства, агрономическая помощь крестьянам, можно оценивать сугубо положительно. Что же до изъятия у помещиков части земель, то к этому вопросу рано или поздно пришлось бы вернуться — даже без войны и революции, которые обрушили весь российский государственный строй.

Отдельно следует сказать о кривошеинской переселенческой политике, которая также может быть занесена в плюс реформаторам. Кривошеина называли министром Азиатской России за его постоянное внимание к ее развитию за счет переселения туда крестьян. В августе-сентябре 1910 года Столыпин и Кривошеин совершили поездку по Западной Сибири, в ходе которой ознакомились с бытом переселенцев. Конечно, это в немалой степени было пиаровской акцией, но в то же время первый (и последний) визит царского премьера в Сибирь способствовал росту внимания власти к проблемам региона.

После гибели Столыпина Кривошеин сохранил свой пост, и его аппаратные позиции даже усилились. Он выходит из тени своего патрона и становится главным оппонентом нового премьера Владимира Коковцова. Еще при жизни Столыпина Кривошеин получает высокий придворный чин гофмейстера и почетное звание статс-секретаря, он помогает вдовствующей императрице Марии Федоровне в деятельности Общества Красного Креста и великой княгине Марии Павловне, пожелавшей установить в бельгийском Генте памятник великим художникам, братьям ван Эйк. С императрицей, как говорилось выше, Кривошеин обсуждал вопросы кустарных промыслов. В 1912–1913 годах он получает подряд два

высоких ордена — Белого орла и Святого Владимира II степени. Кривошеина все чаще называют в качестве кандидата в следующие премьеры. Тем более что он активно критикует политику финансовой экономии и накопления, проводимой Коковцовым, предлагая в качестве альтернативы ускоренное развитие реального сектора, инвестиций в экономику.

И тут Кривошеин совершает свою главную ошибку. Любимец двора, он в начале 1914 года фактически свергает Коковцова, но не решается возглавить правительство. Внутренне ему было комфортнее играть роль серого кардинала за спиной импозантного пожилого (почти 75-летнего) царедворца Горемыкина, который по его протекции стал премьером. Молодой энергичный финансист Петр Барк также по предложению Кривошеина возглавил министерство финансов. Кривошеин же остался на посту главы земельного ведомства и фактически выдвинул концепцию Нового курса в экономике, которая выделила его из ряда простых честолюбцев.

Близкий сотрудник Кривошеина Иван Тхоржевский дал Кривошеину в эмигрантских мемуарах такую характеристику: «Редкое сочетание: такт, воля, выдержка, осторожность и в то же время — жадное влечение к жизни! Ненасытный интерес к людям, к человеческим характерам, к неизвестному. Никакого идеализма. Но упрямая любовь к Родине. Никаких исключительных дарований. Но редкий в людях дар и инстинкт строителя: умение собирать, а не растрачивать русскую силу. Жизнь как будто случайно возносила его, дельца, практика, «интригана», каким считали его враги, все на большую и большую высоту. А он, именно в силу своей чуткости, гибкой цепкости, непрерывно рос, умнел, учился, стал крупным государственным деятелем. И начав — как все! — погоню за успехом, незаметно для себя пришел к самопожертвованию».

Кривошеин предложил сделать ставку не на часто неэффективное государственное предпринимательство, а на создание инфраструктуры для развития экономики. В сельском хозяйстве — на строительство элеваторов на средства Государственного банка и казны (всего планировалось построить 84 зернохранилища вместимостью 58,8 млн пудов) и проведение масштабных мелиоративных работ (но, разумеется, без утопических проектов типа поворота

рек). Был разработан план железнодорожного строительства: за пять лет предполагалось увеличить сеть российских железных дорог почти на 50%. Направления будущих железных дорог должны были увязываться с задачами развития промышленности и сельского хозяйства. Планировалось построить Туркестанско-Сибирскую (Турксиб), Южносибирскую магистрали, Магнитогорскую линию, дорогу Верхнеудинск–Кяхта на Дальнем Востоке (Кривошеин не забывал, что является «министром Азиатской России»). В европейской части страны предполагалось построить дороги из Петербурга до Рыбинска и Орла, из Саратова до Александровска (нынешнего Запорожья) и портового Мариуполя. Также в рамках инфраструктурных проектов предлагалось строительство гидроэлектростанций, в том числе Днепровской и Волховской, построенных уже в советское время.

Большое внимание уделялось развитию мелкого кредита и сберегательных касс. Министр Барк заявил, что в России 8500 сберкасс и 25 300 винных лавок, а его цель — достигнуть обратной пропорции. Это было не просто лозунгом — «Новый курс» предусматривал сокращение продажи водки для оздоровления страны. Сейчас подобные меры в России связываются с одиозными очередями горбачевского времени, но нельзя не отметить общенациональную важность этой задачи.

В случае успеха «Новый курс» мог стимулировать развитие экономики на сбалансированной основе — без перекоса в сторону крупной индустрии, без строительства ее любой ценой. Кривошеин и Барк рассматривали Россию не как изолированное государство, а как часть мировой экономики, не как «сверхдержаву», а как одну из ведущих стран мира. В результате был разработан реалистичный план, модернизирующий страну без крови и насилия.

Реализации «Нового курса» помешала мировая война, начавшаяся через несколько месяцев после его провозглашения. В военное время Кривошеин фактически берет на себя лидерство в правительстве, окончательно оттесняя на второй план премьера Горемыкина. Он настаивает на сотрудничестве с Государственной думой, в которой все более усиливалась оппозиция. Сплотив вокруг себя большинство членов правительства, он летом 1915 года

добился отставки четырех непопулярных министров и замены их на тех, кто мог взаимодействовать с обществом.

Но этот же успех стал началом конца его правительственной карьеры. Когда Кривошеин попытался воспрепятствовать смещению великого князя Николая Николаевича с поста главнокомандующего, против него выступил премьер Горемыкин. Кривошеин исходил из рациональных аргументов: великий князь, несмотря на военные неудачи, сохранил немалую популярность, а принятие царем на себя этих обязанностей могло вызвать еще больше критики в адрес непопулярного самодержца (что и произошло). Фактически он вел себя как парламентский министр, но в самодержавной стране, где воля царя была законом, а Дума не могла влиять на кадровую политику. Спасая монархию, Кривошеин фактически посягнул на принцип самодержавия. Горемыкин же действовал в старой традиции — слуга государев должен беспрекословно выполнять волю монарха. Царь выбрал Горемыкина и неизбежный конфликт с Думой, а Кривошеин был уволен, хотя и с почетом — награждением орденом Святого Александра Невского, сохранением придворного звания и статс-секретарства. Последняя возможность для компромисса между властью и общественностью была упущена.

После отставки Кривошеин отходит от дел. Он работает в Красном Кресте, а после Февральской революции становится одним из директоров компании Морозовых. В феврале и октябре 1917-го этот энергичный человек вынужден оставаться бессильным наблюдателем. После прихода к власти большевиков он руководит одной из антисоветских подпольных организаций — «Правым центром» — и избегает ареста в 1918-м только благодаря своей выдержке. Когда чекисты явились с обыском в контору Морозовской мануфактуры, Кривошеин, воспользовавшись тем, что шел поиск золота в сейфах конторы, спокойно надел плащ, не торопясь, поправил галстук, уверенным жестом отстранил часового у дверей и спокойно вышел на улицу.

Он бежит на юг, где занимается общественной деятельностью, некоторое время руководит ведомством снабжения у Деникина. После поражения деникинской армии в начале 1920 года Кривошеин уехал во Францию, где ему — одному из немногих

эмигрантов — предложили выгодную должность председателя совета в одном из русских банков, имевших капиталы в этой стране. Казалось, можно спокойно жить в относительном комфорте, но генерал Врангель, сменивший Деникина, предложил Кривошеину вернуться в Россию и стать его ближайшим сотрудником. После этого Кривошеин отказался от банковского предложения и прибыл в Крым, возглавив вскоре врангелевское правительство.

С точки зрения обычной логики Врангель был обречен, но Кривошеин должен был выполнить свой долг до конца. В свое полугодовое крымское премьерство он проводит аграрную реформу, основанную на принципах, которые он ранее отвергал. Крестьяне наделялись землей за счет раздела крупных поместий за определенную плату (пятикратный средний годовой урожай для данной местности, для выплаты этой суммы предоставлялась 25-летняя рассрочка). Проводили реформу органы местного самоуправления — те самые «крестьянские» волостные земства, которые так и не были созданы в царской России. «Принадлежа всей своей предыдущей службой к государственным людям старой школы, он, конечно, не мог быть в числе тех, кто готов был принять революцию, но он ясно сознавал необходимость ее учесть», — так вспоминал о Кривошеине Врангель.

Кривошеинская реформа уже ничего не смогла изменить: в отличие от 1914–1915 годов здесь нельзя говорить об упущенной альтернативе. Но она стала примером того, как правые деятели, Врангель и Кривошеин, решились на реформу, которую не смог провести более левый Деникин, и нерешенный аграрный вопрос стал для него роковым.

В эмиграции, куда Кривошеин отправился вместе с Врангелем, он прожил недолго. Он устал и был надломлен, в годы Гражданской войны погибли два его старших сына, Василий и Олег. Бывший министр умер в Берлине осенью 1921 года. За границей остались три его сына. Всеволод стал православным богословом и архиепископом (с монашеским именем Василий), Кирилл был экономистом и первым биографом своего отца. Игорь был инженером и масоном, за участие во французском Сопротивлении был отправлен в нацистский лагерь, после войны вернулся в СССР, где вскоре оказался уже

в лагере сталинском. На склоне лет ему разрешили переехать обратно во Францию. А сын Игоря Никита, отсидев в советском лагере уже при Хрущеве — за протест против вторжения в Венгрию, сейчас живет во Франции, занимается публицистикой.

В современном общественном сознании Кривошеин заслонен более харизматичным Столыпиным. Но именно с деятельностью Кривошеина связаны две важнейшие неиспользованные альтернативы — «Новый курс» и партнерство с Думой во время войны. В первом случае фатальную роль сыграла война, во втором — предрассудки царя и его окружения, оказавшихся неспособными на проведение превентивных реформ, за которые выступал Кривошеин.

Александр Ливеровский

В современной России нередко говорят о разрыве эпох. О том, что приход к власти в 1917 году большевиков стал роковой чертой, отделившей старую Россию от новой. Действительно, порвалась связь времен, для многих это стало роковым, обрекло на гибель от голода или безнадежности, на жизнь в эмиграции или на расстрел. Но есть два важных обстоятельства, которые нельзя не учитывать.

Во-первых, насколько идеальной была ушедшая эпоха. Идиллическая картинка старой доброй императорской России нередко не учитывает, что абсолютное большинство населения страны было неграмотным. Было и множество других проблем, в том числе политических — от полицейского произвола до цензуры, часто произвольной, унижительной для авторов. Поэтому политикой власти были недовольны не только профессиональные революционеры, но и многие профессионалы — врачи, учителя, инженеры. Стены между революционером и оппозиционно настроенным интеллигентом часто не было. Легче всего обвинить такого интеллигента в легкомыслии, в том, что он расшатывал государство, которое было неизмеримо менее репрессивным, чем пришедшая ему на смену советская власть. Но гораздо более виновны те, кто пытался сохранить режим в неприкосновенности, препятствуя даже самым умеренным реформам. Поэтому есть смысл в ироничном советском изречении — о том, что орден Октябрьской революции надо было бы посмертно вручить императору Николаю II, без которого ее могло и не быть. И, добавим, Александру III и Константину Победоносцеву, «подморозившим» Россию и не увидевшим краха той системы, которую они добросовестно создавали.

И во-вторых, порвались ли все нити, соединяющие нас с ушедшим временем. Осталось не так уж и мало — от памятников архитектуры до книг; интеллектуальная преемственность в научной сфере. Возьмем, например, историю. Ключевский учился у Соловьева, Любавский у Ключевского, Бахрушин у Любавского, Зимин у Бахрушина. А Зимин — это уже почти наше время, он умер в 1980-м. То же самое относится и к другим наукам, в том числе техническим. У выдающихся советских инженеров были учителя, с гордостью носившие форменные мундиры и фуражки императорской России — старые инженерные эмблемы были запрещены только после сфабрикованного чекистами «дела Промпартии», направленного на уничтожение технической корпорации со своим кодексом чести, несовместимым с советской идеологией.

Одним из выдающихся инженеров, работавшим и в дореволюционное, и в советское время был Александр Васильевич Ливеровский. Он прожил долгую жизнь — 84 года. Родился в 1867 году в Петербурге, умер в 1951-м, в том же городе, который уже назывался Ленинградом. Его отец Василий Евгеньевич был агрономом-лесничим, работал уездным охотоведом в Олонецкой губернии, занимался мелиорацией, дослужился до «предгенеральского» чина статского советника.

Семья была зажиточной — мать Александра купила за 9 тысяч рублей имение рядом с деревней Лебяжье на берегу Финского залива, где и провел немалую часть детства и юности будущий инженер. Но и богатой ее назвать было нельзя, так как в семье было много детей. Александр был старшим. Второй сын, Алексей, окончил Военно-медицинскую академию, долгое время служил в военноморском флоте, затем работал врачом в Морском корпусе, а после Февральской революции статский советник Ливеровский стал председателем революционного комитета в корпусе. В Гражданскую войну был на стороне красных, но в партию большевиков не вступил, а затем долгие годы работал врачом в Ленинграде. Третий, Леонид, занимался сельским хозяйством, разводил лошадей. Двое младших, Петр и Николай карьеры тоже не сделали, по семейным воспоминаниям, были связаны с революционным движением, один из них даже уехал в эмиграцию. Это не помешало Петру управлять

перед Первой мировой войной большим многоэтажным доходным домом Перцова на Лиговке с гостиницей на 200 номеров, рестораном и меблированными комнатами. Николай же работал чертежником.

В детстве Александр хотел стать агрономом, как отец, но случай изменил его судьбу — он по-детски влюбился в свою домашнюю учительницу, но та вышла замуж за инженера путей сообщения и уехала. 9-летний ребенок не выдержал разлуки и даже заболел, а выздоровев, решил стать инженером — видимо, таким же сильным и успешным, как его «счастливый соперник». Впрочем, после блестящего, с золотой медалью, окончания Крошадтской гимназии, Александр первоначально выбрал иной путь, закончив физико-математический факультет Петербургского университета. Во время учебы особенно увлекался астрономией, получил еще одну золотую медаль (за статью о двойных звездах), защитил кандидатскую работу о солнечном затмении. Но затем, отслужив срочную службу в престижной лейб-гвардии артиллерийской бригаде, все же оставил астрономию и поступил в Петербургский институт инженеров путей сообщения, который закончил за три года, так как уже имел фундаментальную математическую подготовку.

Учеба сопровождалась летними практиками, которые менее всего можно было считать формальными. Летом 1891-го он работает на Лозово-Севастопольской железной дороге, где во время рутинной работы отвечает на вопрос, почему рельсы одной нити дороги изношены намного больше, чем другой. Студент выясняет, что на юг перевозится намного больше грузов, чем на север, отсюда и проблема. Его награждают специальной премией. В следующем году он работает десятником на строительстве Уфа-Златоустовской железной дороги, где знакомится с инженерами, которые затем будут строить Транссиб. В 1893-м впервые работает в Сибири на начавшейся великой стройке и, еще не имея диплома, исполняет обязанности начальника дистанции.

Окончив институт, Ливеровский работает инженером на строительстве дороги Екатеринбург–Челябинск, связавшей Уральскую дорогу с сооружавшимся Транссибом. Его учитель и начальник — Константин Михайловский, опытнейший инженер, главный строитель Транссиба (его иногда путают с однофамильцем, Николаем

Гариним-Михайловским, будущим писателем, инженером-изыскателем, также внесшим немалый вклад в создание Транссиба). В последующем Ливеровский набирается опыта, занимаясь строительством дорог в разных частях империи — работает на прокладке шоссе Новороссийск–Сухуми, а затем на участке от Нижнего Новгорода до Арзамаса Московско-Казанской железной дороги.

Но главным его делом является работа в Сибири. В 1901 году он получает самостоятельное ответственное назначение — строить самый сложный 16-километровый участок Кругобайкальской железной дороги (составной части Транссиба), на котором были возведены 12 тоннелей и 4 противообвальных галереи, а объем скальных выработок составил 2,5 млн кубометров. Позднее Ливеровский вспоминал, что «линию пришлось вести то на вырубленной в крутых скальных склонах полке с нагорными откосами до 60 м, то на подпорных стенках над самым озером, то в многочисленных тоннелях, прорезывающих многочисленные мысы, вдающиеся в озеро, то на каменных арочных виадуках над паадьми».

Во время строительства он проявил себя не только талантливым инженером, но и квалифицированным управленцем: под его руководством вдоль берега Байкала были построены причалы для выгрузки стройматериалов и конструкций, создана флотилия для транспортировки по воде всего необходимого для работ. В середине участка была построена электростанция, которая впервые в стране обеспечивала электроэнергией железнодорожное строительство — это позволило вести работы круглые сутки. Во многом благодаря усилиям Ливеровского движение по Кругобайкальской дороге было открыто досрочно, в августе 1904-го, что позволило обеспечить по ней переброску войск на фронт Русско-японской войны.

После войны Ливеровский продолжает работать на Транссибе, руководя перестройкой Средне-Сибирской железной дороги от Ачинска до станции Иннокентьевской (ныне Иркутск-Сортировочный). На горных участках дороги он решает проблему «мокрых выемок» — участков, которые весной и летом заливаются подземными водами. Он отводит воду с помощью дренажных лотков — как делал его отец-лесничий в Олонецкой губернии — и добивается

успеха. В 1912 году он в последний раз возвращается на Транссиб, возглавив строительство его восточной части — Восточно-Амурской железной дороги. При его самом активном участии были построены несколько больших Хинганских тоннелей, один из которых пролегал в толще вечномёрзлых пород, и мост через Амур — тогда самый длинный железнодорожный мост на Евро-Азиатском континенте.

Ливеровский, как и многие другие инженеры путей сообщения, был человеком миссии — он не только зарабатывал, но и творил. В конце жизни старый профессор написал такие возвышенные слова: «Что может быть радостнее, чем видеть, как где-то в глухой тайге, в пустынной, безлюдной, бездорожной местности изо дня в день растут насыпи, углубляются выемки, расступаются горы, давая проход рельсовому пути, смиряются буйные потоки, оседланные красивыми мостами, и многоводные величественные реки подчиняются всепокоряющему человеческому уму».

Нередко дореволюционное железнодорожное строительство вызывает в памяти грустные Некрасовские строки: «Прямо дороженька: насыпи узкие, Столбики, рельсы, мосты. А по бокам-то всё косточки русские...». Во времена Ливеровского ситуация была уже иной. Нормальные отношения с рабочими установились у него еще во времена студенческих практик. При строительстве Кругобайкальской дороги сооруженная под его руководством электростанция в том числе освещала рабочее общежитие.

В период сооружения Восточно-Амурской дороги, которое велось в труднейших условиях (горы, болота, вечная мерзлота, а также весенние и летние ливни, вызывавшие «быстрые и высокие подъемы воды многочисленных притоков Амура, зимой в большинстве своем промерзающих до дна»), Ливеровский создал для рабочих нормальные условия жизни. Была своя санитарная служба с баржой-госпиталем для строителей моста, девятью светлыми и чистыми больницами на больших станциях, с врачебными кабинетами и многочисленными фельдшерскими пунктами близ дороги. При этом норвежский путешественник Фритшоф Нансен отмечал, что больных среди рабочих было немного. Сейчас такая практика называется социальной ответственностью.

Ливеровский вошел в историю Транссиба как человек, забивший первый и последний колышки этой дороги. Первый — в 1893-м, еще будучи студентом, как начальник дистанции в Западной Сибири. Последний — в 1915-м, в Хабаровске, уже в качестве начальника строительства.

В том же году его переводят в Петербург на должность начальника Управления по сооружению железных дорог Министерства путей сообщений. Новому министру Александру Трепову, назначенному в военное время, нужны люди, умеющие в короткие сроки решать сложные проблемы. Ливеровский принадлежит к их числу: он курирует ремонт железной дороги Архангельск–Вологда и строительство Мурманской железной дороги — от Петрозаводска до незамерзающего порта Романов-на-Мурмане, нынешнего Мурманска. Эти проекты нужны для того, чтобы обеспечить военные поставки из Англии в Россию к большому наступлению российской армии, которое планировалось на весну 1917 года. Ливеровский справляется с задачей: 1142 км Мурманской дороги строятся за год и вводятся в эксплуатацию к концу 1916-го. Но было и другое, о чем тоже не стоит забывать: в военное время социальная ответственность уже была неактуальной, не было времени для строительства замечательных больниц. На строительстве работали и крестьяне (которые разбегались из-за тяжелых условий труда, но не надо забывать, что в отличие от сталинских эков они были свободными людьми), и военнопленные, содержавшиеся в относительно приличных условиях, и даже завербованные 10 тысяч китайских рабочих, которым бежать было некуда. Позднее многие из них пополнят собой ряды красноармейцев.

Итак, Ливеровский — успешный инженер, который сделал очень неплохую карьеру. Но одновременно он был человеком, придерживавшимся левых политических взглядов. В начале 1900-х годов молодой инженер помог бежавшему из ссылки революционеру Дзержинскому, спрятав его в своем гостиничном номере. В революционном 1905 году переводил деньги забастовочным комитетам. Также он оформлял документы находившимся на нелегальном положении и ссыльным большевикам. Неудивительно, что Ливеровский поддержал Февральскую революцию, после которой он

стал товарищем министра путей сообщения и одновременно председателем Временного центрального совета Союза инженеров и техников, работающих по путям сообщения.

В августе 1917-го начинается выступление генерала Корнилова — отчаянная попытка остановить развал армии и государства. Министр-либерал Юренев отказывается передавать «антикорниловское» обращение Временного правительства к железнодорожникам и уходит в отставку. Тогда Ливеровский не только способствует передаче этого обращения, но и отдает приказ разобрать стрелочные переводы на станциях Дно и Новосokolьники на пути в Петроград. Корниловское выступление терпит неудачу — и сторонники генерала с основанием обвиняют в этом Ливеровского. Через пару месяцев к власти приходят большевики, и многие считают, что это стало результатом провала выступления генерала.

Но можно понять и действия Ливеровского. Наступающие на Петроград войска неизбежно столкнулись бы с рабочими отрядами и частями столичного гарнизона. Да и было неясно, насколько солдаты сохранили бы верность своему главнокомандующему. Могла бы начаться гражданская война с непредсказуемым результатом — да еще в условиях немецкого наступления. Ливеровский рассказывал, что в 1918-м на юге России он встретился с Корниловым, который сказал, что если бы взял Петроград, то в первую очередь повесил бы непокорного ему замминистра. Но когда эмоции уступили место размышлениям, Корнилов пришел к выводу, что, приказав разобрать пути, Ливеровский избавил его от позора перед русским народом.

Но перед этой встречей случилось многое. За свои революционные заслуги Ливеровский становится министром путей сообщения в последнем составе Временного правительства. Он стремится восстановить нормальную работу железных дорог, предотвращает забастовку, предлагает набор разумных мер — от сдельной оплаты труда до введения системы премий. Но правительство бессильно, личные качества и инициативы министра ничего не могут изменить. Он хочет, чтобы профсоюз железнодорожников ограничивал свои функции бытовыми и культурными вопросами, но профсоюзники хотят быть хозяевами отрасли (большевики потом просто разгонят профсоюз и создадут свой, «карманный»).

В день Октябрьского переворота Ливеровский вместе с другими министрами находится в Зимнем дворце и его арестовывают. Он оставил дневник, в котором подробно и стоически рассказывает о происходивших событиях: как правительство осталось без военной поддержки, а министры пытались найти выход из безнадежной ситуации. После нескольких дней, проведенных в Петропавловской крепости, его освобождают и даже предлагают принять на себя техническое руководство вновь созданным народным комиссариатом путей сообщения, то есть фактически вернуться к исполнению прежних обязанностей. Ливеровский отказывается — официально из-за болезни, реально — не желая сотрудничать с недемократической властью. Но и против большевиков он выступать не хочет, тем более что дал им слово не вести антисоветской деятельности.

Бывший министр отходит от политики, уезжает на юг, во время Гражданской войны живет в Сочи в небольшом домике. Он выживает, работает на кухне, садовником, сторожем, сигнальщиком на маяке и понимает, что любая сторона может его расстрелять. Некоторое время живет по подложному паспорту, видимо в связи с тем, что белые могли поставить его к стенке за антикорниловскую позицию. Не все они были столь благородны, как Корнилов, отпустивший своего противника.

После войны Ливеровский работает военным инженером на Кавказе, в том числе на продолжении строительства Черноморской железной дороги через Абхазию. Руководит работами по восстановлению водоснабжения, разрушенных мостов. В 1923 году о нем вспоминает Дзержинский, которому он когда-то помог, — в это время «железный Феликс» был не только главой ГПУ, но и весьма прагматичным наркомом путей сообщения, охотно бравшим на службу старых инженеров. Ливеровский занимает ряд видных должностей в Москве, но в следующем году возвращается в родной город, ставший уже Ленинградом.

Он стал профессором в своем родном Институте инженеров путей сообщения, создал и возглавил кафедру строительного искусства, читал новый курс лекций «Постройка железных дорог», написал учебник на эту тему. Используя свой огромный опыт, занимался вопросами сооружения транспортных объектов в особо сложных

природных условиях, таких как вечная мерзлота, сейсмичность, болотистость, некоторое время был заместителем директора Института мерзлотоведения. Ливеровский — один из ведущих консультантов в области транспортного строительства, неоднократно выезжал на консультации по вопросам мерзлоты и гидротехнических сооружений на железных дорогах Сибири, Дальнего Востока, Севера. Как многие инженеры его поколения, Ливеровский — универсал, готовый квалифицированно решать самые разные задачи. Он подготовил экспертные заключения о проектах деревянных мостов узкоколейной железнодорожной линии Дудинка–Норильск, о способе организации и постройке линии Карталы–Акмолинск, о глубине заложения строившегося московского метрополитена, о пригородном трамвае Ленинграда и по другим вопросам.

В 1926 году Ливеровского выпускают за границу: советская власть уверена в его лояльности. С научными целями он посещает Германию, Чехословакию и Францию и отказывается от предложений остаться в эмиграции. Через семь лет за ним приходят чекисты: в 1933-м его дважды арестовывают по стандартному для старых инженеров обвинению во вредительстве. Первый раз в марте, когда ему предлагают участвовать в инсценировке процесса над заговорщиками-эсерами (к этой партии он был близок в 1917 году), обещая скорое освобождение. Когда Ливеровский возразил, что «от этого дела может пострадать целый ряд других невинных лиц, то получил упрек в неизжитой интеллигентности, сентиментальности и пояснение, что никто из главных действующих лиц не пострадает, а некоторых ничтожных лиц жалеть не стоит».

Бывший министр не поверил, некоторое время сопротивлялся, но под сильнейшим давлением согласился участвовать в процессе. Но что-то в планах чекистов ломается и в мае тяжелобольного Ливеровского выпускают на свободу. Ему делают операцию, но чекисты от него не отстают: слегка поправившегося ученого в сентябре арестовывают снова и перевозят в Москву. Понимая, что надо прекратить провокацию, в которую его втянули чекисты, он опровергает сфабрикованные показания. В марте 1934-го его снова освобождают, выдав справку, что он был «арестован по оговору», и уже в мае он руководит бригадой наркомата путей сообщения, выехав-

шей на Байкал для борьбы с оползнями. Профессионал остается профессионалом. Он пишет в стол как всегда основательные — хотя и незавершенные — воспоминания о случившемся с ним.

В начале Великой Отечественной войны Ливеровский остался в блокадном Ленинграде, работал в Оборонной комиссии по технической помощи фронту Института инженеров железнодорожного транспорта. Участвовал в проектировании ледовой «Дороги жизни», в ходе которого занимался выбором места для водной переправы через Невскую губу Ладожского озера, готовил рекомендации по устройству пристаней в Шлиссельбургской губе и защите их от разрушительного действия ледяного покрова. Он давал консультации по осушению выемок, возникших от разрыва снарядов, по восстановлению земляного полотна, устройству противотанковых заграждений, оптической маскировке различных объектов. В июле 1942-го 75-летнего больного и измотанного блокадой инженера эвакуировали в Москву на лечение. Вернулся домой в 1944-м и возобновил работу в своей alma mater.

Его последние годы прошли внешне спокойно. Ливеровский — генерал-директор пути и строительства III ранга (звание соответствовало армейскому генерал-майору), доктор технических наук, кавалер орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды и особо почитаемой им медали «За оборону Ленинграда». Работал до последнего дня и умер за полчаса до выезда на аспирантский семинар. И все же его имя было вычеркнуто из советских энциклопедий: нельзя же было признать, что министр «буржуазного» Временного правительства и столь выдающийся инженер — один и тот человек.

Михаил (Мудьюгин)

Когда произносится слово «епископ», то многие верующие вспоминают, что в XX столетии епископское служение в нашей стране нередко становилось мученическим — вслед за посвящением в архиереи могли последовать арест, лагерное заключение, а то и расстрел. Священнослужители, принадлежавшие к разным церквям, нередко оказывались в одних камерах и бараках — люди лучше понимали друг друга перед лицом общей угрозы. Неудивительно, что среди лагерников было меньше религиозного ригоризма, чем в более спокойные периоды истории.

Но мученические времена заканчивались — гонения если не прекращались, то ослабевали. В СССР в сентябре 1943 года Сталин разрешил восстановить патриаршество, открыть церковные учебные заведения, возобновить издание «Журнала Московской патриархии», вернуть оставшихся в живых священнослужителей из мест заключения. Историки спорят, каковы были его мотивы, почему он фактически легализовал церковь именно тогда, а не двумя годами раньше, когда власти было нужно стимулировать патриотический подъем. Одни обращают внимание на то, что немцы на оккупированной территории позволили открывать храмы, и было видно, как многие советские люди потянулись в церковь. Поэтому Сталину после победы в Курской битве и освобождения части территории страны надо было решать, что делать с населением, проявившим такой энтузиазм. В этой ситуации вполне рациональным стало воссоздание управляемой церковной структуры, чтобы «православное возрождение» оставалось в приемлемых для режима жестких рамках.

Другие видят в планах Сталина прежде всего внешнеполитическую составляющую — желание перед предстоящей Тегеранской конференцией показать союзникам, что в СССР соблюдаются права верующих. Православная церковь была нужна Сталину также для усиления позиций СССР на Ближнем Востоке за счет связей с тамошними патриархами, двое из которых — Александрийский и Антиохийский — были почетными гостями Поместного собора Русской православной церкви 1945 года. Однако когда выяснилась ограниченность внешнеполитического ресурса Русской церкви (главным в православном мире все равно остался Константинопольский патриархат, в начале холодной войны сблизившийся с США), то в советских церковно-государственных отношениях произошло ощутимое похолодание, впрочем не доходившее до новых массовых репрессий и попыток уничтожить церковную организацию.

И в этих условиях церковь — и епископат, и клирики, и миряне — быстро адаптировалась к жизни в условиях официально атеистического государства, что приводило к ряду негативных последствий. С одной стороны, усилился ригоризм в отношении Запада, католиков, протестантов. Церковное антизападничество было не только укоренено в истории, но и позволяло найти точки соприкосновения церкви с государством, быть ему полезным в борьбе с Западом, который в этой схеме выглядел извечным и более опасным противником, чем советская власть, все более становившаяся «своей». Таким образом, антизападный ригоризм под флагом защиты чистоты православия во многих случаях (хотя и не всегда) сопровождался конформизмом в отношениях с государством.

С другой стороны, возродился тоже имеющий многочисленные исторические прецеденты конформизм другого типа — желание угодить государству и следовать всем многочисленным изгибам его политической линии. Если государству нужен был диалог с Западом, то такой подход означал прагматичную (иногда до цинизма) поддержку диалога с западными христианами и в целом экуменического движения — без веры в достижение реальных результатов. Отчитались о том, что провели беседу, разъяснили советскую позицию по поводу мира во всем мире, — и то хорошо, советское начальство довольно.

Но была ли вся эта картина свидетельством полной деградации церковной жизни? Такая констатация была бы односторонней, как и восприятие Русской церкви как церкви-мученицы в течение всего советского периода. Несмотря ни на что, духовная преемственность на индивидуальном и общинном уровнях служила сохранению и осмыслению опыта подвижников веры, погубленных при Ленине и Сталине. В послевоенный период были (хотя и не очень многочисленные) церковные иерархи, сочетавшие верность пастырскому призванию с высокой культурой и прекрасным светским образованием и стремившиеся максимально возможно отстаивать церковные интересы.

Можно вспомнить нескольких архиереев, еще в детстве и юности участвовавших в деятельности Александро-Невского братства, созданного в 1919 году в Петрограде в качестве молодежного кружка при Александро-Невской лавре для молодых священников и мирян. Здесь тайно проходила подготовка образованных священнослужителей, после массового закрытия монастырей создавались монашеские общины в миру. Нелегальная деятельность братства продолжалась до 1932 года, когда оно было разгромлено ГПУ. Почти все его руководители и многие участники погибли, но самым молодым повезло больше: их не сочли опасными.

Среди них были будущий рижский митрополит Леонид (Поляков), в прошлом военный врач, участник советско-финской и Великой Отечественной войн, опекавший в своей епархии знаменитого старца Тавриона (Батозского), к которому за духовным советом ездили многие столичные интеллигенты. Будущий ярославский митрополит Иоанн (Вендланд), принявший тайное монашество еще в 1930-е годы ученый-геолог, исследователь Памира — в его епархии служил другой известный духовный наставник, старец Павел (Груздев). Сменивший много епархий и на каждой из них защищавший интересы церкви в отношениях с советскими чиновниками архиепископ Никон (Фомичев) — в светской жизни инженер-энергетик, занимавшийся восстановительными работами на Октябрьской железной дороге во время Ленинградской блокады.

К числу образованных архиереев этого поколения относится и владыка Михаил — в миру Михаил Николаевич Мудьюгин. Он

родился в 1912 году в Петербурге, где прожил немалую часть жизни, куда возвращался и где умер. Его отец, Николай Алексеевич, был статским советником, служил в Главном управлении по делам местного хозяйства МВД. После революции был сотрудником советских учреждений и пытался адаптироваться к новой власти без всякого двоемыслия, в том числе и в вопросах веры. Тем более что дореволюционное служилое сословие в немалой своей части исповедовало православие формально — как государственную религию. В 1936-м его арестовали, неудачно пытались вербовать, и пожилой уже человек, выйдя на свободу, вернулся к вере. Через два года он умер: сказались последствия допросов.

Мать, Вера Николаевна, всегда была человеком верующим, участвовала в деятельности Александро-Невского братства. Михаил учился в воскресной школе при лавре, но дальше его духовное становление проходило иным путем, чем у участников братства. Он посещал Андреевское староафонское подворье, где служили монахи, не пожелавшие сотрудничать с поддержанным властями обновленческим движением. А затем, уже юношей, в конце 1920-х годов, стал ходить на занятия кружка в петербургской лютеранской общине. Там он познакомился со своей будущей женой, Дагмарой Александровной, урожденной Шрейбер, русской немкой, из лютеранской семьи (позднее она примет православие с именем Мария).

Лютеранином он становится не хотел — просто было интересно в общине, где службы проходили на русском языке и велись беседы о Священном писании. Опыт юного Михаила показывает, что альтернатива — или православный консерватизм, или обновленческий модернизм — не была предрешенной. Для интеллигента из Ленинграда и Москвы был возможен и третий путь — верность канонической церкви в сочетании с экуменизмом, интересом к церковным реформам, включая и введение русского языка в богослужение. Этому пути он сохранил верность на всю жизнь.

И еще одна проблема — может ли христианин быть общественно активным человеком в тоталитарном, антирелигиозном государстве. Конечно, партийность для него была неприемлема, как и карьера в любой идеологической сфере, что понималось очень широко — от армии до изучения современной отечественной истории. Но означа-

ло ли это, что надо попробовать отсидеться «в келье под елью» или делать карьеру сторожа? Для разносторонне одаренного молодого человека — знатока иностранных языков, талантливого музыканта — это было неприемлемо. После окончания школы он пытался поступить на химический факультет Ленинградского университета, но его срезали на экзамене по математике, чтобы не мешал идеологически преданным власти рабфаковцам. Чтобы стать студентом вечернего Института иностранных языков, ему пришлось пойти рабочим на завод. Через несколько лет он стал дипломированным преподавателем немецкого языка; кроме того, Михаил Николаевич в совершенстве владел латынью и французским, знал древнегреческий (обязательный для выпускников духовных академий), английский, польский и финский, переводил с испанского и итальянского.

Не избежал он и ареста за участие в кружке. Около года находился в предварительном заключении. По молодости — 18 лет — его решили не наказывать строго, дали трехлетний условный срок. Незадолго до смерти владыка вспоминал, что в тюрьме в одной камере с ним были люди разных вероисповеданий, но все чувствовали духовную солидарность. Конфессиональные различия общению не препятствовали. Сидевший в одной камере с ним католический прелат Станислав Пржирембель учил его благоговейному отношению к Священному Писанию: читать его надо не лежа на тюремной койке, а стоя на коленях. Это было еще до массового террора второй половины 1930-х, и заключенные могли читать Библию, как в дореволюционных тюрьмах. Отца Станислава отправили на Соловки, потом обменяли на коммунистов и выслали в Польшу, где он вскоре умер.

В 1933-м выслали и Михаила — только не за границу, а на Урал, где он преподавал в школе химию и немецкий язык. Однако в школах все более активно внедрялась атеистическая идеология, и он ушел с работы. Самовольно вернулся в Ленинград, в 1935-м вновь был выслан, жил в Новгороде, несколько месяцев был безработным. В это время он выбирает инженерную профессию, не связанную с идеологией. Добился права вернуться в Ленинград, поселился в Пушкине, работал в конструкторском бюро, вместе с которым был эвакуирован в начале войны на Урал. Одновременно учился в Индустриальном институте — инженеров не хватало, поэтому

инженерные должности могли занимать практики, еще не получившие диплом.

Во время войны работал в Свердловске, затем в Новосибирске, был старшим инженером по приемке, установке и монтажу оборудования на заводе. После войны защитил диплом (уже в Институте металлопромышленности), вернулся в Ленинград и поступил в аспирантуру Котлотурбинного института имени Ползунова. Был там научным сотрудником, защитил диссертацию, после чего в 1953-м стал доцентом теплотехники в Ленинградском горном институте. Удачная советская карьера: статус преподавателя с ученой степенью в СССР был весьма высок. Дальнейшая жизнь казалась понятной и спокойной: докторская диссертация, профессура — при трудолюбии и систематичности доцента Мудьюгина этого можно было добиться в течение нескольких лет. Можно было даже потихоньку ходить в церковь, беспартийному «технарю» это не возбранялось. Главное, не демонстрировать на работе свои религиозные убеждения.

Но доцента тянуло в церковь, он хотел служить Богу. Сейчас нередко даже люди, далекие от апологии Сталина, сравнивают позднесталинскую и хрущевскую политику по отношению к церкви не в пользу последней. Действительно, при Хрущеве вернулись некоторые черты агрессивного, вульгарного государственного атеизма, но при нем же преподаватель престижного института из «второй столицы» мог принять сан. Правда, первый же священник, протоиерей Осипов, к которому обратился за советом Михаил Николаевич, ему отсоветовал ломать карьеру — этот человек долгое время сотрудничал с органами госбезопасности, утратил веру, а позднее демонстративно отказался от сана и стал профессиональным атеистом. В послевоенной церкви немалое число людей давали подписку о сотрудничестве с органами, но вели себя по-разному. Одни старались использовать связи с государством, чтобы попытаться защитить церковные интересы. Другие отделялись формальными отчетами. Третьи служили режиму ревностно, и Мудьюгин столкнулся именно с таким.

Но уже в 1955 году он обратился к митрополиту Ленинградскому и Новгородскому Григорию (Чукову) с просьбой рукоположить его в

сан. Владыка Григорий — один из высших руководителей церкви — благословил его, наказав самостоятельно изучать богословие. Однако пока Михаил готовился, митрополит умер, а его менее влиятельный преемник не решился посвятить в священники кандидата наук. Только в 1958 году Михаил Николаевич становится иереем, но не в Ленинграде, а в тихой далекой Вологде, где правящим архиереем был владыка Гавриил (Огородников), бывший офицер белой армии, эмигрировавший в Китай, там принявший сан и вернувшийся на родину после Второй мировой войны. Он решился не только посвятить доцента в сан, но и оставить его в Вологде служить в кафедральном соборе. О карьере священник не думает, ведь в православной церкви, для того чтобы достичь высших постов, надо принять монашество. А он семейный человек, у него дети.

А дальше происходит драма. Вологодский климат не подходит жене Михаила Николаевича, у которой развивается туберкулез. В 1960 году его переводят служить в Устюжну за 200 километров от Вологды, на границу с Ленинградской областью. Климат там ближе к питерскому, но Дагмара-Мария уже тяжело больна — в 1963-м она умирает. А в следующем году священник Михаил Мудьюгин был вынужден покинуть Вологодскую епархию: владыку Гавриила к тому времени перевели в Ташкент, а новый епископ шел на большие уступки властям, которым не нравилось пребывание в области образованного священника.

Михаил Николаевич возвращается в Ленинград, и на него обращает внимание молодой и амбициозный митрополит Никодим (Ротов), тесно связанный с властями, но стремившийся сделать церковь более современной и увлеченный западными образцами — правда, не протестантскими, которыми интересовался Мудьюгин, а католическими. Никодиму нравились влияние и образованность католической иерархии особенно на контрасте с бедственным положением православия в СССР. Мощные связи Никодима творят чудеса, и опальный священник в 1966 году становится епископом и ректором Ленинградской духовной академии (тем более что в 1964-м он ее заочно окончил, так что образовательный ценз у него был). Перед ректорством Михаил Николаевич участвует в одном из необычных проектов Никодима, возглавив созданный в академии факультет

африканской христианской молодежи, призванный спасти ее от закрытия (она оказалась нужна для расширения международного влияния СССР).

Чтобы стать епископом, священнику надо было принять монашество. У Михаила Николаевича не лежала к этому душа, но Никодим уговорил его, заявив, что отказ означает предательство в отношении церкви. Однако владыке Михаилу не суждено было долго руководить академией: есть версия, что питерские атеисты были недовольны, что высшей духовной школой руководил человек, которого интеллигенция считала своим. Есть и другое мнение: митрополит Никодим разочаровался в более образованном, чем он, и активном подчиненном (при этом архиепископ Михаил до конца дней сохранил к нему глубокое уважение). Так или иначе, но в 1968 году владыку перевели в Астрахань, а в 1979-м он вернулся в Вологду, на сей раз правящим архиереем. Там он и прослужил следующие 14 лет, вплоть до ухода на покой. В его епархиях не был закрыт ни один храм, хотя были случаи, когда при попустительстве епископа епархия лишалась до половины храмов. В 1977 году он был возведен в сан архиепископа.

Связей с академией владыка не терял. В 1972 году защитил в ней магистерскую диссертацию, читал лекции, а через несколько лет занял профессорскую кафедру, которую совмещал с управлением епархиями. В Русской церкви было мало богословов, знавших иностранные языки и способных квалифицированно вести теологический диалог, а кроме того, искренне верящих в его необходимость, — и владыку Михаила многократно привлекали для ведения богословских собеседований, преимущественно с протестантскими церквями в Германии и Финляндии. Он читал лекции в немецком Вюрцбургском университете и в университете финского города Турку, который присвоил ему ученую степень доктора богословия *honoris causa*.

Архиепископ был строгим начальником, понимающим важность церковной дисциплины. И удивительно бескорыстным человеком: за свою жизнь не скопил состояния, жил очень скромно. После ухода на покой, когда он уже вернулся в Петербург, главной ценностью в его комнате был большой рояль, на котором владыка любил играть.

Удивительно владел русской речью: казалось, что перед собеседником находится человек XIX века. Он никак не был церковным революционером, а консерватизм делил на здоровый и нездоровый. Первый связан с незабываемостью догматов и уважением к церковной иерархии, второй — со следованием привычным методам церковной деятельности. Недовольство владыки вызывало то, что консервативные верующие часто предпочитают фольклорные суеверия евангельскому учению. И что место почитания Иисуса Христа занимает распространение многочисленных легенд, имеющих мало общего с христианством. Не терпел национализма, идентификации религии с национальностью, утверждений, что православные — это русские. В современной Европе владыка был бы либеральным консерватором, в современных же российских православных реалиях он выглядел чуть не радикалом, причем опасным для укоренившейся традиции.

Долгие годы владыка Михаил трудился в условиях выживания церкви в недружественном окружении — и лишь на склоне лет, когда в годы перестройки отношение государства к православию смягчилось, он получил возможность для активной деятельности. Он организовал в Вологде духовное училище, открыл переданный церкви Спасо-Прилуцкий монастырь, читал лекции по основам православной веры в высших учебных заведениях Вологды. Тогда это не превращалось в «обязаловку» — в аналог новой официальной идеологии — и привлекало большое внимание местной интеллигенции.

В 1993 году владыка был отправлен на покой, хотя, несмотря на преклонный возраст, был готов продолжать руководить епархией в условиях, когда сбывались его мечты о свободной религиозной проповеди. В Петербурге он продолжил читать лекции в академии, а один из соратников покойного к тому времени Никодима, новгородский владыка Лев, пригласил его вести занятия на катехизаторских курсах в своей епархии. Но помимо этого он преподавал в католической семинарии и в лютеранском теологическом институте, в основанной немецким обществом Петербурга гимназии «Петершуле», вел передачи на петербургском протестантском радио «Теос».

Также владыка публично защищал реформаторское православное братство во главе со священником Георгием Кочетковым, которое подвергалось резкой критике со стороны влиятельных церков-

ных консерваторов. Он с уважением относился к деятельности выдающегося проповедника, протоиерея Александра Меня, выступавшего за перемены в церкви. Своим авторитетом владыка поддерживал церковных реформаторов — одно дело, когда «ревнители веры» обвиняли в ереси или богословской неграмотности человека, который без году неделя в церкви, и совсем другое — спорить с архиереем и доктором богословия. Впрочем, они все равно его критиковали — в том числе за честную и умную книгу о русской православной церковности.

В 1999 году, примерно за полгода до смерти, больного владыку уволили без всяких почестей с профессорской должности в академии. Архиепископ Михаил умер в год 2000-летия христианства, когда одни люди старались наладить диалог между конфессиями, а другие пытались воспрепятствовать этому. Владыка был среди первых: он считал, что перегородки, разделяющие христиан, не достигают неба, а католики и протестанты верят в того же Иисуса Христа, что и православные. И поэтому разногласия между ними можно преодолеть или хотя бы смягчить, стоит только по-настоящему этого захотеть.

Виктор Ногин

Нередко цитируют известное ленинское высказывание о том, что каждая кухарка должна управлять государством. На самом деле Ленин перед приходом к власти говорил иначе — о том, что кухарка не способна «сейчас же вступить в управление государством», однако надо разорвать «с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники». А дальше он описал процедуру обучения делу государственного управления — «сознательные рабочие и солдаты» должны немедленно начать учить ему «всех трудящихся, всю бедноту».

Такой подход мало чем отличался от демагогической фразы про кухарку. Получалось, что сознательные (а что это: грамотные, вступившие в партию большевиков, или и то и другое одновременно?) трудящиеся должны заняться обучением недостаточно сознательных. Возникает вопрос, где найти достаточное количество таких «учителей», которые имели бы соответствующие профессиональные знания? Понятно, что речь в ленинском революционном тексте шла о другом — рабочие и солдаты, уже распропагандированные большевиками, должны вести за собой тех своих коллег, которые еще не стали сторонниками единственно верного учения.

Это не означает, что в России не было рабочих, готовых к государственной деятельности. Можно вспомнить о последнем министре труда Временного правительства, рабочем-металлисте, меньшевике Кузьме Гвоздеве. И о первом наркومه труда, питерском токаре Александре Шляпникове, знавшем немецкий и французский языки, ставшем историком революции, пытавшемся защи-

щать интересы рабочих и при советской власти подвергнутом гонениям и погибшем при Сталине. Ближайший сподвижник Сталина Молотов называл Шляпникова «неподготовленным рабочим человеком» — получается, что даже такой рабочий был недостаточно готов для управления государством, так как отличался нежеланием слепо следовать партийной линией в ущерб своим товарищам.

Но такие умные, активные и образованные рабочие фактически выталкивались в революцию царским режимом. Показателен контраст с британским опытом, где рабочие, опытные профсоюзные деятели, были интегрированы в политическую систему в составе Лейбористской партии. Рабочий-литейщик Артур Хендерсон стал министром иностранных дел, а затем лауреатом Нобелевской премии мира. Рабочий-ткач Джон Клайнс возглавил МВД — и в этом качестве не пустил в Британию высланного из СССР Льва Троцкого, разумно полагая, что такому радикалу не место в его стране. Еще одним министром иностранных дел был Эрнест Бевин, начинавший карьеру водителем грузовика, — после Второй мировой войны он был одним из наиболее последовательных противников Сталина из числа европейских политиков.

В России же реформиста Гвоздева арестовывали, выслали в Вологодскую губернию. Левого профсоюзного активиста Шляпникова тоже арестовывали, фактически вытолкнули в эмиграцию под угрозой длительной отсидки в крепости, что способствовало его радикализации. Настоящие независимые профсоюзы были легализованы только после Русско-японской войны. До этого были «зубатовские» попытки создать легальные рабочие союзы под бдительным присмотром полиции, которые не привели ни к чему хорошему: вышедшее из-под контроля протестное движение привело к трагедии 9 января 1905 года. Но и после легализации профсоюзы подвергались огромному количеству ограничений, отмененных лишь после Февральской революции.

В числе рабочих деятелей, ушедших в революцию, был и Виктор Павлович Ногин. Его отец был приказчиком московской текстильной фабрики Викулы Морозова, служил настолько хорошо и честно, что хозяин дал ему небольшую пенсию по болезни. В 1885 году, в возрасте семи лет, Виктор уехал вместе с семьей в Калязин, где

окончил городское училище. На этом его формальное образование закончилось — отец устроил его работать не к Викуле (у него уже трудился старший брат Виктора, Павел, так что место было занято), а к его родственнику Арсению Ивановичу Морозову, тоже текстильному фабриканту из подмосковного Богородска, в советское время переименованного в Ногинск. В 1893 году Виктор поступил работать на его Богородско-Глуховскую текстильную мануфактуру конторским мальчиком: в свои 15 лет он занимался секретарской работой, оформлял продукты для столовой, товары для магазина за 15 рублей в месяц. 13-часовой рабочий день выматывал, но хозяин обратил внимание на грамотного подростка и дал ему свидетельство на право стать приказчиком, как отец.

Однако Виктор не хотел служить в конторе, где требовался конформизм, способность угодить своевольному и богомольному хозяину, одному из видных деятелей старообрядчества. Его дядя Сергей работал в том же Богородске на морозовской красильной фабрике, и Виктор перешел туда, вначале в контору, а затем подмастерьем-красильщиком. Квалифицированный рабочий, несмотря на тяжелые условия труда (те же 13 часов плюс духота и сырость), обладал куда большей самостоятельностью, мог быстрее продвигаться, чем на конторской работе. Правда, сначала Виктор проиграл в зарплате, но надеялся компенсировать это позднее, что вскоре и произошло.

Правда, до этого случилась беда. Отец Виктора в 1896 году переехал в Москву. Пожилой человек был тяжело болен, и мать попросила сына пожить с ними и поискать чистую конторскую работу. Виктор послушался, уволился с морозовской фабрики (с хорошими рекомендациями, которые емугодились чуть позже), но сразу подходящей работы в Москве не нашел. Отец умер в том же году, и 18-летний Виктор уехал в быстро развивавшийся промышленный Петербург работать на красильной фабрике выходца из Германии Карла Палля. Там он быстро выдвинулся: уже к осени 1897-го, не достигнув 20 лет, стал ближайшим помощником мастера и зарабатывал 47 рублей в месяц. Для сравнения: средний заработок рабочего в Петербургской губернии в 1900 году составлял чуть больше 21 рубля в месяц. А пехотный подпоручик (офицер и

дворянин) получал в месяц 39 рублей 75 копеек и только после повышения жалования в 1899 году — 55 рублей.

Под руководством мастера Виктор составляет рецептурную книжку — главное сокровище квалифицированного красильщика, — в которую записывались рецепты красителей, в том числе французские и немецкие новинки. Карьера складывается, тем более что мастера повысили в должности и Ногин рассчитывал занять его место. Мастер в 20 лет — это человек сильный и самостоятельный, признанный профессионал. Но директор фабрики не только тормозит продвижение Ногина, но еще и требует, чтобы тот показал ему свою книжку, а значит, раскрыл секреты ремесла. Директору нужны на должностях мастеров лояльные иностранцы, немцы и австрийцы, а Ногин не только хорошо работал, но и задумывался о справедливости, о защите интересов своих товарищей.

О его настроениях можно судить по письму матери, написанному в августе 1898 года: «И с кем у меня интересы личные ближе: с хозяином или с рабочими? Я тоже человек, работающий на фабрике по одинаковым с рабочими правилам, и следовательно, интересы мои тоже одинаковые с рабочими. Кроме того, у одного хозяина я всю жизнь не могу прожить. И что же, при каждом новом поступлении мне будет нужно снова унижаться перед фабрикантом? Только тогда я им буду «оценен», но зато рабочие будут меня ненавидеть. А если я буду справедлив с рабочими, а поэтому — на их стороне, то мне никогда не придется унижаться ни перед кем. И, привыкнув отстаивать свои права, я заставлю считаться со своим мнением».

Виктор начинает участвовать в деятельности рабочего кружка — позднее занимавшийся с рабочими студент левых взглядов характеризовал его как «выделявшегося по своему уровню среди товарищей». Он читает марксистскую литературу, в том числе и непростой даже для современных студентов первый том «Капитала». Участвует вместе с другими работниками фабрики в однодневной забастовке — отказе выходить на фабрику в день Воздвижения. Раньше он был выходным, но по просьбе фабрикантов правительство разрешило работать в этот день (и во многие другие религиозные праздники) — в обмен на получасовое сокращение рабочего

дня во все рабочие дни. Впрочем, забастовка проходит мирно и Виктор не «светится» в качестве одного из организаторов.

Через несколько дней Ногин уходит с фабрики Паля из-за разногласий с директором, требовавшим, чтобы Виктор послал своего подчиненного красильщика работать в ночь после отработанного дня. Столкнулись два самолюбия — и Виктор уходит. Директор отказывается выдать ему двухнедельную зарплату и удостоверение, без которого нельзя устроиться на новое место, он требует все ту же книжку. Ногин отказывается отдавать секреты и получает поддержку фабричного инспектора, под давлением которого директор отдает удостоверение, что позволило Виктору устроиться на Невский завод по своей прежней специальности — конторщиком. Это дает ему больше времени для участия в рабочем движении, разумеется нелегальном, так как другого не было. Вскоре кружок, в деятельности которого он продолжает участвовать, становится социал-демократической группой «Рабочее знамя», поэтому позднее Ногину засчитали стаж в большевистской партии с 1898 года.

Но о фабрике Паля Виктор не забывает, и в декабре становится одним из организаторов новой стачки, которая прошла уже не мирно. Рабочие стали бить стекла, конные жандармы — бить забастовщиков. Волнения распространились на соседнюю фабрику Максвелла, где жандармов облили кипятком, а те стали бить еще ожесточеннее. Жертв не было, но власть решила действовать — многие рабочие активисты, включая Ногина, были арестованы. Год Виктора держат в одиночном заключении: идет расследование не только забастовки, но и по «делу «Рабочего знамени». В это время он учит немецкий язык (знает французский, позднее на высоком уровне овладеет английским — у него лингвистические способности), читает книги по истории и экономике, сам пишет брошюру о причинах и ходе конфликта на фабрике Паля.

Ногину везет: его самая активная роль в столкновении с жандармами остается правоохранителям неизвестной. Но и оставшегося хватает на трехлетнюю высылку из крупнейших городов и фабричных местностей. Власти считают, что поступают мудро, изолировав рабочих от влияния со стороны их умного и образованного коллеги. В результате из активного рабочего, интересовав-

шегося левыми идеями, получился профессиональный революционер. В посмертной биографии Ногина сказано, что со времени первой высылки «начинается непрерывная цепь высылков, побегов, арестов, сидений по тюрьмам, путешествий за границу и возвратов вновь на революционную работу в Россию». Он становится видным членом большевистской партии, организует забастовки, создает партийные ячейки, ведет политическую агитацию, пишет статьи. И арестовывается — всего, по его словам, сидел в пятидесяти тюрьмах. Товарищам по партии он теперь известен под псевдонимом «Макар». После одного из арестов полиция дает такую характеристику бывшему красильщику: «Без определенной профессии, живет исключительно на партийное содержание. Принадлежит к «верхам» РСДРП и является одним из наиболее доверенных и авторитетных представителей заграничного партийного центра».

В то же время в деятельности профессионального революционера есть интересная особенность: он не фанатик, не ригорист. Если есть возможность, он стремится объединить различные левые силы, что вызывает неприятие со стороны бескомпромиссного Ленина. После того как царский манифест 1905 года разрешил создание союзов, в том числе и рабочих, Ногин активно выступает за создание легальных профсоюзов и их активную самостоятельную деятельность — в отличие от Ленина, для которого такие структуры были лишь прикрытием для нелегальной работы. Впрочем, он расходится и с меньшевиками, выступавшими за аполитичность профсоюзов, — все же Ногин оставался большевиком и никогда не выходил из ленинской партии.

Во время бурных дискуссий в социал-демократическом движении в 1911 году Ногин принадлежит к группе, которую в большевистской официальной истории пренебрежительно называли «примиренцами» — само это понятие противопоставлялось одобряемой большевиками бескомпромиссности. Он выступает за сохранение блока с меньшевистским течением, которое возглавлял ветеран социал-демократии Плеханов, тогда как Ленин рассматривал коалицию с плехановцами как сугубо временную, предназначенную для раскола меньшевиков, переманивания рабочих в боль-

шевистские ряды. Для Ногина Плеханов был товарищем по социал-демократическому движению, для Ленина — уже нет.

После шести побегов Ногина, бывшего к тому времени уже членом Центрального комитета большевистской партии, в 1911 году ссылают в якутский Верхоянск, откуда бежать нельзя. Этот городок, прозванный Ногиным Окаянском, состоял из шести домов и десятков юрт. Ногин поселяется в одинокой юрте, но не опускается и находит для себя занятия и в этой глуши. Читает книги, совершенствуется во французском языке, учит местного почтальона английскому, дает уроки детям. И пишет книгу «На полюсе холода», в которой рассказывается о проблемах якутского населения. Многие образованные ссыльные становились в Сибири самостоятельными этнографами, и Ногин тоже внес свой скромный вклад в эту науку. А еще он общается с другим ссыльным, тоже любителем этнографии, но своим идеологическим оппонентом, эсером Владимиром Зензиновым. Но вместо бессмысленных споров они вместе занимались тем, что их объединяло, — изучением английской литературы.

В 1914 году Ногина по амнистии освобождают из ссылки. После почти 15-летней нелегальной жизни он переходит на легальное положение. После верхоянской ссылки он заболел, и профессионально заниматься революционной деятельностью для него стало сложно. При этом он считает, что раз больше не может с прежней энергией работать на партию, то надо отказаться от партийного денежного содержания, и зарабатывает на жизнь переводами Джерома К. Джерома, Голсуорси и «Человека-невидимки» Герберта Уэллса.

После Февральской революции Ногин возвращается к активной политической деятельности, становится председателем Московского совета, в котором после осенних выборов ключевые позиции заняли большевики. После свержения Временного правительства он — народный комиссар торговли и промышленности в первом составе Совнаркома, но к исполнению обязанностей фактически не приступает. Вначале он становится одним из руководителей восстания в Москве, причем по своему обыкновению стремится к мирному решению, участвует в переговорах с командующим Московским военным округом полковником Рябцевым, чтобы избежать кровопро-

пролития. Договориться не удалось, и в уличных боях в Москве гибнут сотни людей, красные подвергают артиллерийскому обстрелу Кремль. Юнкера расстреливают красных, те мстят им. По сути, это было первое сражение начинающейся Гражданской войны, и в нем побеждают красные.

Не дожидаясь полного окончания военных действий, Ногин выезжает в Петроград и призывает Ленина к компромиссу с другими социалистическими партиями и профсоюзом железнодорожников. Ленин отказывает и привлекает на свою сторону большинство руководства большевиков. Тогда недовольные (кроме Ногина это Каменев, Зиновьев и Рыков) уходят со своих постов. В их заявлении было сказано, что отказ от формирования коалиционного социалистического правительства происходит «вопреки громадной части пролетариата и солдат, жаждущих скорейшего прекращения кровопролития между отдельными частями демократии».

Однако Ногин остается большевиком и через три недели возвращается на службу советской власти. Но Ленин, простивший не только своих близких соратников Каменева и Зиновьева (ставшего чуть позже из умеренного большевика жестоким «проконсулом» Петрограда), но и Рыкова, больше не допускает Ногина в ЦК партии. Он занимает незначительные посты комиссара труда Московской области, заместителя наркома труда РСФСР. Затем возвращается в текстильную отрасль, но уже не как рабочий, а как руководитель: в разные годы возглавляет главное правление текстильных предприятий, Главный хлопковый комитет и Всероссийский текстильный синдикат.

Бывший красильщик оказывается хорошим организатором. Один из соратников Ногина, профсоюзный деятель Лебедев, никак не мог представить, «как это можно так основательно знать почти каждую хоть сколько-нибудь крупную фабрику, знать, какая у нее производственная или коммерческая — да, даже коммерческая — связь была с другой фабрикой, как это знал В.П. (Виктор Павлович. — *А.М.*) Да, он знал фабрики, и только благодаря этому знакомству, можно сказать, тогда почти не было ошибок». Ногин активно привлекает к работе старых специалистов. Сын его бывшего хозяина Арсения Морозова Сергей, бывший управляющим на отцовской фабрике,

заведует финансовой частью Главтекстиля (в 1930-м он будет арестован, приговорен к расстрелу, помилован и умрет в заключении). Инженер Федотов, бывший директор фабрики, принадлежавшей другому Морозову, Савве Тимофеевичу, становится главой торгово-экономического отдела. Он вспоминает, что Ногин «отнесся ко мне чрезвычайно человечно. Он добыл мне место в санатории, где я поправил свое здоровье, и потом он пригласил меня к себе». В 1930-м Федотова сделают подсудимым на процессе Промпартии, тоже помилуют; умирает он в 1940-м, вскоре после освобождения. Но все это было уже через много лет после смерти Ногина.

В 1920 году Ногин едет в Англию вести переговоры с бизнесменами о возобновлении экономического сотрудничества. В том же году его направляют в Туркестан поднимать хлопковую промышленность, и там он проявляет незаурядные способности гибко вести дела в чрезвычайных обстоятельствах. Выдает местным крестьянам ссуды и премии за посев хлопка, добивается от местных религиозных деятелей выдачи «охранных грамот» перевозчикам хлопка, для того чтобы на них не нападали антибольшевистские отряды.

В начале НЭПа Ногин становится одним из активных сторонников отказа от чисто административных методов управления эпохи «военного коммунизма» в пользу создания трестов, то есть восстановления элементов рыночных отношений. В то же время, когда рынок начал активно развиваться, он выступил за создание крупных государственных синдикатов, которые ограничивали бы конкуренцию и сохранили централизованное управление основной частью экономики. Созданный им текстильный синдикат объединил 40 трестов, производивших более 90% продукции отрасли. Ногин был государственным менеджером, прагматично заинтересованным в развитии своей отрасли. Его организационные методы отличались как от классического рынка, так и командной экономики, возобладавшей в сталинское время (тресты, входившие в синдикат, обладали известной самостоятельностью). Скорее речь могла идти об опыте государственного капитализма, перенесенном на советскую почву.

В любом случае примечательно, что деятельность Ногина высоко оценили американские бизнесмены, ведущие с ним переговоры во время его визита в США в конце 1923 года. Один из них сказал,

что «если бы в Америке сейчас появилось десять Ногиных, мы признали бы Россию немедленно». Вернувшись из Америки, он успел подготовить доклад о необходимости применения в СССР американского опыта создания специализированных фабрик, что привело бы к удешевлению производства. Уже будучи тяжелобольным, продолжал заниматься неотложными делами, пока не оказался в больнице, откуда уже не вышел — он скончался 22 мая 1924 года.

В память о Ногине город Богородск был переименован в Ногинск. Площадь Ногина в Москве и одноименная станция метро были переименованы еще в начале 1990-х, но на станции, теперь называемой «Китай-город», до сих пор стоит его бюст. Сторонники радикальной декоммунизации, конечно же, хотели бы избавиться от этого советского наследия. Конечно, Богородск — это историческое имя, известное со времен Средневековья (еще в XVI веке существовало село Богородское). Но стоит ли пытаться полностью вычеркнуть имя Ногина из топонимики? Думается, это было бы ошибкой, обедняющей нашу историческую память и лишаящей ее важного опыта, свободного к тому же от сталинской жестокости.

Олег Константинович

В советское время про членов дома Романовых можно было написать немного хорошего. Петр Великий, конечно, был исключением: «царя-плотника» низвергли с пьедестала лишь на полтора революционных десятилетия, а потом красный граф Алексей Толстой по сталинскому поручению водрузил его обратно. Уже с Екатериной было сложнее, она воспринималась как фигура неоднозначная. А любая неоднозначность в советские годы — это уже звонок, призывавший к повышенной идеологической бдительности.

Остальных не жаловали вовсе — как коронованных особ, так и их близких родственников. Редко когда можно было прочитать о них что-то хорошее — и как о людях, и как о государственных деятелях. Иногда кое-что проскакивало, да и в то в основном в непрофильной литературе. Больше чем другим везло линии, связанной с именем Константина, второго сына Николая I. Помню, в детстве прочитал в книге Исаака Линдера «У истоков шахматной культуры» о шахматном творчестве великого князя Константина Николаевича (неплохого, кстати, игрока), который попутно характеризовался как либерал, «сыгравший прогрессивную роль в развитии морского флота России». В книгах о российской поэзии Серебряного века упоминали о его сыне Константине Константиновиче — поэте «К.Р.». Без особых комплиментов, с купюрами (например, обходилось его главное произведение — пьеса «Царь Иудейский»), но все же упоминали. О детях «К.Р.» не говорилось, как будто их и не было.

Однако тяга к запретному плоду, как обычно, побеждала. Отсюда и популярность сейчас полузабытого исторического романа Пикуля «Фаворит» — о любви неоднозначной Екатерины к

неоднозначному Потемкину. Отсюда и нынешняя идеализация имперской России, включая и импозантных государей, а иногда и великих князей. В число выдающихся государственных деятелей иногда зачисляется уже и один из наиболее одиозных родственников Николая II, Сергей Александрович, муж действительно замечательной, мученически закончившей свою жизнь женщины, великой княгини Елизаветы Федоровны. В России так часто бывает — то топчут, то превозносят.

Один из многочисленных примеров того, как топчут, — посмертная судьба юного сына «К.Р.», князя Олега Константиновича. После его гибели на Первой мировой войне тело было перевезено в отцовское имение Осташево на берегу Рузы, недалеко от Волоколамска. Там в 1916-м успели построить маленький храм-усыпальницу в честь святого князя Олега Брянского — небесного патрона погибшего. После революции усыпальницу разорили, тело князя выбросили, сорвали с мундира Георгиевский крест, срезали пуговицы, забрали саблю.

Как водится, в этой грустной истории есть и оборотная, более счастливая, сторона. Храм уцелел, сейчас в нем вновь проходят богослужения, а на стене установлена доска в память о князе. В 2015 году в Пушкине, некогда бывшим Царским Селом, был установлен памятник Олегу Константиновичу. Его модель был изготовлена еще в 1915-м, но воздвигнуть памятник тогда не успели. Наверное, к счастью — в отличие от усыпальницы в отдаленном имении, шансов уцелеть у такого памятника не было.

Впрочем, в данном случае увековечивание памяти является вполне заслуженным. Князь Олег был единственным членом дома Романовых, погибшим на мировой войне. И вторым за всю историю царского дома павшим на фронте. Первым был светлейший князь Сергей Максимилианович Лейхтенбергский, внук Николая I по женской линии. Его отцом был герцог Максимилиан Лейхтенбергский, женившийся на русской великой княгине Марии Николаевне, прадедом — пасынок Наполеона и французский боевой генерал Эжен Богарне, получивший немецкий титул взамен утраченного вице-королевского в Италии, присвоенного знаменитым отчимом. Светлейший князь Сергей погиб в 1877 году на Русско-турецкой

войне, куда отправился добровольцем. Но он как родственник по женской линии не имел права на царскую фамилию (герцогам Лейхтенбергским установили дополнительный русский титул князей Романовских — почти Романовы, но не совсем).

Князь Олег был Романовым, хотя и не имел прав на великокняжеский титул. При Александре III семья стала разрастаться, денежного содержания, положенного всем великим князьям, стало не хватать. И тогда император поручил своему брату, великому князю Владимиру Александровичу, возглавить работу по нахождению компромисса — как сэкономить деньги, но не обидеть членов семьи. В результате в 1885 году появился титул «князь крови императорской» (сокращенно «князь крови»). Великим князем мог быть только сын или внук императора, а уже правнуки и последующие потомки должны были получать новый титул. Великие князья после совершеннолетия получали в год по 150 тысяч рублей, князьям крови полагались 130 тысяч. Казалось бы, разница небольшая, но содержание из этой суммы составляло только 30 тысяч, а остальные деньги князь крови получал в виде дохода от заповедного недвижимого имущества, которое нельзя было продавать, дарить и т.д.

Кстати, идея с заповедным имуществом была связана с представлением о том, что князья крови вместо военной службы (нередко номинальной, не связанной с выполнением конкретных обязанностей) смогут жить в провинции, где находилась эта недвижимость, и заниматься там местными делами, укрепляя авторитет самодержавной власти. Впрочем, из этого так ничего и не вышло: молодые князья крови, как и их родители, предпочитали жить в столицах. И по сложившемуся обычаю надевали военный мундир. Даже князь Олег, единственный из всего дома Романовых получивший гуманитарное образование, стал офицером, причем еще до мировой войны.

Олег Константинович стал четвертым по счету князем крови, после своих старших братьев Иоанна, Гавриила и Константина (была еще старшая сестра Татьяна, ставшая первой княжной крови, потом родились еще Игорь, Георгий, умершая в младенчестве Наталия и прожившая 94 года Вера). Он родился в 1892 году в Петербурге, в принадлежавшем его отцу Мраморном дворце. Ве-

ликий князь Константин Константинович был не только поэтом и президентом Академии наук, но и главным начальником военно-учебных заведений, обожаемым подведомственными ему кадетами. Чтобы сблизить своих детей со средой будущих военных, он официально зачислил их в различные кадетские корпуса — Олегу достался Полоцкий, располагавшийся далеко от Петербурга. Его выпускники становились как гвардейскими, так и армейскими офицерами, тянувшими лямку в дальних гарнизонах.

Казалось бы, появилась прекрасная возможность уменьшить традиционный разрыв между домом Романовых и большей частью офицеров, которым не посчастливилось служить в гвардейских полках, пополняемых представителями аристократических фамилий. Но получилось иначе. Дети сдавали вступительные экзамены, официально становились кадетами, но реально учились дома, в Петербурге. Аргументов могло быть много — дети оставались вместе, воспитывались рядом с родителями — так и отцу было удобнее («К.Р.» хотел вырастить их людьми разносторонне образованными), и матери (великой княгине Елизавете Маврикиевне, дочери принца Саксен-Альтенбургского) спокойнее. Да и наставниками детей были более квалифицированные педагоги.

Надо сказать, что дети росли разными. Константина, например, тянуло к сельскому хозяйству — уже будучи молодым офицером, он не только слушал лекции по аграрной тематике, но и завел молочную ферму в Павловске, которую хотел сделать образцовой. А Иоанн был особенно религиозен, уже в 1918 году, незадолго до гибели, был посвящен в стихарь, то есть с правом на богослужебное облачение для участия в церковных обрядах, оставаясь светским человеком. Олег же был ярко выраженным гуманитарием — преподаватели считали его «крайне чутким, восприимчивым, любознательным и работоспособным учеником»; любимыми предметами князя были русская литература, история, отечествоведение, рисование и музыка.

Лекции по истории ему читал молодой магистр, специалист по русской средневековой истории Платон Васенко, ученик знаменитого академика Сергея Платонова, преподававшего эту науку нескольким великим князьям. Платонов и Васенко вместе участвовали в исторических вечерах, которые в 1908 году устраивал в Павловске

Константин Константинович. Васенко вспоминал, что зимой 1908–1909 годов у князя Олега «окончательно определился глубокий интерес к гуманитарным наукам» и «созрело желание поступить в высшее учебное заведение». Представить себе члена дома Романовых, сидящего на студенческой скамье, было невозможно, тем более что государь Николай II к университетам не благоволил, за все его правление в России был открыт лишь один новый университет (Саратовский).

Поэтому юный князь крови в 1910 году был зачислен в Александровский лицей — привилегированное учебное заведение, открытое еще в 1811-м как знаменитый Царскосельский лицей. Но если в пушкинские годы лицеисты «учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь» (то есть набор предметов был довольно эклектичным, направленным на подготовку образованных аристократов), то во времена Николая I лицей превратился в юридическое учебное заведение, в котором молодые дворяне по сокращенной по сравнению с университетской программе готовились к государственной службе. Показательно, что, несмотря на привилегированный статус лицея, никто из Романовых до Олега там не обучался. Хотя Михаил Сперанский еще при учреждении лицея планировал, что там будут учиться великие князья, этот проект не был воплощен в жизнь. Выбор уже тогда был сделан в пользу индивидуального обучения с приоритетом военной подготовки.

Александровский лицей после перевода из Царского Села располагался в Петербурге, но князь Олег хотя и числился лицеистом, но по романовской традиции слушал лекции дома — официально по состоянию здоровья. Среди его профессоров были известные консервативные юристы — профессор Борис Никольский (один из деятелей Союза русского народа) и даже министр юстиции Иван Щегловитов, бывший автором ряда научных работ по правовым вопросам. Подбор педагогов осуществлялся с учетом лояльности престолу — либералов к царским родственникам старались не подпускать. Отношения Олега с Никольским были уважительными — профессор закономерно выделял его из ряда других Константиновичей, а Олег обещал дать средства для издания докторской диссертации Никольского, которая была отвергнута коллегами-юристами.

Но в истории отношений учителя и ученика был один важный «внеучебный» момент. В 1913 году убежденный антисемит Никольский решил дать торжественный обед в честь министра Щегловитова, а также Виппера и Косоротова, прокурора и эксперта по «делу Бейлиса» — как своего рода компенсацию за поражение на процессе и за критику в газетах. На обед были приглашены представители правой элиты, включая киевского митрополита Флавиана, будущего премьера Штюрмера и однознейшего антисемита доктора Дубровина, коллеги Никольского по Союзу русского народа. Никольский позвал и князя Олега, и его старшего брата Гавриила. Однако оба не пришли — Олег сообщил о болезни, Гавриил — без указания причин. Политической близости с Никольским у них не было — после этого имя Олега надолго исчезает из дневника Никольского (впрочем, оно там и до этого появлялось нечасто), а вновь Никольский вспоминает о нем только после его гибели.

Несмотря на учебу в домашних условиях, экзамены князь Олег сдавал наравне с другими лицеистами. По словам Никольского, «он готовился к экзамену с таким настроением, точно говел, а на экзамен шел как на исповедь. Но чем труднее была работа, тем более радовал его успех, и после каждого удачного экзамена, счастливый побежденною трудностью, он загорался решением преодолеть еще большую». В 1913 году князь окончил лицей с серебряной медалью, а его выпускное сочинение на тему «Феофан Прокопович как юрист» было удостоено Пушкинской медали. Олег подумывал о дальнейшей научной деятельности, для чего надо было сдать экзамены в университете. Впрочем, с выбором факультета он колебался — либо юридический, в развитие лицейского образования и с защитой диссертации, либо историко-филологический, который привлекал его больше.

Еще до поступления в лицей князь увлекся творчеством Пушкина. В июне 1905 года 12-летний Олег писал в дневнике: «Я так люблю книгу «Юношеские годы Пушкина», что мне представляется, что я также в Лицее. Я не понимаю, как можно перестать читать эту книгу. В этой книге моя душа». Уже будучи лицеистом, в 1911 году, он выступил с инициативой приуроченного к столетнему лицейскому юбилею факсимильного издания рукописей Пушкина, хранив-

шихся в лицее. Однако затем его планы расширились — князь решил выпустить многотомное факсимильное издание всех рукописей Пушкина и привлек к этому делу ряд специалистов. Однако до мировой войны удалось образцово издать только первый выпуск — стихотворения, собранные в Пушкинском музее лицея.

Причем Олег был не только формальным покровителем издания, но и его активным участником. По словам пушкиниста Павла Щёголева, «для князя издание рукописей Пушкина является молитвенной данью культуре Пушкина... На редкость тщательно выполненное издание потребовало от издателя самого напряженного и пристального внимания: с величайшей заботливостью он следил за неуклонной верностью воспроизведений подлинникам. Казалось бы, цинкографическое воспроизведение рукописей не требует особого присмотра в силу своего автоматизма, но князь Олег Константинович правил корректуры оттисков с клише и внес немало поправок: оказалось, фотография не везде принимала точки и черточки пожелтевших от времени рукописей, — и князь с изощренным вниманием отмечал эти отступления».

Князь Олег и сам занимался литературным творчеством, писал стихи и прозаические произведения, увлекался музыкой и живописью. И этот молодой человек, мечтавший о том, чтобы сделать «что-нибудь великое, большое», совсем не идиллически оценивал состояние российской элиты того времени. В его записях 1913–1914 годов, сделанных для себя, есть грустные оценки происходившего. Положение России, по его мнению, безвыходно, государь хотя и имеет чистейшие намерения, но слабохарактерен и окружен обманывающими его людьми. Императрица — «больная, истеричная женщина, приковывает его к себе как тиран». Царская фамилия — «собрание ничтожных людишек», живущих по принципу «после нас — хоть потоп». И наконец, пророческое: «Пора хвататься за ум — за воротами еще слышны угрожающие крики революции. Там что-то такое, растут новые силы, новые массы, которые, не найдя себе сопротивления, поглотят наше монархическое начало».

Князь крови — убежденный монархист. «Мне становится страшно больно за Россию, за Россию, которую я люблю, за ее старину, за ее историю, за ее монархическое начало», — пишет Олег,

но вычеркивает слова о том, что лишь этим началом она «может держаться». Что это — стилистическая правка или возникшее сомнение? В любом случае Олег искренне пытается найти альтернативу и ищет ее в создании твердой и дееспособной власти, сохраняющей связь с народом. Существовавшие стандартные формы такой связи — репрезентация власти через «парады, юбилеи и торжества» — вызывают у князя сильное неприятие. Он видит царя в качестве строгого и справедливого ревизора, способного внезапно проверить любое учреждение, наказать некомпетентного чиновника. Это стилистика прадеда князя Николая I, к которому Олег относился с уважением.

Но Олег консерватор, а не реакционер. У Николая он берет цитату о том, что члены династии должны «заставить народ простить нам, что мы родились князьями». Николай для него — это образец служения, а не символ реакции. Характерны и формы «ревизий», о которых он размышлял: то он мечтает о царе, отправившемся проверять окружной суд в кампании не только министра Щегловитова, но и либеральнейшего сенатора Кони, считавшегося примером честности и преданности идеям судебных реформ Александра II. То князь не понимает, почему бы царю не приехать на лекцию в университет, даже если придется пообщаться там с социал-демократом — и ничего страшного, государь только расширил бы свои знания о русских людях. Наконец, примером «настоящего государственного мужа» для Олега был его дед, либеральный Константин Николаевич, биографию которого он мечтал написать и перед мировой войной уже занимался собиранием материалов (Никольский вряд ли одобрил бы такой выбор).

Война оборвала его планы, среди которых большую роль играло устройство личной жизни. Его невестой была троюродная сестра, княжна крови Надежда Петровна, которую он не только нежно любил, но и в духе начала XX века стремился интеллектуально развивать. Еще в 1913 году Олег был произведен в корнеты лейб-гвардии Гусарского полка. Перед самой Первой мировой войной он вернулся из Италии, где занимался обустройством русского подворья в Бари у храма, где находятся мощи Николая Чудотворца. С началом войны он уходит на фронт. Первоначально ему было

предложено поступить ординарцем в Главную квартиру (ставку), но он добился разрешения остаться в своем полку, где ему поручили вести полковой дневник.

В последних записях Олега звучит все та же тема служения: «Мы все пять братьев идем на войну со своими полками. Мне это страшно нравится, так как это показывает, что в трудную минуту Царская Семья держит себя на высоте положения. Пишу и подчеркиваю это, вовсе не желая хвастаться». Молодой корнет жаждет отличиться и добивается перевода из штаба полка в строй. Он получил под свое командование взвод и вскоре, 27 сентября 1914 года, во время стычки с немецким разездом в районе города Владиславова (ныне Кудиркос-Науместис в Литве) был смертельно ранен. Его успели прооперировать в виленском госпитале, а срочно приехавший отец вручил ему 29 сентября принадлежавший деду крест ордена Святого Георгия IV степени, которым государь наградил Олега «за мужество и храбрость, проявленные при атаке и уничтожении германских разведчиков, причем Его Высочество первым доскакал до неприятеля».

К тому времени Олег был уже при смерти. Он успел еще порадоваться дедову кресту и с трудом произнести, что «в войсках произведет хорошее впечатление, когда узнают, что пролита кровь Царского Дома». В тот же вечер Олег умер.

Судьба Константиновичей была печальна. Великий князь не перенес смерти сына и скончался в следующем году. Иоанн, Константин и Игорь были казнены в Алапаевске во время красного террора — их живыми сбросили в шахту. Гавриила спасла жена, балерина Антонина Нестеровская, она добилась заступничества Максима Горького, которое помогло больному туберкулезом князю освободиться из Петропавловской крепости и уехать в эмиграцию. Татьяна, Георгий и Вера также закончили свои дни за границей.

За свою недолгую жизнь князь Олег, разумеется, не мог реализовать своих талантов, но то, что он успел сделать, опубликовав пушкинские рукописи, это уже немало. Его судьба привлекает стремлением к служению, которое не так часто встречается в наш прагматичный век. Еще будучи лицеистом, он написал такие строки:

В моей душе есть чувства благородные,
Порывы добрые, надежды и мечты;
Но есть в ней также помыслы негодные,
Задатки пошлые, ничтожные черты.
Но я их затопчу, и с силой обновленною
Пойду вперед с воскреснувшей душой.
И пользу принесу работой вдохновенною
Моей Отчизне милой и родной.

Петр (Полянский)

Когда говорят о героях, то часто представляют людей исключительных, с самого раннего детства готовивших себя к испытаниям. Если и не спавших на гвоздях, подобно Рахметову из романа Чернышевского «Что делать?», то по крайней мере воспитывавшихся в спартанских условиях. И в зрелые годы, будучи подготовленными к подвигу, отличавшихся самоотречением и готовых в любой момент к самопожертвованию. В СССР не любили понятие «сверхчеловек», так как его употребляли в нацистской Германии и, кроме того, оно отдавало излишним индивидуализмом. Говорилось о массовом героизме, о том, что любой достойный советский человек всегда готов к подвигу. Изредка пафосный нарратив нарушался упоминанием о том, что герои могли не всегда быть идеальными, им не были чужды человеческие слабости, но такие намеки нередко вычеркивались цензорами, считавшими, что ничего не должно порочить образцовых героев.

Когда коммунистическая идеология рухнула, начался обратный процесс — прежних героев стали сбрасывать с пьедесталов, причем, как это часто бывает в России, создавая новые легенды, только на этот раз «черные». В нулевые годы попытались частично вернуть советскую мифологию героизма, конечно с акцентом не на верности партии, а на любви к Родине, но столкнулись с тем, что споры идут между недоспорившими в перестройку людьми. Более молодым они неинтересны, ибо для них неактуальны.

Большинство людей к тому же не только на гвоздях не спят, но и стремятся в жизни к простому человеческому счастью, как об этом еще Эпикур говорил. Любят уют и заняты своими мелкими

мещанскими делами. В общем, пользуясь метафорой пролетарского классика, глупые пингвины неспособны подняться до гордого буревестника. Но бывает, что такой человек, оказавшись перед моральным выбором, далеко не всегда делает его в пользу конформизма. Пробуждается в нем сила, которой от него не ждали ни близкие, ни недоброжелатели. Причем сила не демонстративная, а какая-то негромкая, деликатная, но сила. В то же время другой человек, воспитывавшийся в тех же условиях, ломается под ударами — или даже под их угрозой.

В жизни Русской церкви первой четверти прошлого века есть герой, почитаемый православными — патриарх Тихон, который возглавил ее в бунтарском 1917-м и провел через Гражданскую войну и попытку советской власти организовать раскол, используя амбиции немногих священников и страх многих. Провел, минуя лобовое столкновение с властью, но и не уступив в действительно существенных вопросах, не идентифицируя себя и церковь с большевиками. Осудившего самым страшным церковным судом (анафемой) гонителей церкви в 1918-м и не отказавшегося от этой анафемы до конца своей жизни. И при этом признавшего реальность, заключавшуюся в том, что немалая часть народа, пусть во многом и обманутая, была за большевиков, что на их стороне физическая сила и церкви надо жить и выживать в этих условиях.

В 1925 году Тихон умирает и во главе церкви оказывается малоизвестный в церковной среде митрополит Петр (Полянский), получивший титул патриаршего местоблюстителя. Для избрания патриарха нужен был Поместный собор, но созвать его не позволила бы советская власть — она разрешила сделать это только в 1945 году, когда ее контроль над церковью стал практически полным. Правда, следующего патриарха, Сергия (Страгородского), выбрали в 1943-м, без Поместного собора, но на то была воля Сталина, которой к тому времени церковное начальство перечить не могло. Тех, кто перечил, уже не было в живых.

На должность местоблюстителя Петра рекомендовал до своей смерти Тихон, но только как третьего в очереди кандидата. Так как двое других — митрополиты Кирилл и Агафангел — находились в ссылке, выбора не было. Но сомнений было немало — не слишком ли

уступчивый новый церковный руководитель. Не сотрудничает ли он с чекистами. И вообще были сомнения в его личностных качествах, особенно у тех, кто подробно знал историю жизни местоблюстителя.

Родился Петр (в миру у него было то же имя) в 1862 году в Воронежской губернии в семье скромного сельского священника. Окончил Воронежскую духовную семинарию по первому разряду, но без блеска, да и поздновато — примерно в 23 года (лучшие семинаристы, стремившиеся в академию, завершали обучение обычно в 19–20 лет). После семинарии остался в Воронежской губернии на должности сельского псаломщика — обычная судьба семинариста, который не обзавелся женой и ждал брака, чтобы получить священный сан (уже рукоположенным дьяконам и священникам жениться запрещено). Но женой Петр так и не обзавелся, а в начале 1888 года был зачислен вольнослушателем в Московскую духовную академию. Учившийся вместе с ним будущий митрополит Евлогий (Георгиевский) упоминал в своих мемуарах, что вначале Петр пытался сдать экзамены, но не преуспел, а вольнослушателем он стал, получив материальную помощь от дяди, который именно в это время стал епископом.

Дядей будущего митрополита был известный богослов, епископ Иустин. Ведущих кафедр он не занимал, но написал 12 больших томов сочинений, сделавших его широко известным в церковном сообществе. И средств у него хватало, чтобы купить дорогому племяннику роскошную енотовую шубу, о которой митрополит Евлогий вспоминал и через полвека, в парижской эмиграции. Он обратил внимание на характерную особенность своего соученика, которая, судя по всему, вводила в заблуждение невнимательных наблюдателей: «...большой, толстый, с брюшком, он производил на многих впечатление добродушного простака, может быть, и потому, что любил напускать на себя тон простачка. «Скажите на милость, — восклицает он, бывало, — что в этой философии? Хоть убей, не разберу!» На деле он был неглупый».

Несмотря на «средние» (снова оценка Евлогия) успехи, Петр остался в академии на должности помощника инспектора: помогло вмешательство московского митрополита Леонтия. Возможно, Петр готовился к преподавательской карьере — должность помощ-

ника инспектора была для этого хорошим началом. Необходимую для этого магистерскую диссертацию он написал и защитил, но дальше с академической карьерой у него как-то не сложилось. Быть может, из-за нежелания принимать монашество, что этой карьере весьма способствовало бы.

Зато удалась карьера административная. В 1896 году Петр Полянский стал смотрителем Жировицкого духовного училища (в современной Беларуси), которое превратил в образцовое учебное заведение. Причем делал это не с помощью жесткого давления на подчиненных и установления казарменной дисциплины, а другими методами: сплачиванием в единую семью, сочетанием трудовой мотивации и совместного отдыха. Сейчас такие практики являются частью корпоративной культуры во многих компаниях, но в условиях жесткой иерархической системы они не были частым явлением.

Управленческий талант Полянского заметили и перевели его в Петербург в Святейший Синод, заниматься ревизией духовно-учебных заведений в качестве чиновника Учебного комитета. К 1917 году он уже действительный статский советник («штатский генерал») и член Учебного комитета, то есть достиг вершины карьеры. Дальнейшая жизнь выглядела предсказуемой: лет через 5–10 почетная отставка с выслуженной пенсией, тихая жизнь с летними выездами на дачу. Получилось иначе. Приход к власти большевиков лишил Полянского, как и других представителей высшего и среднего класса Российской империи, всего — службы, заработка, вкладов. Старые наличные деньги тоже аннулировали. Ни о какой пенсии ни могло быть и речи. Некоторое время выручала работа в секретариате Поместного собора, который был созван в 1917 году и избрал патриархом Тихона, давнего знакомого Полянского (они познакомились еще в конце XIX века). Но осенью 1918-го собор прекратил свою работу, и Полянскому пришлось искать заработок, поступив главным бухгалтером в кооперативную артель. Некоторое время он заведовал детским приютом. Появилась возможность выжить. Многие «бывшие люди» (это предельно циничное, почти официальное советское определение) стремились выживать незаметно, понимая, что от властей им ничего хорошего не дожидаться. А так, может быть, забудут — и некоторым это удавалось.

Петр Полянский избирает другой путь. Этот жизнелюбивый человек, вряд ли когда-нибудь думавший о мученической судьбе, в 1920 году принимает монашество, священный сан и вскоре посвящается в викарные епископы Московской епархии (помощники патриарха). К тому времени всем было ясно, что для большевиков церковь — враг. И что высокое положение в церкви не защищает от преследований и даже от расстрела. В Киеве революционные солдаты убили митрополита Владимира. В Пермской губернии бросили в могилу, забросали землей, а потом расстреляли архиепископа Андроника. Епископа Гермогена утопили в сибирской реке Туре. Таких страшных примеров можно привести немало. Чтобы в этих условиях принять сан, надо было обладать мужеством.

Почти сразу же после епископской хиротонии (рукоположения) Петр был арестован и выслан. Не очень далеко — не в сибирскую деревню, а в Великий Устюг, где имел возможность даже служить в городском соборе. Большевики не совсем понимали, чего им ждать от нового архиерея и, судя по всему, решили его припугнуть, оторвав от привычного круга общения. В 1923 году патриарх Тихон согласился признать большевистскую власть (но при этом признать ее как существующую реальность, а не солидаризироваться с ней), и Петра, как и многих священнослужителей, освобождают из ссылки. Он возвращается в Москву и входит в ближайшее окружение патриарха: Тихон назначает его управляющим Московской епархией, а вскоре и возводит в сан митрополита Крутицкого (это традиционный титул по названию Крутицкого подворья в Москве).

И здесь начало казаться, что у большевиков получилось. Петр лоялен, ведет себя тихо, власти не перечит. Не сотрудничает с ней, как другой соратник патриарха, тверской митрополит Серафим (прозванный прихожанами митрополитом Лубянским), но и не противится. На первый взгляд кажется, что ссылка научила его конформизму. И доверие патриарха он сохранил. Поэтому, чувствуя возможное приближение смерти, Тихон в декабре 1924 года включает Петра в список из трех кандидатов в преемники. Включает третьим, потому что двое других — митрополиты Кирилл и Агафангел — куда более известны и авторитетны среди верующих.

7 апреля 1925 года патриарх Тихон скончался. Кирилл и Агафангел, как было сказано, находились в ссылке, поэтому обязанно-сти патриарха принял на себя Петр. Думается, что многие и в большевистском, и в чекистском руководстве вздохнули с облегчением. С патриархом договориться было непросто — Петр выглядел более слабым. Казалось, его можно заставить выполнить пожелания власти — согласиться на то, чтобы церковь была под контролем ГПУ (преемника ВЧК), призвать верующих быть не просто политически лояльными власти, но ее верными сторонниками, уволить неугодных большевикам архиереев.

Петр отказывается. За полгода, которые он провел в Москве на свободе в качестве патриаршего местоблюстителя, Петр не делает ни одной уступки властям. Он отказывается идти на любые компромиссы с обновленчеством — тесно сотрудничавшим с большевиками течением в церкви, создавшим собственную организацию и иерархию. Обновленцы, видимо по согласованию с ГПУ, в ответ доносят на него, обвиняя в тайных связях с монархической эмиграцией. Также Петр объединяет вокруг себя наиболее стойких архиереев и священников, помогает узникам, находившимся в тюрьмах и ссылках.

Еще один важный момент: Петр консолидирует церковь на консервативной основе. Он издает документ, и в нем осуждаются богослужебные новшества, которыми занимались отдельные московские священники. Сейчас его часто цитируют противники любых церковных реформ, чтобы подкрепить свою позицию. Но ситуация выглядит не столь простой: в 1925 году любые дискуссии о богослужении, любые действия, которые прихожане могли воспринять как уступки обновленцам (на первых порах активно проводившим реформы), подрывали единство церкви перед лицом советской власти. Допустить этого Петр не мог — и действовал единственно верно. Является ли его распоряжение универсальным для всех времен, в том числе для наших дней, — большой вопрос.

Все это долго продолжаться не могло. В декабре 1925 года, перед арестом, владыка Петр писал: «Меня ожидают труды, суд людской, но не всегда милостивый. Не боюсь труда — его я любил и люблю, не страшусь и суда человеческого — неблагоприятность его испыта-

ли не в пример лучшие и достойнейшие личности. Опасаюсь одного: ошибок, опущений и невольных несправедливостей — вот что пугает меня. Ответственность своего долга глубоко сознаю. Это потребно в каждом деле, но в нашем — пастырском — особенно». Он почувствовал, что в тюрьме, будучи отрезанным от мира и общаясь с опытными провокаторами из ГПУ, легко можно принять неверное решение. С этой проблемой он столкнулся, когда издавал — и на воле, и в тюрьме — различные распоряжения о том, кому временно руководить церковью. Используя эти распоряжения, ГПУ пыталось столкнуть между собой разных иерархов, но успеха не добилось. Когда Петр, даже в тюрьме, понял, что один из его назначенцев, екатеринбургский архиепископ Григорий, уступил, сговорился с властями и действует против интересов церкви, он тут же лишил его полномочий. Одна из интриг ГПУ была сорвана, но оставались другие.

Эмигрантский митрополит Евлогий отмечал, что Петр «проявил себя человеком доблестным, стойким, не склонным к компромиссам. Большевики разгадали, с кем имеют дело, — и отправили в ссылку». За границей не знали всей правды о судьбе владыки Петра, как не знали ее и прихожане в России. Было объявлено, что патриарший местоблюститель выслан в маленькое селение Хэ за Полярным кругом у Карского моря, где и живет в суровых условиях, но хотя бы пользуясь какой-то свободой. Может выйти на улицу, прогуляться, поговорить с соседями.

Реальность оказалась куда более трагичной. Вначале владыка находился в тюрьмах, затем действительно был этапирован в Хэ, куда его привезли в 1927-м. Там 65-летний человек жил без медицинской помощи. А ГПУ к тому времени смогло «подобрать ключик» к церкви: в отсутствие митрополита Петра его заместитель, митрополит Сергей, согласился на все условия, которые отверг местоблюститель. Но многие верующие отказались подчиняться решению Сергея и поминали на богослужениях только ссыльного Петра. Тогда была проведена спецоперация: в Хэ доставили одного малоизвестного епископа, который потом приехал в Москву и заявил, что Петр полностью одобряет действия Сергея, но письменных доказательств посылать не смог — их и быть не могло.

Более того, Петр написал Сергию письмо, в котором выразил недовольство тем, что тот превысил свои полномочия. Разумеется, верующие об этом письме не узнали. Но все равно оставалась возможность, что митрополит сможет разоблачить чекистскую провокацию. И 17 августа 1930 года он был тайно отправлен в Тобольск, затем в Екатеринбург и, наконец, в Верхнеуральск. Разумеется, одиночное заключение, никаких свиданий и передач. И одновременно чекисты предлагают ему отказаться от должности местоблюстителя. Достаточно написать один документ и можно получить если не свободу, то облегчение участи. Петр отказывается — вежливо, даже почтительно (наверное, сказывалось воспитание), но твердо.

Сорвался он один раз, когда чекист Тучков предложил ему подписать документ о сотрудничестве с органами госбезопасности. Неясно, зачем это нужно было чекистам, все равно одиночный заключенный даже при желании не мог ни на кого «настучать». Возможно, речь шла об унижении, желании морально раздавить человека. Митрополит резко отказывается, но уже вскоре пишет начальнику Тучкова Менжинскому изысканно-вежливо, но непреклонно: «Расстроенное здоровье и преклонный возраст не позволили бы мне со всею серьезностью и чуткостью отнестись к роли осведомителя, взяться за которую предлагал тов. Е.А. Тучков. Нечего и говорить, что подобного рода занятия несовместимы с моим званием и к тому же несходны моей натуре».

Судя по всему, больше предложений ему не делают. Старика оставляют медленно умирать в одиночке. У него даже отбирают имя — вместо него он фигурирует под номером 114. Петр частично парализован, болен цингой и астмой, но жив. В одной из его тюремных записей говорится: «Я постоянно стою перед угрозой более страшной, чем смерть. Меня особенно убивает лишение свежего воздуха, мне еще ни разу не приходилось быть на прогулке днем; не видя третий год солнца, я потерял ощущение его. ...Болезни все сильнее и сильнее углубляются и приближают к могиле. Откровенно говоря, смерти я не боюсь, только не хотелось бы умирать в тюрьме, где не могу принять последнего напутствия и где свидетелями смерти будут одни стены». Петр просил своих тюремщиков перевести его в лагерь, но вместо этого ему запре-

шают даже ночные прогулки в общем дворе, заменив их прогулками в маленьком сыром дворике, где воздух был наполнен смрадом испарений из отхожих мест.

В 1936 году власти приходят к выводу, что с местоблюстителем Петром надо покончить — пока что как с формальным главой церковной иерархии. Возможно, это было связано с приходом Николая Ежова на пост наркома внутренних дел. Ежов не любил сложных, к тому же безрезультатных оперативных игр, предпочитая более прямолинейные методы. Поэтому митрополиту Сергию и его окружению сообщают о смерти местоблюстителя, которая, разумеется, произошла в далеком Хэ. В результате Сергей становится уже официальным преемником Петра, по которому служится панихида.

Но Петр был еще жив. Его расстреляли в следующем, 1937 году, по обвинению в антисоветской агитации. Свидетелями выступили двое тюремщиков. Под агитацией понимался рассказ о том, как он отверг предложение отказаться от руководства церковью. При этом тюремщик вынужден был отметить, что заключенный «старался всемерно удержаться от злобных выпадов», хотя тут же добавил, что они «так и рвались наружу». Эта история не похожа на ложь, она подтверждает, что митрополит сохранил выдержку до конца своих дней. Это произошло в том самом 37-м, в котором, как утверждают сталинисты (в том числе и внутри церкви), Сталин справедливо карал предателей-троцкистов.

Спустя 60 лет после расстрела владыка Петр был причислен к лику святых. Его антагонист, митрополит Сергей, как было сказано выше, в конце жизни с санкции Сталина стал патриархом. Одни его осуждают, другие оправдывают, но никто не собирается канонизировать: святость обычно не связана с мирским успехом. И напротив, православные возглашают молитвенный тропарь погибшему в тюрьме «номерному заключенному»: «Жестокая заточения и дальняя изгнания, / страдания и смерть от богоборцев претерпел еси. / Венец мученический прияв, / на Небеси ныне радуешься».

Иосиф Панопорт

В Советском Союзе была распространена самокритика, которая никакого отношения к покаянию и следующему за ним катарсису не имела. Напротив, самокритика была наглядным и унижительным проявлением двоемыслия — человек должен был публично каяться в несуществующих грехах, часто обличая то, что в течение многих лет было ему дорого, а то и составляло смысл жизни. Обличать приходилось, например, свои ошибочные взгляды в области не только общественных наук, проникнутых коммунистической идеологией, но и наук естественных, в которые эту идеологию усиленно внедряли, часто в ущерб здравому смыслу. Самокритика относилась к отсутствию политической бдительности, приведшей к порочащим связям с разоблаченными «врагами народа» (то есть арестованными коллегами).

«Развивать критику и самокритику» прямо предписывал коммунистам Устав КПСС. Но и на беспартийных, занимавших более-менее заметные должности, этот принцип тоже распространялся. Степень эффективности самокритики как способа смягчить наказание была различной. Во время массовых расстрелов 1930-х годов даже отчаянное самобичевание могло не спасти от гибели. А вот в послевоенное время покаявшегося могли не только не отправить в лагерь, но даже оставить на работе, пусть и не всегда в прежней должности. Человек возвращался после разгромного для него собрания к своей семье. Униженный, но свободный — внешне конечно, но не внутренне.

В послесталинское время самокритика сохранилась, но все более превращалась в формальность, так как угрозы гибели уже не

было, да и в тюрьму можно было попасть только в случае лобового столкновения с властью, что обычно было уделом немногочисленных диссидентов. Давление идеологов на естественные науки снизилось: власти поняли, что безграмотное вмешательство в науку может нанести удар по оборонным проектам, с которыми в той или иной степени была связана большая часть советской научной сферы. Но остались воспоминания пожилых ученых о подлостях, с которыми им приходилось сталкиваться, о предательстве, оговорах своих коллег и товарищей.

Но есть примеры, не очень многочисленные, когда общая уничижительная логика не срабатывала. Один из них — судьба Иосифа Абрамовича Рапопорта, ученого-генетика, отказавшегося каяться и избежавшего при этом и гибели, и ареста.

В современных российских идеологических дискуссиях иногда принято противопоставлять выходцев из среды старой интеллигенции и выдвиженцев 20–30-х годов из числа советской, идеологически проверенной молодежи. Это нередко верно, но далеко не всегда. Иосиф был одним из первых пионеров, затем активным комсомольцем. Это неудивительно: его отец, ученик еврейской школы, благодаря немалым способностям смог сдать экстерном экзамен за курс гимназии, после чего получил специальность фельдшера в профильном училище. На этом дореволюционное образование страстного книгочея Авроума (так официально звучало имя отца) Иосифовича и завершилось. Оно давало право работать за пределами черты оседлости, что было мечтой многих еврейских молодых людей, но при этом резко ограничивало социальную мобильность. Фельдшер не мог стать врачом, а для получения врачебного образования надо было окончить медицинский факультет с его антиеврейской процентной нормой.

Революция, ставшая трагедией для многих представителей русского образованного слоя, дала шанс скромному фельдшеру из Чернигова. Он не стал комиссаром, не вступил в партию, но в сорок лет поступил в медицинский институт, который успешно окончил. Так что в автобиографии Иосиф с полным правом называл себя сыном врача-терапевта, хотя в 1912 году, когда он родился, его отец рассматривал врачебный диплом как несбыточную мечту.

В 1927 году Иосиф окончил школу, спустя три года — агрозоотехнический техникум в Чернигове. Дальше был Ленинград, где молодой провинциал, любитель чтения (отцовское наследство) и знаток иностранных языков, учился в университете на биологическом факультете. Еще через два года, в 1932-м, он встречается с человеком, определившим его дальнейшую судьбу, Николаем Константиновичем Кольцовым.

Профессор Кольцов был выдающимся генетиком и человеком левых либеральных политических взглядов. Как ученый, он после блестящего окончания Московского университета и заграничной стажировки стал приват-доцентом в своей alma mater. Как политик, отказался от защиты уже почти готовой докторской диссертации в знак солидарности со студентами-забастовщиками (что не понравилось даже умеренным либералам, доминировавшим в среде московской профессуры), а в 1911 году в числе других преподавателей ушел из университета в знак протеста против грубого вмешательства власти в его деятельность. Преподавал на Высших женских курсах и в Народном университете имени Шанявского, после Февральской революции вернулся в Московский университет. После прихода к власти большевиков был членом подпольной организации, участники которой собирались в созданном им в 1917 году Институте экспериментальной биологии. За это был приговорен к расстрелу, но помилован и вскоре освобожден, так как дальше дискуссий о будущем России «заговорщики» не пошли (а тех, кто пошел, расстреляли раньше).

Кольцов был фактическим основателем отечественной школы генетики, человеком ярким, харизматичным, увлекающимся. Его увлечение модной в 1920-е годы евгеникой, никак не связанной с нацистской расовой практикой, советские идеологи ему не простили, не пустив в академики и сняв с поста директора института. Каяться перед своими обвинителями Кольцов отказался. Но для Рапопорта, как и для многих генетиков его поколения, он был гением. «Один из основателей современной биологии он впервые в мире высказал главную идею XX века, что непрерывность нити жизни обеспечивается самокопированием гигантских наследственных молекул. Он же высказал гипотезу о том, что радиация и актив-

ные химические соединения являются основными факторами, вызывающими наследственные изменения», — так коротко описал Рапопорт незадолго до своей смерти вклад Кольцова в науку. Он же в период травли своего учителя отказался подавать руку одному из ее активных участников, влиятельному советскому академику.

Работа в Институте экспериментальной биологии под руководством Кольцова в «духе научной свободы и высокой требовательности» (еще одно рапопортовское определение) продолжалась несколько лет — до смерти Кольцова в 1940 году. За это время Рапопорт закончил аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию и подготовил докторскую, которую должен был защитить уже после смерти учителя, в возрасте 29 лет в июне 1941-го. Но защиту отложили на несколько дней — до 27 июня, а 22-го началась война.

У кандидатов наук была бронь, позволявшая не идти в армию. Можно было дожидаться защиты докторской. Но с началом войны Рапопорт бросил все и пошел в военкомат. Лейтенант запаса, он был направлен для переподготовки на командирские курсы «Выстрел», а осенью получил звание старшего лейтенанта и должность командира батальона в Крыму. Вскоре был тяжело ранен и чудом остался жив — вывозили его через Керченский пролив во время отступления на одном из последних транспортов. После госпиталя командовал батальоном в северном Иране, оккупированном СССР в 1941 году. Там заболел тропической лихорадкой, снова лечился в госпитале, а затем окончил ускоренный курс в Военной академии имени Фрунзе, где готовили начальников штабов. Во время учебы случайно встретил коллегу-биолога, после чего все-таки защитил свою докторскую — в военной Москве 1943-го, одновременно с занятиями в академии. После этого ему предложили демобилизоваться — долг Родине отдан — и вернуться к научной работе. Капитан Рапопорт отказался и уехал на фронт.

Последующие два года его военной биографии фантастичны. Штабной офицер, лишь ненадолго возвращавшийся на должность комбата (в десантной дивизии), он трижды представлялся к званию Героя Советского Союза, но так его и не получил. Осенью 1943-го начальник штаба полка Рапопорт отказался форсировать Днепр в месте, определенном командованием, так как переправа могла при-

вести к большим человеческим потерям. Он нашел другое, удобное, место, что позволило полку переправиться через реку почти без потерь и нанести удар по врагу с тыла. В свою очередь, это помогло дивизии занять выгодный плацдарм, с которого можно было развивать дальнейшее наступление. Золотую Звезду Рапопорт не получил, потому что после одного из тяжелых боев то ли ударил, то ли оскорбил командира дивизии, который бросил оказавшихся в окружении бойцов. Рапопорт вывел их (в том числе и раненых) к своим, а затем, увидев вернувшегося начальника, не сдержался. Учитывая заслуги, его не судили, но представление к высокой награде было отозвано.

Второй раз Рапопорт должен был стать Героем в 1944 году, когда командовал десантным батальоном и воевал в Венгрии. Его батальон 3 декабря должен был занять несколько населенных пунктов и закрепиться на новых позициях. Вместо этого он продолжил наступление, захватил заминированный мост через канал, соединяющий озеро Балатон с Дунаем, и узел немецкой обороны — деревню Мезокомаром, находившуюся за мостом. 4 декабря батальон отбил 14 контратак немцев, но плацдарм удержал. В ходе дальнейшего продвижения дивизии, 8 декабря, батальон в ночном бою выбил противника из очередного пункта обороны — деревни Балатонфокаяр, рядом с которой находились пересечение шоссе и узловая железнодорожная станция. 10 декабря батальон выдержал 12 контратак, но не отступил. Затем следует бросок дивизии к городу Секешфехервар, прорыв после тяжелых боев на его южную окраину и 23 декабря овладение городом с последующим преследованием противника в ходе операции по окружению Будапешта. В тяжелом бою 25 декабря у деревеньки Замой Рапопорт заменил погибшего командира полка, но через несколько часов был ранен, потеряв левый глаз, но, как сказано в представлении к награде, «будучи тяжело ранен не ушел с поля боя до отражения батальоном всех контратак. Личной храбростью, бесстрашием в борьбе с противником воодушевлял бойцов на выполнение всех боевых задач». Причины отказа в присвоении звания Героя на этот раз неясны.

Рапопорта отправляют в госпиталь, но, немного подлечившись, он бежит оттуда на фронт и снова командует батальоном, а затем становится начальником оперативного отдела штаба дивизии. В этом

качестве гвардии майор Рапопорт возглавил передовой отряд, прошедший в апреле 1945-го по территории Австрии с боями 83 километра, занявший три города и взявший в плен 35 тысяч гитлеровцев. В конце войны отряд Рапопорта соединился с наступающими американскими войсками. Третье представление было отклонено из-за ЧП: майор приказал задержать генеральского адъютанта, в пьяном виде сбившего машиной молодого лейтенанта. Адъютанта избили и посадили в подвал, где тот просидел несколько суток.

Несмотря на три отказа в присвоении геройского звания, мужественный офицер был награжден двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны II и I степеней, полководческим орденом Суворова III степени (за мост у Балатона и Мезокомаром). Также он был удостоен американской боевой награды, став легионером «Легиона почета». В августе 1945 года Рапопорт демобилизовался из армии, вернулся в свой институт и в следующем году опубликовал статью о способности химических веществ вызывать мутации, об открытии сильных химических мутагенов, что поставило его в один ряд с выдающимися учеными мира. Позднее исследования Рапопорта стали основой для самостоятельного раздела генетики — химического мутагенеза.

Но перед этим был 1948 год, когда Сталин сделал ставку на «народного академика» Трофима Лысенко, обещавшего накормить страну. Лысенко подчеркивал, что он сугубый практик, и обвинял своих научных оппонентов не только в отказе от единственно верной марксистской теории, но и в оторванности от жизни. На августовской сессии сельскохозяйственной академии (ВАСХНИЛ) Лысенко торжествовал, а генетики один за другим униженно признавали его правоту. На этих условиях они могли продолжать свою работу, сохранить привычный образ жизни и довольно высокий в послевоенном голодном СССР статус научного работника.

Для Рапопорта, как и для еще целого ряда ученых, это было полностью неприемлемо. Но и здесь были варианты — например, не явиться на сессию, «заболеть». Это не гарантировало от увольнения, но могло позволить перебраться в провинцию и отсидеться где-нибудь в далекой от Москвы лаборатории, продолжая работать по специальности (пусть и не занимаясь больше генетикой). Рапопорт

пришел на сессию и выступил на ней с лекцией, в которой спокойно защищал достижения — свои и своих коллег. А также подверг критике заявления Лысенко о возможности революционной переделки природы: «Мы в десятках тысяч точных экспериментов убедились, что переделка животных и растений в результате только нашего желания не может быть достигнута. Мы должны знать механизмы, которые находятся в основе определенных морфологических и физиологических свойств».

Историк науки Владимир Есаков писал, что Рапопорт «защищал честь и достоинство ученого против самодовольства и глупости». В конце сессии ему позволили выступить еще раз — в надежде на раскаяние. Но когда он снова стал отстаивать генетику, его просто согнали с трибуны. После сессии Рапопорт был уволен с работы, а затем исключен из партии, в которую он вступил на фронте в 1943-м, «за несогласие с решениями сессии ВАСХНИЛ и непризнание ошибок». Его книга, написанная на основе докторской диссертации, была изъята из продажи и уничтожена. Никаких возможностей работать биологом в любой точке страны с таким «волчьим билетом» у него не было, тем более что начиналась борьба с космополитизмом

Гвардии майор запаса не сломался. Раз нельзя работать биологом, то можно геологом или палеонтологом, на маленьких должностях, вплоть до лаборантских, под постоянной угрозой увольнения за неблагонадежность. А затем и вообще по краткосрочным договорам, чтобы никто при проверке не мог обнаружить его среди штатных сотрудников. Но и в этой, посторонней для него сфере он проявляет себя творцом, и когда начальство увидело сделанное им открытие, то предложило защитить диссертацию в области геолого-минералогических наук. Правда, когда выяснилось, что скромный сотрудник — это исключенный из партии генетик, которого в любой момент могли арестовать, предложение было тут же отозвано, а Рапопорта в очередной раз уволили. Но при этом он не бросает биологию — если нельзя заниматься наукой, то можно хотя бы читать, знакомиться с новой литературой, думать.

Даже после смерти Сталина неудобного ученого не сразу восстанавливают в правах: он не только опальный, но и исключенный.

Только в 1956 году, после XX съезда, он смог снова публиковать работы по генетике. А в следующем году академик Николай Семенов, будущий нобелевский лауреат, берет его на работу в свой Институт химической физики, где Рапопорт получает возможность снова заниматься химическими мутагенами. В 1965-м он становится заведующим отделом химической генетики в этом институте и остается на этом посту почти до самой смерти.

На первый взгляд началась нормальная советская научная карьера. Но не совсем: Рапопорт принципиально отказывается подать заявление о повторном приеме в партию. Он не диссидент, но требует, чтобы его восстановили с сохранением стажа, то есть признали, что в конце 40-х с ним поступили несправедливо. Но это значит, что партийное начальство должно было признать, что ошибалось, а гордый ученый был прав. Рапопорта уговаривали пойти на компромисс в отделе науки ЦК КПСС, он отказался. Насколько можно судить, именно поэтому сорвались и планы выдвижения его кандидатуры на Нобелевскую премию: исключенный из партии лауреат был для власти фигурой неприемлемой (есть версия, что этот вопрос поднял сам Нобелевский комитет, но его членам как раз тема партийности Рапопорта была неинтересна).

Но эффективность работы ученого была столь высока, что такие «чужачества» ему прощали. Парадокс — теории Лысенко, который представлял себя великим практиком, оказались тупиковыми не только для науки, но и для практической сферы. Работа генетика Рапопорта привела к конкретному результату. В СССР к концу 1991 года на основе химического мутагенеза было создано 383 сорта сельскохозяйственных культур, из них 116 были районированы, то есть допущены к использованию в том или ином районе страны. В том числе 26 сортов пшеницы, 14 сортов ячменя, 8 гибридов кукурузы, 14 сортов крупяных культур, 8 сортов зернобобовых, 28 сортов кормовых, 11 сортов технических, 4 сорта овощных, 1 сорт лекарственных и 1 сорт ягодных культур. Один из сортов озимой пшеницы назван в его честь. За свои заслуги Рапопорт в 1979 году становится членом-корреспондентом Академии наук, а в 1984-м получает Ленинскую премию.

Он остается неудобным и «ершистым» человеком. В брежневское время уничтожается тираж еще одной из его книг — «Микрогенетики». На этот раз дело было не в большой политике, а в научном конфликте — даже большие ученые иногда не терпят чужого мнения, отличающегося от их собственного. А еще Рапопорт пошел против охватившего не только советскую науку официального оптимизма — представления, что все проблемы можно решить научными методами, а на издержки не обращать внимания. В 1968-м он впервые ставит вопрос об опасности для генофонда человека бесконтрольной химизации сельского хозяйства. Спустя три года его избирают вице-президентом первой ежегодной конференции Европейского общества по мутагенам внешней среды — как первого ученого, публично обратившего внимание на риск, о котором сейчас говорят многие.

Годы перестройки оказываются противоречивым временем в судьбе старого ученого. С одной стороны, его научные заслуги получают новое признание — в 1990 году ему вручается звезда Героя Социалистического Труда. Снимаются цензурные ограничения на обсуждение темы послевоенного разгрома генетики, и Рапопорт получает возможность рассказать о своей судьбе широкой аудитории. При этом он подчеркнуто сдержанно отзывается о генетиках, которые покаялись перед Лысенко и его присными: он не осуждает их за слабость, не впадает в праведный ригоризм. С другой стороны, его исследования, как и большая часть фундаментальной науки, становятся менее востребованными в условиях, когда от ученых стали требовать немедленной отдачи, измеряемой в рублях. Усиливаются разногласия в его отделе, и незадолго до смерти он вынужден покинуть должность руководителя.

Иосиф (друзья звали его Юзиком) Рапопорт умер 31 декабря 1990 года. За несколько дней до этого его сбила машина, и от тяжелейших травм он уже не оправился. Сейчас одни вспоминают его прежде всего как воина, другие — как генетика. А эти стороны жизни Рапопорта нельзя разъединять: он всегда был цельным и мужественным человеком с высоким чувством собственного достоинства.

Григорий Сокольников

Среди множества вопросов советской истории один из основных касается возможности модернизировать страну не такими зверскими средствами, как в ходе социалистической индустриализации и коллективизации. Возможно ли было поднять промышленность и сельское хозяйство без казней и ссылок, без слома судеб крепких крестьян, без гонений на всех, кого достаточно было заподозрить в нелояльности к новому строю? Нужны ли были великие «стройки коммунизма», на которых вместе с комсомольцами-энтузиастами трудились сотни тысяч эков, нередко там и погибавших?

Ответы на эти вопросы в разные времена давались разные. В советское время альтернативы рассматривались либо как вражеские заговоры, либо — после Сталина — как тупиковый путь постоянно ошибавшейся «правой» оппозиции (хотя отметим, что в реальности речь шла только о предложениях так называемых правых). В годы перестройки на короткое время увлеклись было нэповской альтернативой, освященной именем Ленина — в ту пору обязательным аргументом, обосновывающим любую позицию, хоть реформаторскую, хоть ретроградную.

Одновременно начали изучать наследие «любимца всей партии» Николая Бухарина, выступившего в конце 1920-х годов против ускоренной коллективизации, за многоукладную экономику и проигравшего Сталину борьбу за выработку партийного курса. Правда, продолжалось это недолго — и Ленин, и Бухарин быстро вышли из моды, одновременно с окончательной дискредитацией советской модели. Тем более что при более-менее внимательном изучении бухаринского наследия никак нельзя было не учитывать его свире-

пых цитат эпохи Гражданской войны о борьбе с классовым врагом, обосновывавших необходимость красного террора и массовых репрессий. Эти цитаты разрушали образ «гуманного марксиста». Другое дело, что Бухарин 1920 и 1929 годов — это человек с разным опытом, с куда меньшим радикализмом, с пониманием, что все проблемы не решаются революционным натиском. Но забыть жестокие слова о классовых врагах все равно очень трудно.

Но кроме крушения кумиров было и кое-что еще. В 1990-е годы, на волне разочарования перестройкой и гласностью, стали возвращаться прежние аргументы. Что НЭП был временным, вынужденным отступлением, продолжение которого не могло обеспечить обороноспособность страны. Что для победы в Великой Отечественной войне надо было пройти и через разорение деревни, дабы обеспечить ускоренное строительство промышленных предприятий любой ценой. Эта точка зрения превращает жертвы в пресловутые «щепки», без которых никак нельзя при рубке леса.

И все же — была ли альтернатива? Насколько были ошибочными аргументы и поступки тех большевиков, которые считали возможными другие пути экономической трансформации? Может быть, они были оторванными от жизни теоретиками, не понимавшими, как реально функционирует экономика, — того же Бухарина многие, не исключая и ценившего его Ленина, упрекали в схоластичности. Но, пожалуй, наиболее компетентный сторонник альтернативного пути развития среди большевиков, Григорий Сокольников, был рациональным практиком с огромным и разнообразным опытом принятия решений, которые не всегда совпадали с генеральной линией партии.

Григория Сокольникова при рождении звали Гирш Бриллиант. Необычная фамилия была связана с обстоятельствами надения фамилиями бесфамильных до того времени евреев в XVIII–XIX веках. Документы оформляли чиновники, которые либо спрашивали человека, какую фамилию он хотел бы взять, либо придумывали ее сами. Нередко евреи выбирали благозвучные, как им казалось, слова, связанные с драгоценными камнями, — Рубинштейн, Бернштейн (янтарь), Бриллиант. Правда, за выбор нередко приходилось платить, чтобы не вписали какую-нибудь неприглядную

фамилию. Поэтому обычно обладателями «драгоценных» фамилий становились люди платежеспособные.

Отец Гирша, Янкель Бриллиант, в отличие от многих российских евреев сделал завидную карьеру. Он получил высшее медицинское образование, служил врачом на железной дороге в Полтавской губернии, где в 1888 году и родился Гирш. Достиг достаточно высокого чина надворного советника — «штатского подполковника», личного дворянина. Его женой был Фаня, урожденная Розенталь, тоже обладательница красивой фамилии, что неудивительно для дочери купца первой гильдии. В конце XIX века семья переехала в Москву, где Янкель занимался врачебной практикой и управлял принадлежавшей Фане аптекой на Трубной. В это время он уже именуется Яковом, Гирша называют Григорием, его братьев зовут Михаил (он погибнет на Колыме) и Владимир (ему повезет, он умрет в эмиграции) — среди состоятельных евреев ассимиляция была распространена.

Григорий Бриллиант учится в элитной Пятой Московской гимназии, еще во время учебы в 1905 году вступил в социал-демократическую партию, присоединившись к ее радикальному, большевистскому, крылу. Гимназист Бриллиант участвует не просто в деятельности партии, но и в декабрьском восстании в Москве. Затем становится одним из лидеров социал-демократической организации учащихся, где работает вместе со своим ровесником, учительским сыном Бухариным, учившимся в Первой гимназии. Одновременно выполняет партийное поручение, агитируя рабочих в украинном Сокольническом районе — отсюда и его псевдоним Сокольников, ставший затем фамилией.

В 1907 году Григорий был арестован, заключен в Бутырскую тюрьму, где сидел в одиночной камере и использовал вынужденное бездействие для самообразования: читал книги по экономике, истории, философии. А также проявлял характер в отношениях с властями: за отказ снять шапку перед начальником тюрьмы был закован в кандалы и переведен в подвальный карцер. В 1909-м его приговаривают к ссылке на вечное поселение в Енисейскую губернию, откуда он через шесть недель бежал, вскоре добравшись до Парижа.

Во Франции Сокольников активно участвует в деятельности большевистской партии, становится близким соратником Ленина, хотя и расходится с ним по вопросу союзов с различными политическими силами. Ленин был крайним догматиком и любые компромиссы воспринимал негативно, тогда как, по мнению Сокольникова, можно было договариваться с частью меньшевиков. В эмиграции большинство большевиков если и учились, то урывками, как Бухарин, атаковавший с радикальных позиций в Венском университете почтенных профессоров-экономистов. Эрудит, знаток шести языков, Сокольников представляет меньшинство, учившееся систематически: он заканчивает юридический факультет Сорбонны и там же курс доктората экономических наук. Это не докторская диссертация в современном российском смысле, но свидетельство компетентности в теоретической экономике.

Во время мировой войны он еще больше сближается с Лениным, так как разделяет его неприятие военных действий. Поэтому, как и Ленин, живет в нейтральной Швейцарии. После Февральской революции вместе с ним возвращается в Россию в «пломбированном вагоне» и быстро становится одним из лидеров московских большевиков, а затем и членом партийного ЦК. Разногласий с Лениным в этот период у него не было, и после революции тот выдвигает Сокольникова на ключевые посты. Вначале он становится помощником комиссара Госбанка и в этом качестве становится инициатором принятия декрета о национализации банков и изъятии ценностей, хранившихся в банковских ячейках, что, по сути, было грабежом, хотя и прикрытым «революционной законностью». Но Сокольников помнит об опыте Парижской коммуны, которая не посягнула на Банк Франции и осталась без денег. Он не хочет стать мучеником революции и поэтому готов на многое.

А в начале 1918 года Сокольников сменяет Льва Троцкого на посту руководителя делегации, направленной в Брест-Литовск для подписания мирного договора. Как известно, Троцкий не решился подписать этот документ, объявив уникальное состояние «ни мира, ни войны». Немецкие войска тут же перешли в наступление, фронт фактически прекратил существование. Брестский мир был позорным договором, но другого выхода у новой власти не было.

Троцкий отказался от ответственности и подал в отставку с поста наркома по иностранным делам, старый друг Сокольников Бухарин выступил против договора, заявив о необходимости народного восстания против немцев (но реалистичной технологии его организации не предложил). Сокольников поначалу тоже пытался уклониться от ответственности за потерю Украины, Прибалтики, других территорий, но видя, что больше никто не соглашается, все же решился поехать в Брест и подписать мир.

Вскоре после этого Сокольников уезжает на фронт начавшейся Гражданской войны — вначале в качестве политкомиссара, члена реввоенсоветов 2-й армии на Восточном фронте, 9-й армии на Южном, а затем и всего Южного фронта. В этом качестве Сокольников проявляет себя прагматиком, делающим ставку не на революционную партизанщину, а на квалифицированных специалистов (военспецев). Он активно поддерживает назначение командующим 2-й армией жесткого старорежимного строевика, полковника Василия Шорина, который смог навести в армии порядок и подготовить ее к наступательным действиям.

На юге он выступает против политики «расказачивания», проводимой рядом большевистских функционеров. Сокольников исходит из соображений не гуманитарных (он был сторонником решительной борьбы с белыми казаками), а вполне практических — нельзя полностью отбрасывать колеблющуюся часть казачества, при умном подходе она может сыграть важную роль в победе над противником. Поэтому он берет под защиту красного командира, идеалиста и бунтаря, бывшего казачьего войскового старшину Филиппа Миронова, приговоренного к расстрелу по обвинению в восстании против советской власти, — казака освобождают и отправляют на фронт. Погибнет Миронов в красной тюрьме в начале 1921-го, но Сокольников к тому времени уже казачьими делами не занимался. Интересно, что современные антисемиты, любящие обвинять евреев в красном терроре, стараются не упоминать о том, что среди «расказачивателей» было немало русских (таких как Сырцов или Коллегаев), тогда как прагматик Сокольников был евреем.

Осенью 1919 года его, несмотря на отсутствие военного образования, назначают командующим 8-й армией, находившейся в плачев-

ном состоянии. Белые войска наступали, несколько военспецов из армейского штаба перешли на их сторону, армия фактически была разгромлена. В этих условиях Сокольников — видимо, следуя опыту Шорина во 2-й армии — сумел реорганизовать армию, которая уже вскоре смогла перейти в контрнаступление, совершила тяжелый переход от Воронежа до Ростова-на-Дону. Затем она после быстрого обходного маневра вышла к Новороссийску, завершив разгром деникинской армии. Прагматичный Сокольников, несмотря на общий рост недоверия к военспецам из-за их побегов из Красной армии, решил все же продолжать делать ставку на профессионалов — и подобрал себе опытного помощника, бывшего генерала Михаила Фастыковского, который оказался на своем месте. Фастыковский не симпатизировал большевикам — в 1921-м он бежал в Польшу, через пару лет вернулся, выжил ценой подписки о сотрудничестве с чекистами, но погиб во время Большого террора. Но Сокольникова в 1919-м он не разочаровал.

В это же время Сокольников сталкивается с Ворошиловым и Буденным, обвиняющим его в предвзятом отношении к их 1-й Конной армии. В свою очередь, Сокольников воспринимает кавалеристов как недисциплинированное воинство, отметившееся грабежами в Ростове-на-Дону (достаточно вспомнить бабелевскую «Конармию», чтобы понять его аргументы). Чтобы разрешить конфликт, большевистское руководство принимает компромиссное решение. Буденный во главе своей армии направляется на польский фронт, а Сокольников, получивший за боевые отличия орден Красного Знамени, в 1920 году отправлен в Туркестан, командовать тамошним фронтом и одновременно руководить Туркестанской комиссией ВЦИК и СНК и Туркбюро ЦК ВКП(б). То есть, по сути, с диктаторскими полномочиями.

Главной задачей Сокольникова стала борьба с движением, которое в советское время называли басмаческим (от тюркского «басмач» — налет), а сейчас в Центральной Азии — освободительным. Представитель центра быстро понимает, что только силовыми методами действовать нельзя — надо умиротворять регион путем привлечения на сторону новой власти тех, кто недоволен ею, но не решается воевать. В Туркестане в короткие сроки проходит денеж-

ная реформа — обмен в соотношении 10 к 1 временных кредитных билетов Туркестанского края (туркбон) на денежные знаки РСФСР выпуска 1919 года. Тоже не самые солидные, но все же на них можно было что-то купить, поэтому оживился товарооборот. Отменяется грабительская для сельских жителей продразверстка, которую заменяет продналог. Разрешается свободная торговля на базарах. Представителей исламского духовенства, заявивших о своей лояльности новой власти, освобождают из тюрем. Политическая ставка делается на местных молодых образованных деятелей, учившихся в русских школах и училищах, — для них революция стала шансом для быстрой карьеры.

По сути дела, в Туркестане опробовались меры, которые вскоре были реализованы в общенациональном масштабе в рамках НЭПа и позволили расширить социальную базу советской власти. Но Сокольников почти весь 1921 год был болен, лечился в Германии и поэтому в первоначальной нэповской политике не участвовал. Только в конце года он стал членом коллегии народного комиссариата финансов, а в следующем году возглавил наркомат.

Сокольникову было поручено провести денежную реформу, позволяющую стабилизировать финансовую систему, разрушенную в период Гражданской войны (рубль по сравнению с 1914 годом обесценился в 50 тысяч раз, цены выросли более чем в 97 тысяч раз). Как и в военной сфере, он привлекает к подготовке реформы старых квалифицированных специалистов, таких как бывший директор Сибирского торгового банка Тарновский, бывший товарищ министра финансов Кутлер (ставший одним из руководителей Госбанка), профессор Юровский.

В рамках реформы в СССР вводится в обращение твердая валюта — червонец, —приравненная к десятирублевой золотой монете царской чеканки и обеспеченная на 25% своей стоимости золотом, другими драгоценными металлами и иностранной валютой и на 75% — легко реализуемыми товарами и краткосрочными обязательствами. Весной 1924 года в обращение поступили казначейские билеты. Началась чеканка серебряной разменной и медной монеты. Советская Россия выходит на мировые финансовые рынки: в 1925 году червонец официально котируется на биржах

ряда стран, в том числе Австрии, Турции, Италии, Китая, Эстонии, Латвии, Литвы, а операции с ним проводились в Великобритании, Германии, Голландии, Польше, США и многих других странах.

Создается нормальная финансовая система: формируется система банковских учреждений, восстанавливаются денежные налоги, открываются сберкассы. Государство начинает кредитовать предприятия, причем в условиях рынка кредиты получают и государственные заводы, и частные торговцы. Партийные функционеры требовали прекратить кредитовать частника, но Сокольников решительно выступает против, так как частники успешно выполняют задачи, для решения которых у государства не хватает опыта и ресурсов. К внешним кредитам нарком относился осторожно, считая, что нельзя оказываться в зависимости от зарубежного капитала. Предпочтительным для него был другой путь: рост торгового обмена с границей, на основе которого «будут складываться более крепкие кредитные отношения, будут вырастать торговые и банковские кредиты». Сокольников был противником самоизоляции страны, заявляя, что «экономический и финансовый подъем Советской России возможен в короткий срок, только если она сумеет хозяйственно примкнуть к мировому рынку и опереться на широкую базу сравнительно примитивного товарного хозяйства в России». Многие его коллеги по партии были против такого курса.

Еще более острая полемика развернулась вокруг жесткой финансовой политики, сторонником которой был Сокольников. Противник нереальных хозяйственных планов и ускоренного развития промышленности с помощью инфляционных механизмов, он выступал за «медленное, постепенное и осторожное осуществление социализма на деле». Однажды он заявил, что «если у нас возле Иверской часовни на стене написано: «Религия — опиум для народа», то я бы предложил возле ВСНХ повесить вывеску: «Эмиссия — опиум для народного хозяйства». А соратник Сокольникова Кутлер выступил за преобразование государственных трестов в смешанные акционерные общества с привлечением иностранного капитала, который должен был бы заменить прямое государственное финансирование. Эту идею партийные идеологи восприняли как опасную ересь, экономист Ларин потребовал «очистить» Госбанк от Кутлера и выслать

его по крайней мере в Берлин. Партийцы аплодировали, Сокольников защищал своего подчиненного. Наказать Кутлера не успели — он умер в 1924 году.

Упомянутый Сокольниковым ВСНХ — Высший совет народного хозяйства, требовавший все больше денег, причем на нерыночной льготной основе. Денег требовали и партийные функционеры, и красные директора, и военные, и чекисты. Сокольников сопротивлялся как мог, но в 1925 году, подчиняясь политическим решениям, был вынужден уступить. Во второй половине года денежная масса увеличилась в полтора раза, начали расти цены, рос дефицит товаров, возникла угроза инфляции. В этих условиях Сокольников на XIV партийном съезде в декабре 1925-го пошел в последний бой. Он выступил за первоочередное развитие сельского хозяйства, что должно создать сырьевую и продовольственную базу для подъема промышленности. Противник знаменитого бухаринского лозунга «Обогащайтесь!», Сокольников выступал за усиление налогообложения зажиточных крестьян (что вполне естественно с учетом его роли главы финансового ведомства) и добровольное кооперирование как альтернативу коллективизации.

Сокольников не остановился на экономических инициативах. Он выступил за коллективное руководство в партии, что подразумевало отстранение Сталина от единоличной власти. Здесь он блокировался с левыми критиками будущего генералиссимуса во главе с Троцким и Зиновьевым, которые выступали за внутривнутрипартийную демократию, но при ускоренной индустриализации. Таким образом, Сокольников оказался в одиночестве: в политике он расходился со сталинистами, в экономике — с троцкистами. Шансов на успех у него не было. Наркомфин был обвинен в стремлении «к развязыванию мелкобуржуазной стихии и превращению нашей страны в аграрную колонию промышленно-капиталистических стран». В январе 1926 года он был смещен с поста наркома. Вскоре была отменена конвертируемость червонца, и уже ничего не сдерживало безудержный рост государственных расходов.

Был ли реалистичен «вариант Сокольникова»? С экономической точки зрения — да, с политической — нет. Его следствием неизбежно было бы «размывание» классового характера государст-

ва, что было неприемлемо для партийной элиты. Более того, развитие торговых связей с зарубежными странами, появление иностранных инвестиций могли бы «размыть» и непримиримое противостояние на международной арене между СССР и западными странами. Если бы СССР не сделал ставку на мобилизационную экономику и огромную армию, готовую воевать со всем капиталистическим миром, ему пришлось бы серьезно договариваться с ведущими мировыми игроками о создании коалиций.

А теперь представим, что все это происходит в стране, которой правит Сталин. Или Троцкий, или Зиновьев, или Ворошилов, или Молотов, или Пятаков (сомневающийся Бухарин реальным кандидатом на лидерство не считался). И где опору режима составляют многочисленные партийные функционеры, для которых любой «частник», исключая мелкого ремесленника или чистильщика обуви, это противник, которого можно лишь временно терпеть. Понятно, что представить это невозможно. Поэтому планы Сокольникова были обречены.

После отставки Сокольников остался в партийной номенклатуре. Некоторое время участвовал в оппозиции Сталину, но до неприимимого конфликта дела не доводил, так что из партии его исключили только после ареста. Занимал формально высокие должности (зампреда Госплана, полпреда в Великобритании, заместителя наркома иностранных дел), но влияния на политические решения больше не оказывал. Но о его старых «грехах» не забывали: в 1934 году на Московской партконференции он был подвергнут унижительному разному за «ошибки в области индустриализации». Лазарь Каганович заявил, что простая колхозница политически грамотнее «ученого» Сокольникова. В 1935 году его переводят на малозначимый пост первого заместителя наркома лесной промышленности, а в следующем году арестовывают.

Сокольников быстро сдался: он хотел спасти от ареста молодую жену, писательницу Галину Серебрякову, которую потом все равно отправили в лагерь. На процессе в 1937 году он выглядит полностью сломленным, а относительно мягкий приговор к десяти годам лишения свободы мог быть объяснен желанием Сталина показать фигурантам следующих судов, что признание может спа-

сти жизнь. В 1939-м массовая стадия репрессий заканчивается, Сокольников перестает быть нужен. 21 мая 1939 года друга Пастернака (учились вместе в Пятой гимназии) и хорошего знакомого Шостаковича, пианиста, библиофила и театрала, бывшего командарма и наркома убивают в Верхнеуральском политизоляторе сотрудники НКВД по личному приказу Сталина.

Василий Тупиков

Можно ли возражать начальнику, если понимаешь, что он неправ, что принятое им решение носит опасный, а то и губительный характер? Многие на это не решаются, даже если речь идет о благополучии фирмы, то есть о вопросе, который заведомо не грозит подчиненному какими-то чрезвычайными последствиями. Никто не убьет, даже не арестует, разве что можно потерять работу. Но и такой исход считается нередко запредельным риском, даже если подчиненный полностью уверен в своей правоте. Крах многих компаний, как в России, так и за ее пределами, связан с жесткостью иерархических структур, с печальным принципом: «Я начальник — ты дурак, ты начальник — я дурак».

А можно ли возразить не обычному начальнику, а «вождю народов», который может не только сломать твою карьеру, но и лишить жизни? Психологически это неизмеримо сложнее, но выясняется, что и такое было возможно. Как в случае со Сталиным, которому не принято было возражать, и его ближайший соратник Молотов, который для иностранцев был «Господином Нет», для Сталина выглядел «Товарищем Да». Впрочем, были случаи, когда возражали. Например, на совещании 29 июля 1941 года у Сталина начальник Генерального штаба Жуков настаивал на отводе Юго-Западного фронта за Днепр, что означало сдачу Киева. Для Сталина это было совершенно неприемлемо — и психологически, и политически. В Москве ждали представителя президента США Гарри Гопкинса, который должен был договориться о предоставлении СССР американской помощи — и в этих условиях потерять Киев, один из ключевых городов страны, было невозможно.

Сталин отказал, но Жуков не хотел уступать. Он попросил освободить его от должности начальника Генштаба и отправить на фронт. Сталин, к тому времени приказавший арестовать командование Западным фронтом, понял, что истреблять военачальников такого масштаба — значит обречь себя и страну на поражение. Он согласился перевести Жукова на должность командующего Резервным фронтом (что было наиболее разумным решением, так как к штабной работе вкуса у будущего маршала не было), но сохранить за ним ранг заместителя наркома обороны. Таким образом, Жуков, пойдя на конфликт со Сталиным, не только не был арестован, но и после первого же успеха на фронте вернул доверие подозрительного лидера страны.

Но самостоятельность и сильный характер мог проявить не только генерал армии. На рискованный поступок мог решиться и куда менее известный армейский начальник. Так в том же 1941 году поступил начальник штаба того самого Юго-Западного фронта, спасти который пытался Жуков, — генерал-майор Василий Иванович Тупиков.

В современной России принято искать знатных предков. Если их нет, можно и домыслить свою родословную, найдя дворянские корни там, где их нет. У Тупикова таких предков не было — родился Василий в 1901 году в Курске в семье рабочего-железнодорожника. На Первую мировую не успел из-за молодости, но и в Гражданской не участвовал, хотя большевикам сочувствовал. Во время боевых действий против белых учился в железнодорожном училище в Туле, затем работал в родной Курской области в путейской части. В это время Курск стал фронтовым городом: наступающие войска Деникина взяли город и двинулись дальше, их наступление захлебнулось только под Орлом — а то большевистское руководство уже подумывало о том, как в случае дальнейшего продвижения белых скрыться из Москвы.

Некоторое время под контролем белых находилась и станция Поныри, на которой работал Василий. Видимо, его верность красным в эти кризисные месяцы была отмечена, и когда линия фронта далеко отодвинулась от Курска, Тупикова направили учиться на Центральные политекурсы наркомата путей сообщения. Затем он

работал в Орле в профсоюзе железнодорожников, в 1921 году вступил в компартию и быстро возглавил отдел в райкоме. Заочно учился в Коммунистическом университете имени Свердлова. Казалось, перед молодым коммунистом открывалась неплохая карьера идеолога и пропагандиста.

Но судьба (а точнее, партия) решила иначе. В 1922 году Тупикова направили в Красную армию — вначале на инженерную должность (железнодорожное училище давало неплохую техническую подготовку), а затем и на политическую работу. В качестве политработника он прослужил несколько лет, пока не был направлен на курсы «Выстрел», где готовили командиров батальонов и полков. Красная армия нуждалась в образованных командирах, которые были бы полностью лояльны новой власти. Они постепенно заменяли царских офицеров (многие из которых были арестованы в 1930 году в ходе чекистской операции «Весна») и командиров из партизанских и полупартизанских формирований, неспособных адаптироваться к мирной жизни. Впрочем, на курсах «Выстрел» преподавали в основном старые офицеры, которых пока терпели для передачи опыта.

После окончания курсов в 1926 году Тупиков назначается командиром батальона. В 1930–1933 годах он учится в Военной академии имени Фрунзе, из которой к тому времени изгнали преподавателей, заподозренных в нелояльности советской власти. Однако уровень подготовки слушателей оставался весьма высоким — все же эта «чистка» была несравнима с разгромом военной науки в 1937–1938 годах. В последний год учебы Тупикова начальником академии стал будущий маршал Борис Шапошников, автор классического труда «Мозг армии» о службе Генерального штаба. Их судьбы, хотя и заочно, пересекутся в сентябре 41-го, за несколько дней до гибели Тупикова.

После окончания академии с отличием (как один из лучших выпускников был награжден охотничьим ружьем) Тупиков становится командиром и военкомом 1-го стрелкового Татарского полка в Казани. Это была стремительная карьера с учетом отсутствия боевого опыта. Как партиец, Тупиков соединял командную и политическую должности в своем полку и в этом качестве должен был проявить в определенном смысле дипломатические способности.

Татарский полк, входивший в состав одноименной дивизии, был национальным, что допускалось в армии, построенной по смешанному территориально-кадровому принципу. Однако в 1930-е годы было принято политическое решение перейти к армии без национальной специфики (с которой тогда связывалась недостаточная благонадежность), и поэтому в Татарский полк был направлен русский командир. Ему было важно проводить официальную линию и при этом не пережать — судя по дальнейшей карьере, это удалось.

В начале 1935 года Тупиков назначается военным атташе в Эстонии. В то время СССР считал необходимым выстраивать лояльные отношения с военачальниками стран Балтии, для того чтобы не допустить их сближения с Германией. Тупиков знакомится с ведущими военными деятелями Эстонии — начальником Генштаба генералом Резком и руководителем эстонской военной разведки полковником Маазингом. Оба эстонских военных маневрируют, стремясь «проскочить» между Германией и СССР. Тупиков готовит визит в Эстонию маршала Егорова, которого там принимают вежливо, но холодновато. И в СССР к этому были готовы: Резк обмолвился Тупинову, что не считает Егорова выдающимся военным деятелем (интересно, что в Москве примерно так же относились к самому Резку). А Тупиков направил в Москву информацию о подробностях переговоров Резка и Маазинга с немцами о том, что эстонцы хотели закупить в Германии военную технику, но стороны не сошлись в цене.

В конце пребывания Тупикова в Эстонии происходит необычная история. Весной 1937 года Маазинг пару раз доверительно рассказывает ему, что маршал Тухачевский может быть репрессирован. Один раз намеком, второй раз прямо. Тупиков знает, что в январе на очередном показательном процессе Радек упомянул фамилию Тухачевского, вроде в невинном контексте, но было ясно, что это «черная метка». Военный атташе оказывается перед выбором — информировать начальство о словах Маазинга (который, возможно с подачи немцев, явно хотел, чтобы в Кремле получили эти данные, что могло еще более ослабить позиции Тухачевского, — иначе он дважды не поднимал бы эту тему) или же подождать. Так как никакой секретной информации эстонский полковник не передал, а в нер-

вических условиях весны 37-го такой «вброс» мог только внести дополнительную смуту в руководстве Красной армии, он делает выбор — сообщает о разговорах только после смещения Тухачевского с поста первого заместителя наркома обороны, то есть когда все уже стало ясно.

Сталин выражает недовольство промедлением Тупикова, но мер в отношении него не предпринимает. Его отзывают из Эстонии, но перемещают на высокий штабной пост. За два года он трижды назначается на более высокие должности — последовательно начальника штаба корпуса, заместителя начальника и начальника штаба Харьковского военного округа. Ему присваивается звание генерал-майора. Расстрельное безумие не имело строгой логики — помочь выжить могла случайность. А может быть, дело в том, что полпред в Эстонии Устинов умер в 1937-м своей смертью, и из него уже не могли выбить ложных показаний против военного атташе.

В конце 1940-го Тупилов возвращается на дипломатическую работу, получив ключевой пост военного атташе в Германии. В СССР к тому времени уже понимали, что будет война, но главный вопрос заключался в том, когда именно. Уже во второй половине марта 1941 года Тупилов направляет в Москву обширный (более 100 страниц) доклад о состоянии германской армии с точными данными о сухопутных и военно-воздушных силах Третьего рейха. В апреле ГРУ получает от него новый документ, в котором Тупилов отмечал, что в германских планах СССР фигурирует как очередной противник, а немецкие войска на востоке (в Восточной Пруссии, Польше, Румынии) находятся в оптимальном состоянии, но долго оставаться в нем они не могут. «Сроки начала столкновения — возможно более короткие и, безусловно, в пределах текущего года», — резюмировал Тупилов. Он представил три возможных варианта действий фашистской Германии против СССР, один из которых полностью соответствовал реальному «Плану Барбаросса». 9 мая Тупилов еще раз изложил план действий немецкой армии против СССР.

Достаточна ли была эта информация, чтобы принимать решения? Лет 30 назад ответ на этот вопрос казался очевидным. Сейчас же распространена «ревизионистская» точка зрения, что информа-

ция была неполной, противоречивой, содержала ошибки, и поэтому Сталину было трудно ее использовать. Разумеется, простая схема: источники советской разведки сообщали точную дату нападения, а Сталин это проигнорировал — далека от реальности. Разные источники называли различные даты — это было во многом связано с тем, что сам Гитлер не сразу определился со сроком начала военных действий. Были и ошибки.

Однако достоверная информация отвергалась не только из-за разночтений, а потому что советское руководство принимало ее за английскую дезинформацию. Лаврентий Берия доверял своему протеже — амбициозному резиденту внешней разведки Амаяку Кобулову, брату своего друга Богдана Кобулова. Амаяк был неопытным разведчиком (в отличие от Тупикова, служившего в Эстонии), но опытным палачом, лично пытавшим заключенных. Резидент как раз и попался на дезинформацию — только не английскую, а немецкую, тщательно продуманную и соответствовавшую ожиданиям Сталина и Берии. Тем более что через Кобулова в Москву шла и реальная информация (например, о войне против Югославии, где Сталин ничего не мог изменить). А главное, источник Кобулова утверждал, что концентрация войск на востоке — это средство давления на Москву, а не реальная подготовка нападения. Единственным же врагом Германии является Англия.

Рано утром 22 июня в Москве получают последнее сообщение от Тупикова с одним словом: «Гроза» — оно означало, что война началась. Жить ему оставалось около трех месяцев. Этот период состоит из двух неравных — и принципиально разных по содержанию — этапов. Первый месяц прошел в вынужденном бездействии: интернирование вместе с другими советскими дипломатами в Берлине, обмен на немецких коллег, проходивший на советско-турецкой границе, переезд в Москву. Там его больше не называли «тупым генералом», но вряд ли в условиях стремительного наступления немецких войск это доставляло ему большое удовольствие.

Высокая оценка его заслуг выразилась в назначении начальником штаба Юго-Западного фронта. К своим обязанностям он приступил 28 июля — за день до того, как Сталин отказал Жукову в отводе войск за Днепр. Тупикова не было среди участников того

совещания, и он не мог знать, что войска фронта обречены на поражение. Вопрос был только в масштабах.

В последующие полтора месяца Тупиков делал все от него зависящее, чтобы исправить ситуацию. Хрущев в своих воспоминаниях со слов будущего маршала Ивана Баграмяна (он был начальником оперативного отдела у Тупикова) рассказывает, что начальник штаба фронта во время немецкого авианалета спокойно рассказывал по комнате, продолжая обдумывать какие-то вопросы и напевая под нос арию Ленского «Паду ли я, стрелой пронзенный, иль мимо пролетит она?». «Тактические и оперативные взгляды фашистских генералов он знал досконально. Мы в этом вскоре убедились: Тупиков лучше всех из нас умел предвидеть ход событий на фронте. И очень жаль, что к его мнению не всегда прислушивались», — эта характеристика уже из мемуаров самого Баграмяна. А заместитель Баграмяна подполковник Иван Глебов (будущий генерал-полковник) называл Тупикова решительным и умнейшим человеком.

К 13 сентября обстановка стала критической, возникла реальная угроза окружения войск фронта. Тупиков настаивал на отводе войск за Днепр, понимая, что в противном случае катастрофа неизбежна. Он обратился к командующему войсками фронта генералу Михаилу Кирпоносу, с тем чтобы подготовить совместный документ, адресованный Сталину. Командующий ответил отказом, понимая, что любое упоминание о сдаче Киева даже в этой, уже почти безнадежной ситуации вызовет гнев вождя.

Кирпонос, как и Тупиков, сделал перед войной стремительную карьеру. Кадровый командир, он почти шесть лет был начальником военного училища. Только в конце 1939 года получил должность командира дивизии. Отличившись на финской войне, стал Героем Советского Союза и в апреле 1940-го — командиром корпуса. Спустя пару месяцев вступил в командование Ленинградским, а в январе 1941-го — Киевским особым военным округом.

В сравнении Кирпоноса и Тупикова — ответ на вопрос о том, какое влияние на ситуацию в армии оказали массовые расстрелы командиров. Действительно, не все ветераны Гражданской войны, погибшие в годы репрессий, могли соответствовать задачам «войны моторов». Но среди казненных немало было и современно мысля-

ших командиров. Что же касается выдвиженцев, делавших блестящие карьеры, то среди них были как оказавшиеся на своем месте (подобно Тупикову), так и недостаточно готовые к новым должностям. Речь идет не только о Кирпоносе, но и о многих других — как командирах, так и штабных работниках. Так, на Западном фронте, войска которого были разгромлены в первые же дни войны, авторитарного командующего Дмитрия Павлова не мог уравновесить образованный, но недостаточно волевой начальник штаба Владимир Климовских.

Проблема была и в другом — в дефиците инициативы, способности принимать решения. Любой самостоятельный шаг командира мог повлечь за собой разбирательство с органами госбезопасности. В этих условиях командиры предпочитали не рисковать, ситуация стала меняться только с приобретением боевого опыта. Не решился возразить Сталину по поводу отвода войск за Днепр и наставник Тупикова по академии, опытнейший начальник Генштаба маршал Шапошников.

Вечером 13 сентября Тупилов направляет в Генштаб телеграмму с просьбой об отводе войск — за своей подписью. Завершалась телеграмма следующей фразой: «Начало понятной вам катастрофы — дело пары дней». Через пару часов Сталин перезвонил в штаб фронта и потребовал у Кирпоноса и члена Военного совета Михаила Бурмистенко ответа на вопрос об отношении к телеграмме Тупилова. Первым ответил Бурмистенко, ни имевший военного образования и сделавший успешную партийную карьеру. От своего имени и имени Кирпоноса он заявил о несогласии «с паническими настроениями Тупилова» и обещал «удерживать Киев любой ценой». Сталину этого было недостаточно — он обратился непосредственно к Кирпоносу, который подтвердил, что с Тупиловым не согласен.

Свидетель этой драматической сцены Глебов вспоминал, что в этот момент Тупилов побледнел, но сдержал себя. Тогда Сталин обратился к Тупилову с вопросом, не изменил ли он свое мнение. Ответ генерала Глебов приводит полностью: «Товарищ Сталин, я по-прежнему настаиваю на своем мнении. Войска фронта на грани катастрофы. Отвод войск на левый берег Днепра требуется начать сегодня, 14 сентября. Завтра будет поздно. План отвода войск и

дальнейших действий разработан и направлен в Генштаб. Прошу Вас, товарищ Сталин, разрешить отвод войск сегодня. У меня все».

Сталин не дал личного ответа. Он продиктовал его Шапошникову, который от своего имени назвал донесение Тупикова паническим и потребовал «неуклонно выполнять указания тов. Сталина», то есть не отступать. Положение продолжало быстро ухудшаться, и 16 сентября главнокомандующий Юго-Западным направлением (непосредственный начальник Кирпоноса) маршал Семен Тимошенко в устной форме разрешил отступать. Тупиков снова — в последний раз — стал настаивать на отходе. Кирпонос заявил, что будет ждать письменного приказа. Таковой поступил только в ночь на 18 сентября, когда время было безнадежно потеряно. Войска Юго-Западного фронта были окружены, а командование фронтом начало утрачивать контроль над обстановкой.

19 сентября при бомбежке была уничтожена единственная радиостанция штаба фронта — с этого момента Кирпонос и Тупиков уже не могли влиять ни на что, кроме вывода из окружения штабной колонны. На следующий день погиб Кирпонос, штаб фронта понес огромные потери. Командование оставшимися в живых командирами и бойцами принял на себя Тупиков, который в ночь с 20 на 21 сентября повел их на прорыв. Некоторым из них удалось выйти из окружения, но генерал Тупиков погиб, когда до спасения оставалось совсем немного — всего 150–200 метров.

Пример генерала Тупикова показывает, что даже в самой сложной и драматической ситуации у профессионала есть выбор — или продолжать отстаивать свою точку зрения, или отступить, смирившись с непреодолимыми, казалось бы, обстоятельствами. Тупикову не удалось добиться успеха: генерал-майор не смог переубедить вождя. Но он сделал все, что мог. И в дальнейшем Сталин вел себя куда осторожнее, когда надо было принимать решения, чаще учитывал мнение военных специалистов. Спасти Юго-Западный фронт Тупиков не смог, но его мужественный поступок помог сохранить многие жизни в последующие месяцы и годы.

Иероним Уборевич

Вопрос о связи предвоенных репрессий в отношении советской военной элиты и коллапса Красной армии в начале Великой Отечественной войны долгое время считался решенным. Уничтожение огромного числа опытных военачальников не могло не подорвать боеспособность советских вооруженных сил, что и показали драматические события начального этапа Великой Отечественной войны, оплаченные великой кровью. Даже те, кто оправдывал сталинские преступления, были вынуждены признавать, что здесь вождь, мол, допустил «перегибы», возлагая ответственность за них на Ежова и Берия, которые ввели в заблуждение доверчивого Сталина.

Ситуация стала меняться в 1990-е годы. Сильнейшее разочарование в перестройке, шок от распада страны, падения международного престижа новой России, закрытия заводов и научных институтов привели к широкому распространению агрессивного сталинизма. Одни бывшие инженеры, ученые и офицеры стали писать книги, другие — их существенно больше — стали прилежными читателями писаний, в которых оправдывались и Сталин, и репрессии, а несколько позже — и Берия. Логика была проста: если ненавистные им Горбачев и Ельцин проклинали Сталина, значит, это ложь, а правду скрывают от народа.

Кроме того, широко распространилась теория заговора, мнение о том, что распад СССР — это дело нескольких людей, действовавших в интересах внутренних и внешних врагов страны — то ли сознательно, то ли невольно. Опрос ВЦИОМа, проведенный в 2012 году, показал, что 45% россиян сочли, что распад СССР — это «следствие

курса Горбачева, Шеварднадзе, Яковлева на развал Союза и социалистического лагеря» (среди пожилых респондентов этот ответ доминировал — 65%). А раз так, то почему бы не предположить, что и при Сталине был заговор, только вовремя разоблаченный. А Сталин, избавляя страну от внутренних врагов, продвигал лучших и преданных «власти народа». Если и были ошибки, то их исправляли — Рокоссовского же выпустили из тюрьмы и вернули в армию.

Есть и еще две проблемы. Первая — военачальники, уничтоженные в годы репрессий, являются «чужими» для сталинистов, так как были вовремя разоблачены благодаря бдительности их кумира. Но и антикоммунисты относятся к ним негативно как к деятелям советского режима. Возникают даже своего рода «зоны консенсуса»: так, и те и другие осуждают Тухачевского за жестокость при подавлении Тамбовского восстания крестьян. Поэтому сочувствующих казненным красным командирам немного — меньше, чем поклонников Сталина или даже белых военачальников.

Вторая проблема: среди погибших военачальников было немало людей, малопригодных для «войны моторов», — они вряд ли проявили бы себя в начале войны лучше, чем Буденный или Ворошилов. Однако убийство есть убийство, идет ли речь о выдающемся полководце или же о посредственном командире. Но даже если рассуждать, выходя за морально-этические рамки, не стоит забывать, что среди репрессированных было немало людей, которые могли бы внести вклад в борьбу с фашизмом. Например, были арестованы многие преподаватели и слушатели Академии Генерального штаба — созданного незадолго до войны центра подготовки штабных офицеров высшей квалификации. И среди погибших командиров, выдвинувшихся в период Гражданской войны, было немало талантливых военачальников и военных организаторов — таких как Михаил Тухачевский, Иона Якир, Михаил Левандовский, Михаил Великанов. Поражение Тухачевского в 1920 году под Варшавой не перечеркивает его предыдущих побед на фронтах Гражданской, а его идеи о роли танков и авиации в войне ставят советского маршала в один ряд с передовыми военными теоретиками своего времени.

Но среди убитых по приказу Сталина военачальников был человек, высоко оцениваемый признанными военными авторите-

тами. Сам Сталин уже после его гибели, по воспоминаниям маршала Кирилла Мерецкова, советовал учить войска так, как было при нем, чем привел мемуариста в изумление. Этот человек — комендант 1-го ранга Иероним Петрович Уборевич.

Уборевич — по-литовски его фамилия писалась Уборявичюс — был крестьянским сыном из Ковенской губернии (ныне Утянский район на северо-востоке Литвы). В семье было 11 детей, но шестеро умерли в детстве от болезней и бедности. Иероним, родившийся в 1896 году и в детстве бывший пастушонком, рано проявил свои способности: он прекрасно учился в начальной школе, а затем выдержал экзамен и поступил в реальное училище в Двинске (ныне латвийский Даугавпилс), дававшее законченное среднее образование. В своем классе был лучшим, окончил училище с золотой медалью. Среди одноклассников отличался не только сосредоточенностью (любил читать книги — как на русском, так и на немецком языках), но и бедной одеждой. Экономя на самом насущном, родственники на первых порах помогали единственному из детей, который имел шанс выйти в люди (один из его братьев остался владельцем крестьянского хозяйства, другой стал фельдшером). Потом Иероним, давая частные уроки и экономя на всем (кроме, пожалуй, книг), отсылал деньги домой, возвращая долг.

Впрочем, он думал не только об учебе — за причастность к левому движению, ведение «вредной политической агитации» был арестован и недолго просидел в тюрьме. Но доказать ничего серьезного не удалось и юноша был отпущен. Политические взгляды не помешали Иерониму поступить на престижный механический факультет Петербургского политехнического института. Но начавшаяся война прервала учебу — Иероним, окончив ускоренный курс Константиновского артиллерийского училища, был произведен в подпоручики и отправлен на Западный фронт, а затем его дивизион перебрасывают в Румынию.

В марте 1917 года Уборевич вступает в партию большевиков — среди офицеров это было редкостью. Видимо, сказались его левые взгляды, в любом случае это решение не было конъюнктурным. В конце 1917-го — начале 1918 года он командует в Бессарабии красногвардейским отрядом, на базе которого формирует

полк. Красные воюют там против всех — румын, австрийцев, немцев. А также противостоят наиболее активной части русского офицерского корпуса, лидер которой, полковник Михаил Дроздовский, сформировал свой отряд, прорвавшийся затем с боями из Румынии на Кубань и присоединившийся там к Добровольческой армии. В этих условиях шансов на победу у красных не было. В одном из боев с немцами в районе Одессы полк Уборевича был разгромлен, а сам он был ранен и попал в плен.

Из плена он, перепилив решетку тюремного окна, бежал, добрался к себе в Литву. Но там находились немецкие оккупационные войска, и Уборевич перебирается в Советскую Россию, где вступает в Красную армию. С августа 1918-го он служит по основной специальности — в качестве инструктора артиллерии на Северном фронте. Этот участок был на периферии, но назвать его второстепенным никак нельзя. Белые войска на Севере были слабы, но в Архангельске высадились британцы и их союзники по Антанте, которые в то время рассматривали борьбу с большевиками как часть мировой войны.

Уборевич быстро получает самостоятельную должность. Он формирует гаубичную батарею и принимает командование ею, а вскоре вновь становится общевойсковым командиром, получив бригаду. Карьеры в Гражданской войне делались быстро — и столь же быстро рушились. Уборевич привлек внимание командования своей энергией и четкостью — позднее сослуживцы вспоминали, что на поставленные вопросы «он отвечал быстро, лаконично и предельно ясно. Предложения, вносимые им, были продуманны, дельны и не встречали возражений». Прежде чем воевать с противником, Уборевичу пришлось утвердить свой авторитет среди подчиненных, видевших в нем бывшего офицера. Ему удалось в короткое время создать из полупартизанского воинства дисциплинированную воинскую часть, которая смогла остановить наступление британцев на Северной Двине в направлении Котласа для соединения с белой армией. В октябре бригаде Уборевича удалось перейти в контрнаступление и не только отбить несколько населенных пунктов, но и захватить 10 орудий и склады с обмундированием и продовольствием. За это командир был награжден орденом

Красного Знамени (тогда единственным советским орденом, который давался очень редко), был вызван в Москву и получил стрелковую дивизию на другом, еще более важном участке Северного фронта — вологодском.

На Вологду вдоль железной дороги наступали войска белого генерала Евгения Миллера в союзе с теми же британцами. Зимой 1919 года дивизия Уборевича держит оборону, а весной переходит в наступление. В августе того же года после 16-часового боя взята Онега. Интересно, что Уборевич выступает в качестве сторонника укрепления военной дисциплины, в том числе на важном уровне символов: он своим приказом «временно» вводит нарукавные знаки отличия для командиров разного уровня, от отделения до полка. Однако армейское руководство отменяет этот приказ, в котором видит наследие старой армии. В будущем такие знаки будут введены во всей Красной армии — Уборевич опередил время.

И еще немаловажный момент: начальник дивизии понимает необходимость психологических методов войны. Он иногда отпускает пленных, но только иностранных. Он подчеркнуто доброжелателен по отношению к ним — взятого в плен британского военного священника лично угостил завтраком и отправил через линию фронта. Такое милосердие рационально: отпущенные пленные невольно превращаются в агитаторов, ратующих за прекращение войны с большевиками, которые выглядят вполне «джентльменами» (притом что в отношении белых и их сторонников продолжает действовать красный террор). Мировая война закончена, и правительству все сложнее объяснять подданным Его Величества, за что британские солдаты гибнут в вязких лесных боях с красными. Осенью 1919-го британцы эвакуируются из Архангельска, после чего разгром армии Миллера становится лишь вопросом времени.

Военные действия на севере завершают другие, а 23-летнего Уборевича в октябре 1919-го назначают командовать 14-й армией на юге, где складывается угрожающая для красных ситуация. Деникин наступает на Москву, руководство большевиков на всякий случай запасается фальшивыми паспортами. Но они не пригодились, в чем была заслуга и Уборевича, армия которого остановила наступление белых и сразу перешла в наступление, которое сокру-

шило войска Деникина. Активно маневрируя, бывший подпоручик побеждает генералов: в декабре были взяты Полтава и Харьков, затем проходит Донбасская операция, в ходе которой был отсечен от главных сил и разгромлен левый фланг Добровольческой армии. 14-я армия берет Екатеринослав (нынешний Днепр), Мариуполь и Бердянск, затем поворачивает на север, стремительно берет Кривой Рог и, повернув на юг, занимает Херсон и Николаев. В феврале 1920 года происходит драматическая эвакуация белых войск из Одессы, в которую победно вступает армия Уборевича. Часть белых войск не успевает погрузиться на корабли и совершает пеший марш, стремясь оторваться от красных. Одним это удается, другим нет — преследуя их, 14-я армия берет Тирасполь.

Есть точка зрения, что ключевую роль в наступлении красных сыграли военспецы — бывшие генералы и старшие офицеры русской армии, а 23-летний Уборевич, не имевший за плечами ни военной академии, ни командного опыта в мировую войну, играл чуть ли не номинальную роль. Такая точка зрения не учитывает волевых качеств и военного таланта командира, который, подобно полководцам Французской революции, в короткое время прошел путь от первого офицерского чина до фактически генеральского (хотя званий в Красной армии тогда не было). Мемуаристы отмечают подчеркнутую скромность Уборевича, через которую прорывалась сильная воля. На одном из совещаний во время борьбы с Деникиным командарм увлекся, и «его звонкий металлический голос властно звучал в зале, темпераментная речь иногда прерывалась, видны были упрямо сжатые губы».

После взятия Одессы Уборевича переводят командовать 9-й армией Кавказского фронта под начало Тухачевского. Он воюет там недолго, но успевает взять Екатеринодар и Новороссийск, откуда также происходит плохо организованная, почти паническая эвакуация белой армии. Правда, в это время белые были деморализованы и практически не оказывали сопротивления. Однако под их контролем остается Крым, где барону Врангелю удается вернуть боеспособность разгромленной армии. Но пока это происходит, Уборевич, награжденный Почетным революционным оружием (высшей наградой Красной армии) возвращается в свою 14-ю армию, где

успешно воюет против поляков. Ему везет: в отличие от Тухачевского он не участвует в последующих боях советско-польской войны, где победы сменились поражениями. В июне 1920 года, когда наступление на польском фронте еще развивалось, Уборевича перебросили на врангелевский фронт. Командуя 13-й армией, он останавливает отчаянное наступление вырвавшейся из Крыма армии Врангеля, за что получает второй орден Красного Знамени.

Весной 1921-го Уборевич вновь служит под командованием Тухачевского, на этом раз подавляя Тамбовское крестьянское восстание. Он занимается этим жестоким делом недолго, но эффективно, как всегда. Сформировав мобильные отряды на грузовиках, Уборевич руководит безжалостным уничтожением повстанцев — взятые в плен расстреливаются сотнями. Впрочем, к применению (весьма ограниченному, рассчитанному скорее на психологический эффект) химического оружия против них он непричастен. Не из гуманности, просто после разгрома основных повстанческих отрядов на Тамбовщине его перебросили заниматься тем же делом в Минскую губернию. Для Уборевича и Тухачевского восставшие крестьяне были деструктивной силой, мешающей строительству нового государства и поэтому подлежащей подавлению, как это было с пугачевцами полутора веками ранее. Их мышление немногим отличалось от взглядов екатерининского генерала графа Панина, разве что державная аргументация сменилась коммунистической. И они, разумеется, не задумывались над тем, что сами могут оказаться такой помехой для Сталина через полтора десятилетия.

В августе 1921 года Уборевича переводят в Сибирь, где он занимает ряд ключевых постов, в том числе военного министра и главнокомандующего войсками «буферной» Дальневосточной республики, которую советская власть использовала для борьбы с белыми частями, оттесненными на Дальний Восток. Уборевич проводит последнюю операцию Гражданской войны — в октябре 1922 года армия под его командованием берет Спасский укрепленный район и вступает во Владивосток. За эту операцию он получает третий орден Красного Знамени. На этом для 26-летнего командарма участие в военных действиях заканчивается.

До 1924 года Уборевич продолжает командовать армией на Дальнем Востоке. Затем служит заместителем командующего войсками Украинского военного округа, а в 1925 году его переводят командовать войсками на беспокойный Северный Кавказ, где проводились операции по разоружению местного населения, у которого со времен Гражданской войны сохранилось немалое количество оружия. В 1927–1928 годах он учится в Германии, пополняя свои военные знания. Вернувшись в СССР, пошел на повышение — командовал Московским военным округом, а в 1929–1931 годах был начальником вооружений Красной армии. С июня 1931 года командовал войсками Белорусского военного округа.

За этими строчками биографии — судьба военного профессионала. Уборевич не примыкал ни к каким оппозициям, и этим мог привлечь внимание Сталина, который после германской командировки целенаправленно продвигал его на высшие должности. Маршал Жуков вспоминал, что «Уборевич больше занимался вопросами оперативного искусства и тактикой. Он был большим знатоком и того и другого и непревзойденным воспитателем войск». По мнению маршала Ивана Конева, «Уборевич был человеком с незаурядным военным дарованием, в его лице наша армия понесла самую тяжелую потерю, ибо этот человек мог и успешно командовать фронтом, и вообще быть на одной из ведущих ролей в армии во время войны». Маршал Кирилл Мерецков, служивший под его командованием в течение пяти лет, отмечал: «Всё, сделанное Уборевичем: воспитанные, выращенные и обученные им командиры разных рангов; его методы работы; всё, что он дал нашей армии, — в совокупности не может быть охарактеризовано иначе, как оригинальная красная военная школа, плодотворная и поучительная».

И в то же время многие его не любили. Одних отпугивала строгость, о которой говорил и Жуков: «Его строгости боялись, хотя он не был ни резок, ни груб. Но он умел так быстро и так точно показать тебе и другим твои ошибки, твою неправоту в том или ином вопросе, что это держало людей в напряжении». Не каждый способен признать интеллектуальное превосходство командира, который вежливо, спокойно, но неумолимо доказывает свою правоту. Многие подчиненные отмечают человеческую теплоту Уборевича

в личном общении, но ее надо было заслужить, а многие либо не могли, либо не хотели этого делать.

Для других Уборевич выглядел политически сомнительным человеком, несмотря на крестьянское происхождение и довольно раннее вступление в партию. Его подозревали в беспринципности, «дьявольском самолюбии», бонапартизме. Уже после ареста Уборевича маршал Василий Блюхер, ставший одним из его судей, рассказывал ходивший в армии анекдот о том, что «у Уборевича на письменном столе в его кабинете налево — портрет Ленина, а направо — портрет Наполеона». Он же отмечал, что Уборевича на XVII съезде партии в 1934 году с большим трудом избрали в состав ЦК партии: многие партийные функционеры и военные деятели считали его чужим.

Уборевич был другом Тухачевского, которого тоже обвиняли в бонапартизме. Их многое объединяло — от возраста до глубокого интереса к современным техническим нововведениям. Они вместе выступали за активное развитие военной авиации, хотя и не всегда были едины во мнениях по другим вопросам: так, артиллерист Уборевич отдавал предпочтение пушкам, а Тухачевский — танкам (хотя Уборевич не отрицал и роли танков в будущей войне и сыграл немалую роль в продвижении на начальной стадии проекта знаменитого Т-34). Будучи начальником вооружений Красной армии, Уборевич отдавал предпочтение более умеренным планам военного развития, выступая за тесное сотрудничество с Германией, тогда как Тухачевский делал ставку на автаркию и милитаризацию экономики, что требовало куда большей мобилизации ресурсов страны. Уборевич не мог выполнять планы любой ценой и сам запро-сил обратно в войска, командовать округом.

Аристократ и мечтатель Тухачевский часто увлекался; крестьянский сын с математическим умом Уборевич прочно стоял на земле. Но они хорошо дополняли друг друга и оба были нужны армии. И еще: они были едины во мнении, что маршал Ворошилов и его окружение не соответствуют задачам, стоящим перед армией, не могут подготовить страну к будущей войне, — и не скрывали этого. Это сыграло роковую роль в их судьбе: Сталин, утвердившись у власти, не терпел малейшей нелояльности.

Уборевич был арестован 29 мая 1937 года, вскоре после Тухачевского. На следующий день его допросили — он отрицал все обвинения. После было разрешено применить к нему «физические меры воздействия», и Уборевич подписал протокол допроса. На суде он признал свою вину, хотя и отрицая самое нелепое и оскорбительное обвинение в шпионаже. Почему он сломался? Обычными в такой ситуации были не только избиение, но и шантаж, угрозы расправиться с семьей (жена была арестована, дочь отправлена в детский дом). Был и «пряник», демонстрация судьбы Радека и Сокольникова, которых на прошедшем за несколько месяцев до этого процессе оставили в живых.

Но, возможно, было и другое: ощущение интеллектуала, что государство, которому он служил, предало его, что побеждают люди, ведущие армию к катастрофе. Он знал своих судей — Буденного, Блюхера, Дыбенко, считавших его высокомерным интеллигентом, что для этих героев Гражданской войны было ругательным словом. Видел комкора Горячева, который начинал свои письма к нему словами «Дорогой и любимый Иероним Петрович!», а на процессе выглядел суровым судьей. Уборевич видел дикий иррационализм происходящего и не стал сопротивляться неизбежному.

Леонид Флорентьев

Существовавшую в СССР управленческую систему часто называют командно-административной. И смысл в этом есть. Действительно, в ее рамках существовала жесткая вертикаль, когда приказы, поступающие сверху, надо было исполнять беспрекословно. И выборность руководителей обкомов КПСС (реальных глав своих регионов — председатели облисполкомов были хозяйственниками, пусть и высокого ранга) была сугубо формальной. На пленумах обкомов утверждались кандидатуры, подобранные в ЦК КПСС. Существовал партийный новояз — формулировка «есть мнение» (если она относилась к вышестоящей инстанции) означала не совет или приглашение к дискуссии, а приказ.

Добавим к этому известные сталинские формулировки о партии как ордене меченосцев и о советских людях как винтиках государственного механизма. Сейчас нередко обращают внимание на то, что в своем тосте о людях-«винтиках» Сталин комплиментарно о них отозвался — мол, они держат нас (начальство) как «основание держит вершину». Но в любом случае сравнение человека с винтиком предусматривает, что тот должен бесперебойно работать и быть послушной частью единой машины. Возможность неконформистского поведения в рамках такой машины исключалась. После смерти Сталина степень жесткости системы снизилась, но принципы ее функционирования в целом сохранились.

Поэтому вполне естественно, что представители этой системы часто воспринимались и воспринимаются сейчас как похожие до степени смешения. Хотя, разумеется, это было не так. В рамках жесткой системы свою индивидуальность проявлять было сложно,

но не невозможно. И к выполнению приказов, особенно после смерти Сталина, в эпоху смягчения нравов, можно было подходить по-разному. Одни администраторы делали все, чтобы заслужить одобрение высшего начальства, другие, тоже не отказываясь от продвижения по службе, старались поступать разумно, действуя в интересах людей, работавших под их началом. И надо сказать, что вторая, более человечная, стратегия могла оказываться успешной и с сугубо прагматической точки зрения. Примером может служить судьба Леонида Яковлевича Флорентьева, занимавшего ряд высоких партийных и государственных постов, включая руководство Костромским обкомом КПСС и Министерством сельского хозяйства РСФСР.

Когда на 2011 год пришлось 100-летие со дня рождения Флорентьева, его отмечали не только в Москве и Костроме, что было естественно (бывший первый секретарь уже в постсоветское время стал почетным гражданином области). О нем вспоминали и в Ульяновске, где он был председателем облисполкома, и на Алтае, где Флорентьев занимал ряд должностей, в том числе второго секретаря обкома. Если в Костроме он проработал почти десятилетие, то в этих регионах — совсем немного (соответственно в 1947–1948 и 1954–1956 годах). А ведь люди его запомнили, причем с лучшей стороны — такое случается нечасто и свидетельствует о незаурядности личности.

Необычность биографии Флорентьева для партийного работника в том, что почти все тридцатые годы он был преподавателем, причем не общественных (что было нередким для будущих идеологических секретарей), а аграрных дисциплин. Пожалуй, из высшего партийного руководства лишь секретарь ЦК Аверкий Аристов, преподававший литейное дело в Уральском индустриальном институте, был также представителем генерации молодых советских педагогов (инженеров и аграриев) пошедших в партийный аппарат. Их часто старались не подпускать к высшим партийным должностям, несмотря на обычно «правильное» социальное происхождение (Флорентьев был сыном рабочего, в детстве работал в деревне в крестьянском хозяйстве). Считалось, что партийный работник должен иметь опыт непосредственного общения с рабочим классом, про-

изводственный стаж, часто работы в партаппарате, начиная с нижних ступенек, а педагогическая работа его заменить не может.

Преподавателей-коммунистов выдвигали, как тогда говорили, на советскую работу, не связанную с принятием ключевых политических решений, например на дипломатическую. Молодой директор текстильного института Алексей Шкварцев после заключения пакта «Молотова–Риббентропа» в условиях, когда большинство опытных дипломатов были расстреляны или сидели, был направлен полпредом в Германию, но быстро отозван: не справился. А вот декан филологического факультета Киевского университета Владимир Бочкарев отличился больше: будучи полпредом в Эстонии, стал одним из руководителей процесса поглощения этой страны Советским Союзом (видимо, помогла непродолжительная работа в НКВД) и погиб при эвакуации из Таллина в августе 1941 года. Разумеется, партийных интеллектуалов часто привлекали на идеологическую работу в широком смысле этого слова (аппарат ЦК партии, ведущие партийные газеты и журналы, партшколы, сфера культуры), но, несмотря на всю значимость идеологии для компартии, их все же воспринимали как «людей слова», а не крепких практических работников.

В 1939 году, на исходе периода массовых репрессий, 28-летний Флорентьев возглавлял кафедру в Высшей коммунистической сельскохозяйственной школе в Йошкар-Оле. С этой должности он был, как тогда говорили, выдвинут на советскую работу в качестве заместителя наркома, а вскоре и наркома земледелия Марийской АССР. В военные годы республика дала фронту более 350 тыс. тонн хлеба, 64 тыс. тонн картофеля, 2 тыс. тонн мяса, много масла, овощей, шерсти, льна. И это в условиях, когда большинство мужчин ушли на фронт, а все виды сельскохозяйственных работ выполняли женщины. К тому же республика приняла истощенный скот, который перегнали из Смоленской области перед ее оккупацией. Пришлось создать для него 140 новых ферм, и это тоже в условиях отсутствия мужской силы. Под руководством Флорентьева удалось перестроить сельское хозяйство республики в военных условиях и выполнить поставленные планы. В 1943 году он становится куратором аграрной сферы Марийской АССР в должности секретаря обкома — это

был самый трудный год для сельского хозяйства республики, где в колхозах осталось только 60% работников, ощущался сильнейший дефицит семенного фонда. На пределе возможностей, организовав почин (официально, разумеется, добровольный) по передаче семян из личных запасов колхозников в общий семенной фонд, удалось выполнить план и на этот раз.

Способность Флорентьева работать в чрезвычайной ситуации заметили и оценили. В следующем году он был переведен в более крупный регион — Куйбышевскую область — в качестве начальника областного земельного отдела, а затем первого заместителя облисполкома по сельскому хозяйству. В 1947 году карьера Флорентьева получает новый импульс — он возглавляет Ульяновский облисполком. За короткий срок ему удалось добиться многого: впервые за многие годы досрочно выполнен годовой план хлебозаготовок, план поставок государству картофеля.

Особое внимание он уделял тому, чтобы все дети в области могли посещать школу. Для этого малоимущим семьям оказывалась помощь для покупки сколько-нибудь приличной одежды, а детей из дальних сел стали организованно подвозить к школам. Официальный фасад сталинского государства, который демонстрировали в советских художественных фильмах, скрывал за собой бедность большинства населения, и далеко не все партийные и советские работники считали необходимым всерьез заниматься социальными проблемами. Флорентьев отличался от них стремлением реально им помочь, причем в короткие сроки. Логика понятна: война закончилась — значит, надо переходить к мирной жизни.

В следующем году Флорентьев становится заместителем начальника Главного управления полезационного лесоразведения при Совете Министров СССР. Это ведомство должно было заниматься реализацией сталинского плана преобразования природы, основанного на крайне спорных идеях академика Вильямса: Сталина в конце жизни тянуло к простым и масштабным решениям. Но уже в 1949 году карьера Флорентьева ломается — его снимают с ответственной работы и отправляют на скромную должность старшего научного сотрудника ВНИИ удобрений, агротехники и агропочвоведения.

Такие крутые повороты не были исключением для позднесталинского времени — Флорентьеву еще повезло, причем вдвойне. Во-первых, он остался в партии и на свободе, то есть не разделил судьбу жертв «Ленинградского дела» и других аналогичных процессов. Во-вторых, пригодился научный и преподавательский опыт, позволивший ему получить неплохую по тем временам работу. Через некоторое время он становится руководителем отдела экономики в том же институте.

После смерти Сталина Флорентьев снова оказывается востребован. Тем более что уже через полгода после кончины вождя народов прошел пленум ЦК КПСС, на котором деревня получила существенные послабления, — и стали требоваться администраторы, которые умели не только добиваться результата любой ценой, но и работать с людьми. Партия и государство решили поднимать целину, и Флорентьева как опытного хозяйственника в 1954 году направляют в Алтайский край поднимать целинные земли. Там он последовательно занимает руководящие посты (в том числе второго секретаря обкома — наконец становится партийным функционером), а уже в 1956-м переводится в Костромскую область на должность первого секретаря обкома КПСС.

На этом посту Флорентьев находился до 1965 года, то есть почти все хрущевское время. В Кострому его послали фактически в качестве антикризисного менеджера: область считалась отстающей. За время работы Флорентьева урожайность зерновых в области удалось повысить в 3 раза, картофеля — более чем в 2 раза, поголовье коров удвоилось, производство молока и мяса увеличились в 2–2,5 раза. Причем этих результатов удалось достичь в основном без чрезвычайщины и перенапряжения сил — военное время, когда это было необходимо, давно прошло.

Чрезвычайщина все же проявилась, хотя и ненадолго и не по вине Флорентьева. Дело было в конкуренции Рязанской и Костромской областей, которую всячески стимулировал центр. Хрущев поставил тогда цель догнать и перегнать Америку по производству мяса и молока, и ему нужен был образцовый, пилотный, как сейчас говорят, регион, на который ориентировались бы все остальные. Таким регионом стала Рязанская область. Можно спо-

речь о том, кто больше виноват в этой драматической истории — Хрущев, давивший на местных начальников с тем, чтобы они сотворили ему чудо, или опытный и амбициозный первый секретарь Рязанского обкома партии Алексей Ларионов, рассчитывавший отличиться, беспрекословно и первым выполнив пожелания центра. Но факт остается фактом: катастрофа произошла.

Можно сравнить судьбы Флорентьева и Ларионова. Оба поднялись в конце 1930-х, когда Сталину нужны были новые кадры. Но Ларионов не только на четыре года старше Флорентьева, но и продвигался по служебной лестнице существенно быстрее. Уже в 1942 году он стал первым секретарем Ярославского обкома партии. В войну отличился, жестко руководя экономикой области, мобилизованной для скорейшего решения оборонных задач. На него обратили внимание в Москве, наградив орденом Ленина и тремя орденами Трудового Красного Знамени — для партийного руководителя тылового региона отличия высочайшие. Да еще при этом Ларионов сумел открыть три новых вуза и построить набережную реки Которосли, впадающей в Волгу в центре Ярославля.

На Ларионова обратили внимание в центральном руководстве и в 1946-м перевели в Москву заведующим отделом в Управлении кадров ЦК. Через два года вернули на периферию — в Рязанскую область, которой он бесценно руководил до самой смерти. На последнем сталинском, XIX съезде партии в октябре 1952-го избрали в состав ЦК. Рязанью Ларионов управлял жестко и авторитарно, как и Ярославлем. Много строил, превратил Рязань в промышленный центр, так что в городе его вспоминают до сих пор не с худшей стороны, в нулевые годы на доме, где он жил, открыли мемориальную доску. Умел, что называется, «преподнести товар лицом», поэтому в Москве был на хорошем счету как человек, которому можно было поручить любое дело — справится. Другой вопрос, какой ценой, но это мало кого из начальства интересовало. На фоне Ларионова Флорентьев выглядел куда скромнее — и амбиций меньше, и достижения не столь внушительные. Просто хороший управленец, не умеющий творить чудес.

В 1959 году имя Ларионова прогремело на всю страну: Рязанская область за один год выполнила три годовых плана по мя-

су. Область была награждена орденом Ленина, а первый секретарь стал Героем Социалистического Труда (такую награду Флорентьев так никогда и не получил).

На этом фоне результаты костромичей выглядели куда скромнее. Но и костромской секретарь далеко не всегда мог сопротивляться усиливающемуся давлению со стороны центра. В 1960 году область обязалась выполнить два плана, но после того, как Ларионов обещал в том же году добиться выполнения четырех планов (типичное «планирование от достигнутого»), задание пришлось пересматривать. Под давлением центра Флорентьев был вынужден согласиться на новую, абсолютно нереалистичную задачу — выполнение трех планов.

Путем тяжелейших усилий удалось выполнить два плана, но третий без полного разорения области был абсолютно нереален. Флорентьева спасло отсутствие излишней инициативы с его стороны: к тому моменту, как московские начальники стали требовать от него выполнения третьего годового плана, выяснилось, что рязанский рекорд 1959 года был аферой. Результата удалось достичь благодаря серии манипуляций — от отправки под нож приплода скота за год и большей части молочного стада, а также скота, принадлежавшего колхозникам (его отбирали, выдавая взамен расписки), до закупок мяса в соседних областях. В 1960-м ресурсы исчерпались, выяснилось, что разоренная Рязанщина не может выполнить даже один обычный годовой план, — и Ларионов покончил с собой в ожидании неминуемого смещения с должности, лишения регалий и исключения из партии. Безумное соревнование между областями тут же свернули, Костромская область отделалась малыми потерями.

В последующем Флорентьев насколько мог сопротивлялся очередным указаниям из центра. Например, Хрущев хотел перенести Костромской сельскохозяйственный институт в Сибирь (мол, ученые в городе оторвались от земли), но Флорентьев предложил другой вариант: разместить его рядом с Костромой, в госплемзаводе «Каравачево». Хрущеву эта идея понравилась — его пожелание приблизить институт к практике выполнялось, и аграрный вуз остался в области, для него был выстроен современный по тем временам городок. Более того, освободившиеся здания в Костроме были

отданы педагогическому институту, что позволило улучшить его работу.

Хрущев требовал без учета местной специфики увеличивать посевы кукурузы. Флорентьев не возражал, но и не требовал от своих подчиненных ставить рекорды. Кто-то из местных аграриев просто игнорировал указания из Москвы, кто-то имитировал бурную деятельность. В результате удалось отбиться. Неудивительно, что смещение Хрущева Флорентьев воспринял весьма положительно.

Меньше чем через полгода после этого, в марте 1965 года, он выступил на пленуме ЦК КПСС с речью, в которой выразил крестьянские интересы. Это было время, когда на партийных пленумах еще были возможны реальные дискуссии, которые уже в следующем десятилетии, после напугавшей советское политбюро Пражской весны 1968-го, были заменены на парадные отчеты с упоминанием отдельных недостатков и славословиями дорогому Леониду Ильичу. В 1965-м казалось, что у системы еще есть ресурс для перемен. Еще шли споры по поводу того, какими должны быть эти перемены.

С минимумом необходимой официальной риторики Флорентьев сформулировал целую программу спасения села после непродуманных хрущевских экспериментов. Коренным вопросом подъема сельского хозяйства костромской секретарь назвал повышение материальной заинтересованности крестьян, которое стало главной темой его речи. Главная идея: «система государственных закупок продуктов должна быть построена не на методах административного принуждения, а на правильном применении экономических законов социализма, на материальной заинтересованности колхозов и колхозников». Фактически это означало ревизию всей аграрной политики, проводившейся и при Сталине, и в большую часть правления Хрущева (Флорентьев не отрицал правильности идей пленума 1953 года, но считал, что они были нарушены в практической деятельности Хрущева). Для обоснования своей позиции Флорентьев ссылается на Ленина, разумеется нэповского времени (благо в трудах основателя СССР можно было найти рецепты на любой вкус).

Далее Флорентьев предложил «ввести в методику планирования колхозного производства категорию прибыли, сделать рента-

бельность важнейшим критерием правильности планов закупок». По сути, это был вызов ортодоксам, считающим, что при социализме нет места прибыли — как сугубо капиталистическому, коммерческому явлению. И стремление встроить аграрную политику в общий контекст экономической реформы, которую тогда начинал премьер Алексей Косыгин.

И еще одна важная мысль Флорентьева: государственные вложения в сельское хозяйство будут максимально эффективны только в том случае, «если вместе с ростом производства соответственно и ежегодно будут расти не только общественные доходы, но и доходы тружеников села, идущие на их личное потребление, на повышение их личного уровня жизни». Это не импровизация, а продуманная позиция, восходящая еще ко времени его руководства Ульяновским облисполкомом. Только тогда Флорентьев стремился помочь беднейшим крестьянам и их детям, а сейчас, куда в более спокойной ситуации, чем в первые послевоенные годы, речь шла уже о выработке новой государственной политики.

Вскоре после пленума Флорентьев покинул Костромскую область, оставив о себе хорошую память — не только из-за его аграрной деятельности, но и в связи с другими его делами. Он добился того, чтобы строящаяся железнодорожная ветка прошла вдалеке от усадьбы Александра Островского «Щельково», где похоронен драматург. Флорентьев организовал переселение семей костромичей из бывшего Ипатьевского монастыря, где была начата реставрация, а затем создан музей. Это была лучшая участь для монастыря, которая была возможна при советской власти, — неудивительно, что незадолго до своей смерти Флорентьев получил медаль от патриарха Алексия II. Все время работы в Костроме он жил в старом деревянном одноэтажном доме, а на работу ходил пешком.

Переехав в Москву в 1965 году, Флорентьев в течение 18 лет — вплоть до ухода на пенсию — работал министром сельского хозяйства РСФСР. В этом качестве ему удалось сделать многое. В колхозах была введена денежная оплата труда, произошел пересмотр политики Хрущева, связанной с принудительными посевами кукурузы, ликвидацией приусадебных участков. Реально улучшился быт крестьян. Существенно увеличилось производство зерна, мяса,

молока, яиц, овощей и фруктов. Флорентьев не мог повлиять на общую экономическую ситуацию, которая постепенно деградировала, но зависела от большого количества факторов, находившихся вне компетенции республиканского министра. Но на своем посту он работал добросовестно и делал для отрасли и людей все, что было в его силах, как и во все предыдущие годы. Неудивительно, что на склоне лет (а умер он в 2003 году) его уважительно называли патриархом российского земледелия.

Александр Хвостов

И через сто лет после падения в России самодержавия не утихают дискуссии о причинах конца императорской власти. Основная претензия к Николаю II со стороны многих современных самодельных монархистов (некогда дисциплинированных комсомольцев) — не расстрел демонстрации 9 января 1905 года, это для них как раз пример твердости. И не фигура Распутина — для них он оклеветанный масонами друг государев. А отречение от престола, вместо того чтобы собрать верных соратников и навести порядок железной рукой. Рецепт спасения отечества, с точки зрения многих современных россиян, прост — быть жестким до жестокости и непреклонно крушить реальных и потенциальных врагов без какой-либо рефлексии. То, что даже батальон георгиевских кавалеров — элита армии, отказался поддерживать царя, в расчет не принимается.

И все же вопрос о том, был ли шанс выжить у российской монархии, является вполне закономерным. В очерке об Александре Васильевиче Кривошеине уже говорилось о неспособности власти найти компромисс с общественностью, с парламентом, избранным по выгодному для монархии избирательному закону, обеспечивавшему преобладание умеренных сил. Но не меньшую, а возможно, и большую, роль играл другой фактор. В период модерна резко уменьшилась харизма монархии как таковой: не только высокообразованные, но и просто грамотные люди уже не верили в божественное происхождение царской (королевской, императорской) власти. А количество грамотных росло, потому что армиям были необходимы солдаты, умеющие не только ходить в отчаянные штыковые атаки, но и пользоваться новейшими для того времени винтовками.

Задачи технологической модернизации противоречили привычным, но ставшим архаичными способам легитимации власти.

А раз так, то на первый план стали выходить личностные качества монарха как лидера страны. Можно много и справедливо говорить об упущенных возможностях в царствование Александра III, когда попытка «подморозить» общество противоречила технологической модернизации. Но нельзя отрицать, что личная харизма «царя-богатыря» сыграла огромную роль в укреплении режима. Можно привести и пример с «королем-рыцарем» Альбертом I, который смог объединить бельгийцев для противостояния агрессии во время Первой мировой войны. И нельзя забывать, что слабость Николая II заключалась не в недостаточной решительности в борьбе с революцией, а в неспособности обеспечить авторитет власти, не дать повода к ее дискредитации. Более того, те представители царского окружения, которые добросовестно стремились защитить государя и государство, оказывались невостребованными.

Среди них был Александр Алексеевич Хвостов, входивший в два последних правительства царской России — сначала в качестве министра юстиции, а затем — министра внутренних дел. Это был единственный глава царского МВД периода Первой мировой войны, который не был расстрелян большевиками. Не из-за того, что вел «двойную игру» — этого он не допускал, будучи верным слугой своего монарха. И не из-за слабости или нерешительности. Просто Хвостов был настолько честным и чистым человеком, что ему нельзя было предъявить никаких реальных обвинений. А до того времени, когда советскую власть перестала интересовать реальность и начались массовые фальсификации дел в отношении «врагов народа», он не дожил.

Александр Хвостов был выходцем из древнего дворянского рода, происходившего, согласно официальному родословию, по прямой линии от Петра Босоволкова, соратника Ивана Калиты. Как это часто бывало, этого Босоволкова считали потомком некоего маркграфа Аманда Бассавола из Священной Римской империи, что повышало статус рода в российской элите, но эта версия, мягко говоря, сомнительна. Хотя исследователи-генеалоги и нашли владевший землями в современной Италии норманнский род

Бассавилов, одним из родственников которого был человек по имени Арманд (Аманд), правда, живший намного раньше гипотетического предка Хвостовых. От европейской легенды (или истории) остался одноглавый орел в гербе дворян Хвостовых.

Сыном Петра считался Алексей Хвост, боярин Ивана II (отца Дмитрия Донского) и московский тысяцкий (командир городского ополчения), убитый при загадочных обстоятельствах — подозревали заговор конкурентов — в 1357 году. От него и пошла фамилия дворян Хвостовых, среди которых было немало воинов, служивших московским князьям и царям. Отец Александра Алексеевича, Алексей Николаевич, хотя и окончил с медалью Александровский лицей, но большой карьеры не сделал, несмотря на престижный придворный чин камергера. Был орловским помещиком, имел гражданский чин коллежского советника (соответствовал полковнику), являлся уездным предводителем дворянства, участвовавшим в проведении крестьянской реформы. Зато карьеры на гражданской службе четверых его сыновей, Николая, Сергея, Александра и Алексея, можно назвать блестящими, причем, несмотря на отца-реформатора, все они были консерваторами.

Двое из них, Сергей и Алексей, стали губернаторами. Судьба второго по возрасту сына, Сергея Алексеевича, была драматичной: консервативный земец, возглавлявший два срока орловскую губернскую земскую управу, он был привлечен на государственную службу — сначала владимирским вице-губернатором, а затем пензенским губернатором. В Пензе в 1906 году развернулась настоящая гражданская война: вначале террористы убили командира расквартированной в городе дивизии, приняв его по ошибке за полицмейстера. Меньше чем через месяц застрелили и полицмейстера. Губернатор, подавлявший революцию, оказался практически в осаде в своей резиденции. Продержавшись так полгода, он запросил перевода — и его назначили членом совета министра внутренних дел, в своего рода кадровый резерв (а преемник Хвостова, решившийся посещать людные места, через полгода был убит в пензенском театре). Прибыв в Петербург, он решил поправить расшатанные нервы за границей, но перед этим поблагодарить премьера Петра Столыпина за внимание к его судьбе. Явившись к нему на прием, Сергей Хвостов стал

одной из многочисленных жертв террористов, покушавшихся на Столыпина и взорвавших премьерскую дачу.

Судьба младшего брата, Алексея Алексеевича, сложилась более счастливо — он прожил 80 лет и умер в эмиграции, пережив всех своих братьев. Но и он оказался на переднем краю борьбы с революцией. Его служебная карьера напоминала жизненный путь брата: долгое время он занимался сельским хозяйством в Орловской губернии, на государственной службе был вице-губернатором в Пскове и Воронеже, а затем губернатором в Чернигове. За борьбу с революцией на него покушались эсеры — в результате взрыва бомбы Алексей Хвостов был ранен, лишился слуха и частично зрения. На этом его активная карьера завершилась; он был назначен сенатором в департамент герольдии, ведавшим спокойным делом составления дворянских гербов.

Двое других сыновей, Александр и Николай, стали видными юристами. Старший брат, Николай Алексеевич, служил по судебному ведомству, в молодости занимался общественной деятельностью в орловском земстве, но затем сосредоточился на службе в Сенате и министерстве юстиции. Долгое время руководил канцелярией Минюста, а затем стал сенатором. В 1908 году был назначен членом Государственного совета — как консервативный юрист, он оказался там полезен для власти.

Николай Хвостов умер в 1913-м, не увидев ни высшего карьерного взлета, ни стремительного падения своего сына Алексея (полного тезки своего деда), который отличался от своих солидных дядьев авантюризмом и полной беспринципностью. Начав карьеру в прокуратуре, он перешел в МВД, поднялся на борьбе с революцией и пламенной реакции и уже в 34 года стал одним из самых молодых губернаторов. Возглавлял Вологодскую, а затем Нижегородскую губернии, а в 1911 году, не достигнув даже сорока лет, стал царским кандидатом на пост министра внутренних дел вместо убитого Столыпина. Но тут возмущился новоназначенный премьер Владимир Коковцов, сказав, что Хвостова «никто в России не уважает». Царь был вынужден отступить, но о молодом Хвостове не забыли, несмотря на то что тот после скандала в Нижнем Новгороде, связанного с нецелесообразным расхода-

нием казенных денег, был вынужден уйти с госслужбы и избраться в Государственную думу от Орловской губернии, где у семьи Хвостовых были прочные корни. В сентябре 1915 года при поддержке императрицы Алексей Николаевич Хвостов-младший, демонстрировавший свою лояльность Распутину, становится министром внутренних дел, но занимает этот пост меньше полугода. Поссорившись с Распутиным, он не нашел ничего лучшего, как устроить заговор для убийства «старца», но действовал столь глупо, что был разоблачен и выгнан с должности. Жандармский генерал Спиридович, профессионал в своем деле, с презрением писал о младшем Хвостове: «Казалось, что этот упитанный, розовый с задорными веселыми глазами толстяк был не министр, а какой то бандит с большой дороги».

Дядя же Хвостова-младшего, Александр Алексеевич Хвостов, третий брат в семье, человек прямо противоположных нравственных качеств, родился 8 января 1857 года. Был человеком верующим, в сознательном возрасте каждый день читал Евангелие. После окончания Александровского лицея недолго служил в Государственной канцелярии, затем перешел в прокуратуру, был товарищем прокурора Саратовского окружного суда. Единственным примечательным — и имевшим долгосрочные последствия — эпизодом деятельности Александра Хвостова в этот период стало участие на младшей должности в ревизии сенатором Иваном Шамшиным Самарской и Саратовской губерний. За это молодой человек получил высочайшее благоволение, но что еще более важно, обратил на себя внимание делавшего тогда не очень стремительную, но надежную и уверенную бюрократическую карьеру Ивана Логгиновича Горемыкина — образцового чиновника империи, законника и консерватора, каким был и Хвостов.

В 1885 году Хвостов начал службу в министерстве юстиции, где прослужил почти 10 лет, причем успешно: вначале был редактором, потом управлял законодательным отделением и завершил службу в ведомстве на престижной должности юрисконсульта под началом товарища министра Горемыкина. В 1895 году Горемыкин становится министром внутренних дел, а Хвостов возглавляет его канцелярию. Но и после ухода в 1899 году Горемыкина, при новом

главе МВД Дмитрии Сипягине, Хвостов оказывается востребован, возглавляя хозяйственный департамент министерства. Но его тянет к юридической деятельности, и амбициозный министр юстиции Николай Муравьев, ценивший квалифицированных подчиненных, предлагает ему вернуться в Минюст на третью по значению в министерстве должность директора первого департамента, ведавшего общими вопросами управления судебной системой и ведомственным надзором за производством судебных дел.

В январе 1905 года Муравьев с удовольствием отбывает из бурлящей России послом в теплую Италию, министром юстиции становится Сергей Манухин, не столь яркий, как его предшественник, но куда более принципиальный и уважительно относившийся к закону. Хвостова он знал хорошо: они дружили, вместе работали в Минюсте еще до Муравьева, а при Муравьеве Манухин был предшественником Хвостова на посту директора департамента, откуда ушел в товарищи министра. Теперь же Хвостов занял освободившийся пост замминистра. После смещения осенью 1905 года оказавшегося, по мнению царя, слишком либеральным Манухина Хвостов сохранил свою должность и при следующем министре, консерваторе Михаиле Акимове. И Манухин, и Акимов ценили его как строгого сторонника соблюдения закона. Весной 1906 года, когда Минюст возглавил прокурор Иван Щегловитов, считавший, что с революцией надо бороться любыми возможными средствами, Хвостов перешел на должность сенатора, а через шесть лет стал еще и членом Государственного совета.

Летом 1915 года царь под давлением умеренно-либеральной части правительства и общественного мнения принимает вынужденное и очень неприятное для него решение уволить четырех реакционных министров, включая Щегловитова. Кандидатуры трех новых членов правительства предложил Кривошеин, лидер министров, желавших договориться с Думой. Но его кандидат на Минюст оказался слишком либеральным — и пожилой, 76-летний, премьер-министр Горемыкин назвал фамилию давно и хорошо известного ему Хвостова. Царь согласился с премьером. По словам министра финансов Петра Барка, Хвостов «пользовался отличной репутацией честного, беспристрастного государственного деятеля». Министр

торговли и промышленности князь Всеволод Шаховский считал выбор Горемыкина «чрезвычайно удачным», а самого Хвостова — «достойным». А их антагонист, левый адвокат Александр Демьянов, будущий товарищ министра юстиции Временного правительства, считал Хвостова честным бюрократом и добавлял: «Как умный и честный человек, он хорошо понимал, что юстиция на щегловитовском лакейском режиме держаться не может». Хвостов остается министром юстиции как в правительстве Горемыкина, так и в кабинете сменившего его Бориса Штюрмера, занимая свой пост в течение года — с июля 1915-го по июль 1916-го.

Возглавив министерство, Хвостов не обманывает ожиданий Горемыкина. Когда большинство министров высказались против занятия царем поста верховного главнокомандующего, он вместе с Горемыкиным решительно возражает против вмешательства членов правительства в царские дела. И заявляет, что для него вопрос о существовании и объеме власти монарха «разрешен с момента присяги». Угроза ряда министров коллективной отставкой была для него полностью неприемлема. А когда его обиженный смещением с поста министра внутренних дел племянник сообщил ему, что собирается на следующих думских выборах примкнуть к оппозиции, Хвостов-старший прямо назвал это изменой.

В то же время в вопросе о приеме евреев в число адвокатов Хвостов демонстрировал широту мышления: он разрешает принять более 70 кандидатов-евреев, которых упорно не допускал реакционер Щегловитов. По его инициативе разрабатываются правила, облегчающие национальным меньшинствам доступ в адвокатуру.

Что касается Распутина, лоббировавшего интересы одной дамы, добивавшейся перевода своего мужа-нотариуса из Ялуторовска в Москву, то Хвостов принял «старца» по этому вопросу в порядке общей очереди, выслушал и объяснил, что назначение нотариусов не входит в компетенцию министра. Аргумент Распутина о том, что в деле заинтересована императрица, не произвел на министра никакого впечатления. Распутин был недоволен, но уходя все же произнес: «Спаси вас Господь!» — видимо, испытав уважение к министру, отказавшемуся лебезить перед ним. Насколько можно судить, «старец» не предпринимал попыток добиться смещения Хвостова.

А сам министр позднее вспоминал, что людям, говорившим о всемогуществе Распутина, он приводил свой пример, «потому что раз я состою в должности министра и так к нему отношусь, то это является доказательством обратного».

Добился Хвостов и отставки председателя кутаисского суда Федорова, брата царского лейб-медика. Царь склонялся к тому, чтобы оставить проштрафившегося судью на своем посту до окончания войны, о чем просил его лейб-медик. Хвостов лично поговорил с государевым врачом и объяснил ему, что судья, незаконно выписывавший себе деньги за несуществующие командировки и телеграммы частного характера, не может оставаться на своем посту. Тогда братья сдались — Федоров-судья написал прошение об отставке.

Но вскоре и сам Хвостов должен был покинуть свой пост. В апреле 1916 года он принял решение арестовать бывшего военного министра Владимира Сухомлинова, обвиненного в измене. Сейчас ясно, что предателем генерал не был, но в упущениях по службе, приведших к ослаблению русской армии, его можно упрекнуть. Но тогда шла война и обвинения были тяжелы, и в этих условиях Хвостов не мог поступить иначе. Любой офицер, заподозренный в измене, не мог оставаться на свободе. Однако императрица настаивала на освобождении Сухомлинова, император тоже намекал на это. Во время одного из докладов Хвостова Николай II прямо приказал освободить Сухомлинова. Министр оказался в тяжелом положении. Уступить царю он не мог, шантажировать государя отставкой противоречило его принципам. И он нашел выход, сказав: «Прекращение «дела Сухомлинова», безусловно, вредно для государства и династии. Но если вы, ваше величество, настаиваете на том, то я сделал бы так: я бы прекратил дело по собственному почину. Не сомневаюсь, что скоро вред такой меры станет очевидным. Тогда ваше величество может меня уволить как неугодного министра юстиции, а имя ваше не будет к этому прикосновенно». После этого царь уже не мог настаивать на своем требовании, прикрыться именем министра было для него немислимо. Следствие по «делу Сухомлинова» не было прекращено.

Нетрудно заметить, что Хвостов не сделал ничего необычного, выходявшего за рамки его обязанностей. Более того, в случае с

Федоровым он ограничился добровольной отставкой виновного, не доводя дела до суда над ним, так как посчитал его деяния не слишком значительными, да и главным было для него нормализовать работу кутаисского суда. Добавим, что реалистичный Хвостов, видимо, здраво оценивал свои возможности: если бы конфликт с лейб-медиком зашел слишком далеко, его аппаратного ресурса могло не хватить для отстаивания своей позиции. Но на общем печальном фоне, когда многие чиновники стремились угодить не только царю, но и «старцу», нормальные решения, принимаемые министром, выглядели почти героическими.

В итоге неудобного принципиального министра в июле 1916 года переводят в другое ведомство — МВД, которое считалось более влиятельным (а Сухомлинова через несколько месяцев тоже переводят — под домашний арест). В МВД Хвостов продержался чуть больше двух месяцев, но за это время успел два раза вступить в конфликт с премьером Штюрмером. Первый раз — когда отказался увольнять порядочного и компетентного директора департамента полиции Евгения Климовича (тот в 1920 году руководил безопасностью в Крыму у генерала Врангеля, а он дураков не держал), которого Штюрмер хотел выгнать по сугубо личным мотивам.

Вторая история была куда более громкой. Штюрмер назначил своим помощником известного авантюриста, скандального журналиста и бывшего полицейского агента Ивана Манасевича-Мануйлова, который на своем посту занялся вымогательствами. Но допустил ошибку, начав требовать деньги у товарища (заместителя) директора Московского соединенного банка Ивана Хвостова, племянника министра — сына его покойного брата Сергея. Иван Хвостов совершил необдуманный поступок: обратился к Манасевичу-Мануйлову с просьбой разместить в солидной французской газете *Le Temps* интервью со своим тестем, председателем правления этого банка графом Владимиром Татищевым. Тот претендовал на пост министра финансов и был заинтересован в том, чтобы представить себя как профессионала, которого уважают французские союзники России.

Манасевич-Мануйлов решил использовать знакомство для того, чтобы «развести» неопытного Хвостова (тот незадолго до войны

закончил лицей, был ранен на фронте, писал стихи, революцию не принял, уехал в эмиграцию и завершил жизнь государственным адвокатом для бедных в Эфиопии и псаломщиком Русской церкви). Во время одной из встреч авантюрист рассказал Ивану Хвостову, что против соединенного банка возбуждено расследование по обвинению в спекуляции, но проблему можно уладить за 25 тысяч рублей (как видите, схема стара как мир). Иван Хвостов выяснил, что никакого расследования нет, и отправился к генералу Климовичу, который разработал план ареста вымогателя. Манасевич-Мануйлов бы задержан при получении «меченых» денег; он утверждал, что это был гонорар за размещение статьи, но объяснение выглядело неправдоподобным из-за величины суммы.

Штюрмеру об аресте Манасевича-Мануйлова сообщил министр Александр Хвостов, который, разумеется, был в курсе всей этой истории. Первым делом Штюрмер поспешил заверить Хвостова, что рад аресту негодяя и шантажиста. А потом через Распутина и императрицу стал добиваться от царя увольнения и Климовича, и Хвостова. Царь был не слишком доволен и даже написал супруге, что сомневается, надо ли увольнять обоих, так как «от всех этих перемен голова идет кругом». Но в конце концов и министр Хвостов, и директор полицейского департамента были отправлены в отставку, к которой Хвостов отнесся с облегчением, так как устал от всей этой грязи.

После Февральской революции Александра Хвостова допрашивали в Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства, но только как свидетеля. Держался он на допросе достойно. А затем Хвостов уехал из столицы в Орловскую губернию, где поселился в своем имении в Елецком уезде. После прихода к власти большевиков имение отобрали, но крестьяне спокойно отпустили бывшего министра и его семью, так как землю он еще в начале века передал им безвозмездно. Последние годы жизни он провел в городе Ельце. Жил тихо, писал мемуары (к сожалению, не сохранившиеся), ходил в церковь, регулярно причащался, читал церковные книги и журналы. Но спокойствия не было: большевики способствовали созданию обновленческого раскола и бывший министр тяжело переживал предательство немалой части духовен-

ства. Незадолго до смерти, уже в полузабытьи, он отказывался принимать последнее причастие, посчитав, что пришедший к нему священник является обновленцем. Но потом все же причастился, и, по воспоминаниям сына Владимира, его лицо «сделалось таким светлым, прекрасным». Умер он 22 ноября 1922 года.

И вот вопрос: что было бы, если российская монархия в последние годы своего существования придерживалась бы принципов одного из своих лучших министров? Если бы рядом с ней не было Распутина с его примитивным лоббизмом и Штюмерера с проходимцем Манасевичем-Мануйловым? В этом случае режим не столкнулся бы с масштабным моральным кризисом, который стал одной из главных причин его падения.

Ираклий Церетели

На разных этапах исторического развития симпатии людей часто привлекали политики, готовые на все ради достижения своих целей. Жесткие, решительные, не останавливающиеся перед жертвами. Хорошо известны симпатии наиболее радикальной части российских революционеров к французским якобинцам, отправлявшим на гильотину своих противников во имя торжества Свободы, Равенства и Братства. Неудивительно, что в Гражданскую войну в России появилось множество «уездных Робеспьеров», только не в сюртуках и напудренных париках, а в кожанках и фуражках. А над ними стояли более известные приверженцы якобинского террора — Ленин, Троцкий, Свердлов, Дзержинский. Ленин, кстати, включил беспощадного Робеспьера в число персонажей плана монументальной пропаганды, и в Александровском саду в 1918 году ему был установлен памятник, почти сразу же развалившийся из-за скверного бетона и ошибки в расчете центра тяжести. А потом уже и местные вожди стали примерами для подражания.

На фоне решительных радикальных большевиков умеренные левые политики выглядели имиджево проигранными. О меньшевиках, противостоявших экстремистским тенденциям в социал-демократии, существует представление, заимствованное из ранних советских фильмов — как о интеллигентах непременно в шляпе, галстучке и очках, способных разве что на жалкую оппортунистическую демагогию. Владимир Маяковский, пламенный пропагандист нового советского строя, в своей пьесе «Мистерия-буфф» вывел нелепый и комичный образ меньшевика-«соглашателя»,

мечущегося между революцией и контрреволюцией и получающего подзатыльники от адептов и той и другой.

Реальных меньшевиков в советской традиции тоже не жаловали. Хрестоматийной стала история с Лениным, который дал блестящий ответ одному из меньшевистских лидеров, Ираклию Церетели. Когда тот в 1917 году на Первом Всероссийском съезде Советов заявил, что в России нет партии, способной взять в свои руки власть, вождь большевиков произнес: «Я отвечаю: есть такая партия!» Однако история на этом не закончилась: яркий полемист Церетели не ступался, а стал аргументировано возражать, заявив о недопустимости опасных экспериментов, способных поставить под угрозу судьбу революции. Но об этом, разумеется, в советских книгах не говорилось, ведь по правилам мифологии точку в дискуссии поставил Ленин.

Вообще Церетели меньше всего можно было назвать слабой личностью. Достаточно сказать, что по обвинению в подготовке государственного переворота он был в 1907 году осужден к пяти годам каторжных работ, замененных по состоянию здоровья шестью годами тюремного заключения с последующим вечным поселением в Иркутской губернии. Для теплолюбивого южанина это было отсроченным смертным приговором. Ленин же никогда к каторге не приговаривался, в тюрьме сидел недолго (в предварительном заключении) и в Сибирь был выслан на три года. А до этого Церетели в возрасте 25 лет возглавил первую в российской истории парламентскую социал-демократическую фракцию, что свидетельствовало о его авторитете среди товарищей.

Ровесник Керенского, на 11 лет моложе Ленина, Церетели родился в 1881 году в Грузии. Умеренные социал-демократы в начале XX века пользовались там популярностью значительно большей, чем в других частях Российской империи; в 1918–1921 годах они даже находились у власти в независимой Грузии. При этом многие меньшевики были тесно связаны с местной элитой, будучи выходцами из дворянских семей. Будущий премьер Грузинской демократической республики Ной Жордания принадлежал к мегрельскому дворянству с итальянскими (генуэзскими) корнями. Дворянами были и будущий председатель грузинского

Учредительного собрания Николай Чхеидзе (он же председатель Петроградского совета весной 1917 года), и будущие грузинские министры иностранных дел Акакий Чхенкели и Евгений Гегечкори, и депутат Второй Думы Арчил Джапаридзе, вместе с Церетели осужденный к каторжным работам и умерший по пути в Сибирь, в возрасте 33 лет в Курской пересыльной тюрьме.

Сам Ираклий Церетели был представителем древней, хотя и обедневшей, имеретинской княжеской семьи. Его дед сотрудничал с первым грузинским литературным журналом «Цискари» («Заря»), отец, Георгий Церетели, был педагогом, писателем, журналистом, в начале 1860-х годов за участие в радикальном студенческом движении находился под арестом в Петропавловской крепости. В 1893 году он основал газету «Квали» («Борозда»), которую затем передал первой грузинской социал-демократической организации «Месамедаси» — в ее деятельности участвовал молодой Ираклий, некоторое время редактировавший эту газету. Дядей по рано умершей матери Ираклия был еще один имеретинский дворянин, Нико Николадзе, в молодости сидевший в Шлиссельбургской крепости, а затем ставший либеральным журналистом и общественным деятелем, бизнесменом, многолетним городским головой Поты, много сделавшим для этого города. Он оказал немалое влияние на формирование личности Ираклия.

Почему же грузинские аристократы разных поколений оказывались в оппозиции — или либеральной, или более радикальной, социал-демократической? Князь Зураб Авалишвили, будущий дипломат Грузинской демократической республики, в начале XX века опубликовал книгу о присоединении Грузии к России в 1801 году. В ней есть горькая мысль о том, что Россия воспринимала Грузию как азиатскую страну, с которой можно обращаться «домашними» методами, ликвидируя ее монархию, лишая любой автономии, не считаясь с историческими традициями и мнением самих грузин. Особенно это было показательно на контрасте с куда более осторожным отношением к присоединенной через несколько лет европейской Финляндии. Методы, которыми Россия осуществляла интеграцию Грузии, оказались настолько сильным раздражителем, что для образованной части грузинского общества снижалась значимость роли

Российской империи как защитницы дружественного православного народа от персидских нашествий. Тем более что роль эта стала уже привычной, персидская монархия ослабела и не была более способна к экспансии, а российское присутствие, несовместимое даже с минимальной автономией, оставалось.

К национальной проблеме добавлялись и социальные, волновавшие как русских, так и грузинских интеллигентов. Отсюда и распространение социал-демократических идей — как в умеренной, так и в радикальной формах. Среди грузинских большевиков тоже были дворяне, например рано умерший выходец из княжеской семьи Александр Цулукидзе и расстрелянный при Сталине Шалва Элиава. Но все же для тамошних социал-демократов более приемлемыми были идеи меньшевика Церетели.

Выпускник Тифлисской гимназии, он с 1900 года недолго учился на юрфаке Московского университета, успев проявить себя в качестве студенческого лидера, главы исполкома студенческих организаций Москвы. За оппозиционную деятельность его исключили из университета и в 1902 году выслали в Иркутск. В следующем году Церетели после амнистии вернулся в Тифлис, где официально стал членом социал-демократической партии, редактировал «Квали» и критиковал Ленина за отказ от сотрудничества с либералами. В 1904-м под угрозой нового ареста он эмигрировал в Берлин, где продолжил изучение права, но так и не получил диплома. Берлинский климат не подошел заболевшему туберкулезом Ираклию, кроме того, в России началась революция, которая открыла перед ним новые возможности. Один из признанных лидеров грузинских меньшевиков, он в 1907 году стал депутатом II Государственной думы от Кутаисской губернии (большинство депутатов от социал-демократической фракции были меньшевиками или примыкали к ним).

В Думе Церетели произносит первую из двух своих знаменитых речей. 6 марта 1907 года он от имени социал-демократической фракции оппонирует премьер-министру Петру Столыпину, выступившему с правительственной декларацией, содержащей программу реформ и демонстрацию силы. Депутаты-«втородумцы» имели печальный опыт I Думы, распущенной властями при пассивности тех самых избирателей, которые только за несколько месяцев

до этого послали своих избранников в первый российский парламент. Поэтому либералы делают ставку на сохранение Думы, на отказ от прямой конфронтации с властью. Для социал-демократов это было невозможно: их избиратель ждал решительного продолжения затухавшей к тому времени революции.

Церетели, как и в предреволюционный период, остался сторонником взаимодействия с либералами, но должен был идти и навстречу избирателям. Поэтому он резко критикует правительство, не находя и не пытаясь находить с ним никаких точек соприкосновения. В его трактовке правительство — это всего лишь крепостники, защищающие помещичьи привилегии «только с помощью наемных погромщиков, с помощью голого насилия». Он прямо не призывает к революции, но вся его речь — а Церетели был хорошим оратором, которого слушали, — была знаком того, что с этой властью мириться нельзя.

Но Церетели не большевик, идущий напролом. С одной стороны, он заявляет, что «только при непосредственной поддержке народа можно остановить дикий разгул насильников, опустошающих страну». И что правительство подчинится только силе. С другой — отвечая на протесты правых, обвиняющих его в революционной агитации, депутат тут же заявляет, что «не делал здесь призыва к вооруженному восстанию», а, наоборот, «доказывал, что к вооруженному восстанию призывает правительство, с которым мы боремся». Призывает, конечно, не прямо, а косвенно — своей политикой, нежеланием идти на уступки.

И переложив ответственность за смуту на правительство, Церетели зачитывает заявление социал-демократической фракции, подготовленное при самом активном его участии — это его вторая знаменитая речь. В нем нет призыва не только к революции, но и к созыву Учредительного собрания. Нет конкретных и жестких требований типа 8-часового рабочего дня или изъятия у помещиков земли без выкупа. Есть эластичный набор инициатив — «раскрытие тюрем» (то есть амнистия), «установление свободы» (по сути, выполнение положений царского Манифеста 17 октября 1905 года), «разрешение земельного вопроса» (а как именно, не указывалось, так что возможны варианты), «открытие простора борьбе

пролетариата» (разрешение профсоюзов и забастовок) и, наконец, «переложение тягости налогов с бедного населения на более достаточное» (прогрессивная шкала подоходного налога). Более того, такой подход мог быть совместим и с программными положениями кадетов, с которыми Церетели объединяло и желание работать в действующей Думе (но разделяло нежелание «беречь» ее от роспуска путем слишком больших компромиссов).

Фактически Церетели в своей думской речи повторял — с поправкой на российские реалии — французских социалистов с их яркой парламентской риторикой и в то же время нежеланием ниспровергать власть любой ценой. Реформа для него предпочтительнее революции, но для того, чтобы добиться реформы, он угрожает революцией. Столыпин это понимает, и для него, полностью уверенного в правоте своего курса, ставки на консервативные реформы, речь Церетели выглядела недопустимым шантажом. Он так и сказал, что правительству предлагается поднять руки вверх. И ответил знаменитой фразой: «Не запугаете!»

Правительство знало о контактах социал-демократической фракции с солдатами петербургского гарнизона, хотя и осторожных, и о наличии военной организации партии, но прямо с фракцией не связанной, так что прямых доказательств противозаконных действий депутатов не было. Пришлось притягивать историю с наказом солдат депутатам, переданным, а возможно, и составленным при прямом участии агентов полиции. Кстати, Церетели в то время, когда разворачивалась эта история, находился в Лондоне на социал-демократическом съезде и парировал критику со стороны Ленина по поводу умеренности фракции и соглашений с кадетами.

Правительство пыталось решить две проблемы. Во-первых, ликвидировать фракцию как центр протеста, во-вторых, создать ловушку для либералов. Если они согласятся лишиться депутатской неприкосновенности Церетели и его товарищей, то будут дискредитированы. Если нет (а это было самым вероятным решением), то Думу можно распустить, чтобы она не мешала правительственной политике. Либералы выбирают роспуск, который происходит явно противозаконно и с изданием без участия парламента нового избирательного закона (в частности, резко сокращается число депутатов от Грузии).

Большинство членов социал-демократической фракции — 37 из 55 — были арестованы сразу же после роспуска Думы. Остальным удалось скрыться. Церетели, как и большинство депутатов, не собиравшись бежать, он не верил в возможность ареста. На закрытом процессе 18 депутатов, включая Церетели, были приговорены к каторжным работам и бессрочной ссылке, 9 высланы в Сибирь, остальные (не проявлявшие активности как депутаты) оправданы. Политическая карьера Церетели прервалась и возобновилась только в годы Первой мировой войны в иркутской ссылке, где он вместе с другими ссылными выпускал журналы и пытался сформулировать свое отношение к войне. Как патриоты, так и пораженцы не вызывали у него симпатии. Церетели пришел к выводу, что надо добиваться прекращения войны путем объединения усилий социалистов всех воюющих стран, а пока такого единства нет, надо защищать свою страну, а не заниматься захватом чужих территорий. Позиция очень уязвимая с точки зрения коалиционной войны, в которой союзники должны согласовывать свои интересы, но для многих российских левых в то время весьма привлекательная.

Выйдя на свободу после Февральской революции, он возвращается в Петроград, входит в состав исполкома Петроградского совета и становится одним из главных сторонников коалиции либеральных и социалистических партий во Временном правительстве. В мае 1917-го он принимает пост министра почт и телеграфа в первом коалиционном составе Временного правительства и, следовательно, политическую ответственность за попытки наведения порядка в стране. В этом качестве он постоянно маневрирует, изобретая компромиссные варианты, позволяющие договориться партиям с разными программами и амбициями. Как политик, Церетели понимал, что лучше не идти в правительство, которое подвергается критике со всех сторон и вынуждено продолжать непопулярную войну. Так можно потерять популярность среди масс, что и произошло. Когда на Государственном совещании в августе 1917-го Церетели демонстративно пожал руку представителю бизнеса Александру Бубликову, демонстрируя общее желание работать на благо страны, многие левые расценили это как недопустимый сговор с «буржуями».

Но Церетели был государственным — не в понимании охранителей «единой и неделимой» империи. Он твердо верил, что Россия должна остаться в сообществе ведущих стран мира, а для этого нельзя было идти на сепаратный мир с Германией. Также он считал возможным договариваться о компромиссе с украинской Центральной радой, признавая автономию Украины в обмен на ее отказ от дальнейших шагов к независимости. Для многих русских либералов такой подход был немислим — они соглашались лишь на неопределенную культурную автономию, опасаясь, что согласие на автономию политическую поощряет сепаратизм и развал страны. Церетели же исходил из того, что реалии изменились и автономия — это тот минимум, который можно дать Украине, чтобы удержать ее в составе единой страны. Но именно это соглашение «взорвало» первый коалиционный состав Временного правительства: министры-кадеты в знак протеста подали в отставку.

Пока шли переговоры об их возвращении, к власти попытались прорваться большевики. А после подавления их июльского выступления Церетели две недели исполняет обязанности главы МВД. Во второе коалиционное правительство он уже не входит, но всячески поддерживает его в качестве одного из умеренных лидеров советов. Одним из первых социалистов Церетели заговорил об угрозе слева, о том, что бывшие товарищи по борьбе с самодержавием могут оказаться самыми опасными врагами российской демократии. Но многие левые политики не могли признать этого.

В начале сентября, когда после неудачи корниловского выступления совет рабочих и солдатских депутатов принял резолюцию о переходе всей власти к советам, Церетели уходит из руководства совета и настаивает на сохранении широкой коалиции социалистов и либералов как единственной возможности противостоять приходу к власти большевиков. Его мало кто слушает. Позднее он напишет, что у представителей демократии не было воли к действию и внутренней сплоченности, тогда как «большевики хотя и представляли лишь меньшинство, такой волей обладали в высшей мере и вели против демократии борьбу не на жизнь, а на смерть, не останавливаясь ни перед ложью, ни перед клеветой, ни перед насилиями, чтобы ее уничтожить».

В октябре 1917-го Церетели был болен и не смог активно участвовать в противодействии большевистскому перевороту. Но уже в ноябре он решительно протестует против любых договоренностей с большевиками и уступок им. А в январе следующего года Церетели с трибуны Учредительного собрания, несмотря на обструкцию и угрозы со стороны большевиков и их сторонников (ему не давали говорить около десяти минут, но он выстоял), смело клеймит зарождавшуюся диктатуру. Это была его вторая знаменитая речь, но произнесенная уже не молодым идеалистом, а политиком, прошедшим каторгу. «Учредительное собрание собирается, когда вся страна охвачена пожаром Гражданской войны, когда подавлены все демократические свободы, не существует ни неприкосновенности личности, ни жилища, ни свободы слова, собраний, ни союзов, ни даже свободы стачек, когда тюрьмы переполнены заключенными, испытанными революционерами и социалистами, даже членами самого Учредительного собрания, когда нет правосудия и все худшие формы произвола и бесправия, казалось навеки похороненные славной Февральской революцией, снова получают права гражданства», — зачитывал он декларацию социал-демократов.

Церетели заявил, что рабочая партия должна «иметь мужество в критические минуты не бояться» идти против доминирующих в рабочей среде настроений, даже ценой потери своей популярности. Он правильно предполагал, что настроения рабочих могут качнуться в сторону умеренности (так и стало происходить в середине 1918-го), но не мог знать, что большевики силой подавят этот процесс. На фоне нерешительности эсеровского большинства, не желавшего лишний раз раздражать большевиков, речь Церетели стала самым ярким событием единственного дня существования первого избранного на свободных, прямых и равных выборах российского парламента.

После разгона Учредительного собрания Церетели навсегда покидает Петроград; он возвращается в Грузию, где становится одним из основателей Грузинской демократической республики, представляет ее интересы на международной арене. В своей речи в Учредительном собрании он еще выступал как российский политик, сожалеющий о возможности распада страны, ищущий аргу-

менты против него. Но когда на основной территории России большевики побеждали без особых проблем (позднее этот процесс был назван в советских учебниках «триумфальным шествием советской власти»), Церетели увидел шанс Грузии именно в том, чтобы отгородиться от этого шествия, сохранив демократические принципы на территории своей родины.

После того как в 1921 году большевики заняли Грузию, он остался в эмиграции. Там участвовал в деятельности Социнтерна, но постепенно отходил от политики — особенно после того, как разошелся с российскими меньшевиками по вопросу единства России и с рядом своих коллег по грузинской эмиграции — об отношении к возможной вооруженной интервенции против СССР. Церетели настаивал на восстановлении независимости Грузии в случае падения советской власти, но возражал против того, чтобы она достигалась путем внешнего вмешательства (и писал, что «наше национальное движение получило бы совершенно изуродованное лицо, если бы мы перенесли на русский народ те чувства, которые возбуждает к себе господствующая у нас варварская деспотия»).

Свободного времени стало много, и Церетели в третий раз (после Москвы и Берлина) решил получить высшее образование, на этот раз в Сорбонне. Став дипломированным юристом, он занялся практикой во Франции, а затем в США, где и скончался в 1959-м, когда в СССР его вспоминали разве что как оратора, которого когда-то прервал Ленин.

Отход от политики, разумеется, не означал для Церетели отказа от интеллектуальной деятельности. Он много размышлял над тем, как должна развиваться социалистическая мысль, был сторонником приоритета прав человека для социал-демократии — темы, которая стала мейнстримной для послевоенного Социнтерна. По его мнению, без демократии и свободы человеческой личности «социализм лишается своей души», а «недооценка свободы как интегральной части социализма привела не только к поражению социалистического движения в России, но и к кризису социалистического движения во всем мире». Его неприятие любой вооруженной интервенции против СССР, разумеется, в полной мере распространялось и на возможность какого-либо сотрудничества с абсо-

лютым злом — нацизмом, так как «для России, как и для всей мировой демократии, Гитлер нес смерть и разрушение».

До конца своих дней Церетели оставался демократом — человеком, не только публично отстаивающим идеалы свободы, но и готовым к конструктивному диалогу со всеми демократическими силами во имя защиты этих идеалов. Таких «соглашателей» в лучшем смысле этого слова и одновременно способных к действию политиков в российском левом сообществе оказалось немного, что сыграло немалую роль в трагедии 1917-го и последующих годов.

Николай Чебышёв

Когда говорят о русском суде после реформы 1864 года, то есть с гласным состязательным судопроизводством и с присяжными заседателями, то чаще всего вспоминают о блестящей плеяде адвокатов. Федор Плевако (его фамилия стала почти нарицательной), Петр Александров, Сергей Андреевский, Николай Карабчевский, Василий Маклаков... Иногда в их число включают и Кони, хотя Анатолий Федорович был прокурором, судьей, сенатором, но в состав адвокатуры никогда не входил. Впрочем, прокурорская деятельность Кони известна широкой аудитории меньше, чем его знаменитое председательство в 1878 году на суде над Верой Засулич. В советское время отношение к царской прокуратуре было разве что чуть лучше, чем к департаменту полиции. И на прокурорской работе Кони — кстати, весьма плодотворной — внимание старались не концентрировать.

Но и в досоветское время прокуроры по популярности проигрывали адвокатам. Дело в том, что адвокату при защите своего клиента было позволено больше, чем прокурору, состоявшему на государственной службе и нередко выглядевшему застегнутым на все пуговицы чиновником. В адвокатуру нередко шли, чтобы свободно самореализоваться, прославиться и заработать, прокурор же жил на зарплату и был зависим от начальства, которое в любой момент могло его уволить или назначить на службу в глубокую провинцию.

Более того, прокурор не мог идти против интересов государства, а адвокату это позволялось. Прокурор не мог обличать систему, частью которой он являлся. В «деле Засулич» обвинение было заранее поставлено в деликатное положение, потому что прокурор не мог даже мягко пожуричь градоначальника Санкт-Петербурга

Трепова за грубое нарушение закона, которое и привело к покушению на него Засулич. Возникал вопрос о том, мог ли прокурор как государственный служащий сохранить в политизированных делах независимую позицию, если она отличалась от позиции государства. Сразу скажем, что самые известные дела, в которых участвовал Кони, слушались в Сенате, где он был обер-прокурором, то есть без публики, и, кроме того, острые политические дела в это время ему не поручались, что устраивало и Анатолия Федоровича, и его не любящее скандалов начальство.

Пример Чебышёва показывает, что независимость прокурора была возможна.

Николай Николаевич Чебышёв принадлежал к старому русскому дворянству. Род Чебышёвых, по семейному преданию, к которому специалисты по генеалогии относятся с осторожностью (как и во многих других подобных случаях), вел свою историю от Старковых — русского аристократического рода, первым представителем которого считается ордынский царевич Серкиз (Черкиз), приехавший в Московское княжество на службу к Дмитрию Донскому, крестившийся и ставший в Москве Иваном Серкизовым. Его сын погиб в Куликовской битве, а внук Федор имел прозвище Старко, с которым и связано появление фамилии. Чебышёвы считали себя младшей ветвью Старковых, происходили они из города Серпейска (ныне калужского села), их история прослеживается с XVI века. На гербе Чебышёвых находилась голубая с золотыми швами крепость с двумя башнями — знак того, что многие представители рода находились на ратной государевой службе. Впрочем, дед Николая Николаевича, богатый землевладелец Лев Павлович Чебышёв, был человеком мирных занятий, но и в его биографии была военная страница: в 1812 году он вступил в ополчение, участвовал в Отечественной войне, а затем и в заграничном походе.

У Льва Павловича была большая семья: пятеро сыновей и четверо дочерей. Самый известный сын — Пафнутий Львович, знаменитый математик, академик Петербургской, Берлинской, Парижской, Болонской, Шведской академий, член Лондонского королевского общества. А еще один из главных авторов либерального Университетского устава 1863 года. Двое сыновей, Николай и

Владимир, выпускники Михайловской артиллерийской академии, стали генералами артиллерии. Отец Николая, Николай Львович, был начальником Варшавского учебно-артиллерийского полигона, где разрабатывал приемы стрельбы по невидимой цели, позднее командовал Кронштадтской крепостной артиллерией. Его брат Владимир Львович был профессором своей alma mater, считается основоположником патронного и оружейного дела в России.

Наряду с военными среди родственников Николая Чебышёва были и юристы. Его тетька Екатерина Львовна стала женой елецкого помещика Михаила Николаевича Лопатина, тайного советника, председателя департамента Московской судебной палаты и, как и многие юристы его поколения, убежденного сторонника судебной реформы Александра II. Лопатин считался компетентным и объективным судьей, не допускавшим постороннего влияния на суд. Дальними родичами Чебышёва были двое сенаторов — братья-близнецы Алексей и Николай Алексеевичи. Последний перед самым падением российской монархии недолго успел побывать на посту товарища министра юстиции, отличался консервативными взглядами.

Николай Николаевич делал успешную карьеру в прокуратуре. Не самую стремительную, но основательную. Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета, одну из лучших правовых школ страны. Долгое время служил в прокуратуре в провинции — во Владимире, затем в Смоленске, и только почти через полтора десятилетия службы был переведен во «вторую столицу» — Москву. К сорока годам стал прокурором окружного суда в Смоленске (первой судебной инстанции), ближе к пятидесяти — прокурором судебной палаты в Киеве (вторая инстанция, разбиравшая апелляции и надзиравшая за деятельностью окружных прокуроров). Дальше обычно было либо сенаторство, либо высшие посты в государственной администрации (товарищ министра, министр). И того и другого он достиг, но в условиях чрезвычайных. Сенатором он стал после Февральской революции при Временном правительстве — несчастный случай, когда в революционное время прокурор, слуга режима, переводится с повышением в Верховный суд (каковым

был Сенат). А ведомство внутренних дел возглавил уже на юге России, при Деникине.

Как прокурор Чебышёв вел сложные неполитические дела. В Смоленске он участвовал в громком процессе — на скамье подсудимых оказался брат, заказавший убийство сестры. Заказчик — капитан Санко-Лешевич — офицер, дворянин, богатый по смоленским меркам человек. Мотив — сугубо корыстный, наследство. Против убийцы не было прямых улик (на время преступления он предусмотрительно обеспечил себе надежное алиби), на его защиту встали престарелые родители, не хотевшие вслед за дочерью лишиться и сына. К тому же дочь была неудачницей, а сын вполне успешен и деловит. Преступника судили дважды. В первый раз обвинение поддерживали двое товарищей смоленского прокурора. Чебышёву досталась более легкая часть — обвинять исполнителей, признавшихся в своем злодеянии. Он справился со своей работой, а вот заказчика, которого защищал сам Плевако, оправдали.

Прокуратура, понятно, на этом не остановилась — приговор в отношении капитана был опротестован и отменен Сенатом. Примерно через полтора года после первого состоялся второй суд, и на этот раз в дуэли обвинения и защиты сошлись Чебышёв и Плевако. Малоизвестный провинциальный прокурор и знаменитый на всю страну защитник. К тому времени обвинение смогло собрать дополнительные улики, кроме того, капитан был вынужден подать в отставку (офицеры его полка не захотели терпеть его в своих рядах) и присутствовал на процессе не в гипнотически действовавшей на присяжных военной форме, а в штатской одежде. Защита теряет психологическое преимущество, шансы уравниваются. И Чебышёв добивается успеха: преступника признают виновным и отправляют на каторгу.

После этого в 1904 году Чебышёва переводят в Москву. На московский период его деятельности приходятся бурные события 1905 года, когда немалая часть города была захвачена восставшими, а затем и подведение итогов случившегося. Разумеется, под суд попали участники революции, но была пара уголовных дел и в отношении их противников. Оба этих дела дошли до суда, и в обоих обвинение представлял товарищ прокурора Чебышёв.

Первым подсудимым был полицейский пристав, подполковник Ермолов, убивший во время декабрьского восстания врача Воробьева, преподавателя Московского университета. Убийство было совершено на лестнице дома, где жил доктор, причем выстрелом в спину, когда врач повернулся, чтобы зайти в свою квартиру. Ничего провоцирующего Воробьев не делал, угрозы не представлял. Похоже, что у Ермолова просто прорвалась ненависть к интеллигенту, который не только не считал нужным лебезить перед приставом (Воробьев вел себя спокойно, с чувством собственного достоинства), но еще и подозревался в организации лазарета для повстанцев. Это потом не подтвердилось, но Воробьев действительно исполнял свой врачебный долг, оказывая медицинскую помощь всем, кто к нему обращался.

Ермолов раскаиваться не собирался и выстроил линию защиты, причем, судя по всему, при поддержке начальства. Он стремился доказать, что не сознательно убил человека, а лишь превысил свои полномочия, борясь с революционной смутой. Что выстрел произошел случайно, а сам Ермолов имел основания полагать, что от Воробьева исходит угроза. Офицеры, сопровождавшие Ермолова в тот день, полностью подтвердили его показания. Нашелся и офицер-эксперт, который дал заключение, выгодное приставу. Правда, солдаты и другие свидетели эту версию опровергали, но, казалось бы, вопрос решен: государство на стороне своего защитника, офицерская корпорация сомкнула ряды.

Но прокурор Чебышёв считал иначе. В своей речи на суде он заявил, что Ермолов — не «пересоливший в усердии чиновник», а «жестокый сердцем начальник, вообще падкий на зуботычины, вообразивший, что обстоятельства развязали ему руки и выдали открытый лист на совершение всего, что взбрет в голову под шумок народного бедствия». Полностью отвергнув данные офицерской экспертизы, он основывает свою речь на данных другого эксперта, судебного медика, профессора. Чебышёв — консерватор, он осудил революцию, но для него произвол был неприемлем.

Присяжные с прокурором согласились, признав Ермолова виновным. Его приговорили к четырем годам исправительного арестантского отделения с лишением всех особых прав и преиму-

шество. По современным меркам наказание не очень значительное, но в дореволюционное время и закон, и судебная практика довольно мягко относились к тем, кто убивал без заранее продуманного тщательного плана, под воздействием эмоции. Ревнивый муж, убивший жену на глазах у многих людей, мог рассчитывать на оправдание из-за дурной наследственности (было у Чебышёва и такое громкое дело, которое он проиграл).

Еще один послереволюционный процесс был связан с убийством в Москве куда более известного человека, чем Воробьев, — одного из лидеров большевиков Николая Баумана. Того самого, в честь которого потом были названы МВТУ, улица, станция метро. Бауман был убит 18 октября 1905 года, когда под красным флагом ехал на пролетке во главе демонстрации. Убийцей оказался работник местной фабрики Николай Михалин, который забил до смерти большевистского лидера железной палкой. В суматохе Михалину удалось бежать, хотя соратники Баумана пытались его застрелить. Вскоре убийца явился в полицию, где сообщил о своем деянии, совершенно о нем не сожалея.

В отличие от Ермолова, Михалин не мог рассчитывать на respectable офицеров и лояльную экспертизу. Черносотенцы считали его героем, но для судебного оправдания этого было недостаточно. Поэтому обвиняемый при помощи своей подруги скототил собственную версию: мол, Бауман сначала выстрелил в Михалина из револьвера, так что тот действовал в состоянии необходимой самообороны. Наивно, но при большом желании можно было поверить, ведь в отличие от доктора Воробьева Бауман был действительно сознательным и непримиримым врагом режима.

Чебышёв не поверил, в его речи от версии Михалина не осталось камня на камне. Стрельба действительно была, но уже после убийства и Михалину она не повредила. Чебышёву была небезразлична репутация государства, которому он служил, и поэтому прокурор сделал все от него зависящее, чтобы отделить российскую власть от убийцы, лишить человека с железной палкой образа защитника государственных интересов. По его словам, «преступление на первый взгляд как бы эпизод партизанской борьбы направлений. При ближайшем же рассмотрении обнаруживается, что к этой борьбе «при-

мазался» человек, у которого не сердце болело за настроения отечества, а руки скучали по уличным потасовкам». Чебышёв добился осуждения Михалина, хотя и к еще более мягкому наказанию, чем Ермолова, — к полутора годам исправительного арестантского отделения также с лишением прав.

Впрочем, министр юстиции Щегловитов, прошедший в революционное время быстрый путь от умеренного либерала до крайнего консерватора, заступился за Ермолова и Михалина, которых Николай II охотно помиловал. Но это уже было не в компетенции Чебышёва, сделавшего все, что мог, для торжества закона. Интересно, что «законническая» позиция не помешала карьере прокурора — в январе 1914 года он занял высокий пост прокурора Киевской судебной палаты. Здесь и произошло самое общественно значимое дело его практике.

Чебышёв сменил на посту прокурора палаты Чаплинского — главного организатора «дела Бейлиса», завершившегося поражением для черносотенцев. Утешением для них могло стать лишь то, что присяжные признали, что убийство Андрея Ющинского было совершено в том месте, на которое указывало обвинение, — на заводе, управляющим которым был Бейлис. Защите не удалось доказать, что мальчик был убит ворами как нежелательный свидетель — доказательств не хватило. Но это дало возможность крайне правым утверждать, что присяжные признали факт ритуального убийства, а вопрос о вине конкретного Бейлиса в этой логике был вторичным. Это была хорошая мина при плохой игре: если принять эту версию, то преступника стоило бы, пожалуй, искать среди маньяков (такую версию выдвинул в своей книге «Черная сотня в России. 1905–1914 гг.» российский историк Сергей Степанов). Но другой компенсации за поражение у «черной сотни» не было.

Вскоре после оправдания Бейлиса и еще до назначения Чебышёва недалеко от Киева было найдено тело убитого ребенка с колотыми ранами. Полиция и прокуратура тут же начали активную разработку ритуальной версии, не обращая внимания на многочисленные доказательства того, что мальчик сам был евреем. Наспех сконструировали сложную версию — будто евреи спрятали своего ребенка за границей, а выдали за него якобы убитого ими христиан-

ского мальчика. Такого извращенного подхода раньше в «ритуальных» делах не было. Главными подозреваемыми стали отец погибшего мальчика и его приказчик. Сразу три христианские семьи узнали в погибшем своего ребенка — лжесвидетельство бывает коллективным.

И в этот момент в Киев приезжает Чебышёв — человек рациональный и профессиональный, не склонный к попыткам оправдать фальсификацию дел государственными соображениями. Христианских детей из трех семей находят живыми и здоровыми, официально объявляется, что убитый мальчик действительно еврей, окончательно устанавливается личность не только жертвы-еврея, но и убийцы, преступника-рецидивиста Гончарука. В 1915 году присяжные признали его виновным.

Был ли пример принципиального прокурора Чебышёва уникальным? Нет, был еще, к примеру, прокурор Владимир Александрович Бальц. В бытность свою прокурором Нижегородского окружного суда он арестовал двух местных организаторов погромов и конфликтовал с жандармами, боровшимися с революцией без оглядки на законы. В результате Бальца перевели на должность товарища прокурора Петербургской судебной палаты и для исправления поручили ему быть обвинителем по «делу питерского совета рабочих депутатов» (одним из фигурантов которого был Лев Троцкий). Бальц и тут подтвердил свою репутацию законника: отказался фальсифицировать дело. В результате большинство обвиняемых были освобождены еще до суда. Тех же (включая Троцкого), кто действительно был виновен, Бальц просил осудить, но только за их реальные преступления перед законом («призыв к неисполнению законов и неповиновению властям»), а не за недоказуемые («подготовку вооруженного восстания»). В результате обвиняемые были приговорены к ссылке в Сибирь, а не к более суровому наказанию — каторге.

Можно, конечно, сказать, что Бальц проявил слабость перед революцией, и крайне правые заявляли именно об этом. Но на самом деле власть дискредитировали именно те, кто нарушал законы, пусть из благих побуждений. Одна «скорострельная юстиция» военно-полевых судов сделала оппозиционерами и даже революционерами множество до этого вполне лояльных людей. Массовые

посадки виновных и невиновных наносили сильнейший удар по моральному авторитету власти, который стремились защитить такие честные монархисты, как Чебышёв и Бальц. Кстати, нападки со стороны крайне правых не помешали карьере Бальца, который в 1909 году стал прокурором Казанской судебной палаты, а в августе 1915-го, после прихода на пост министра юстиции честного и принципиального Александра Алексеевича Хвостова, — директором Второго департамента Минюста. В 1916 году назначенный министром внутренних дел Хвостов переводит Бальца в МВД в качестве своего товарища. Но Хвостова вскоре смещают, и не желавший работать под началом скандального «распутинца» Протопопова Бальц незадолго до свержения монархии становится сенатором.

Но вернемся к Чебышёву. После прихода к власти большевиков он больше не мог заниматься юридической деятельностью. Он остался консерватором и присоединился к «Правому центру» — подпольной антибольшевистской организации, в состав которой входили консервативные политики. Потом был опасный переезд из Петрограда в Екатеринодар, где Чебышёв вошел в белое правительство. При Врангеле в 1920 году Чебышёв становится журналистом и одним из главных идеологов и пропагандистов врангелевского режима, пытавшегося проводить реформаторскую политику «правыми руками», с опорой на профессионалов. Чебышёву такой подход не мог не импонировать, а Врангель почувствовал в бывшем прокуроре близкого ему по духу человека.

В эмиграции Чебышёв продолжил заниматься журналистикой (в консервативном издании «Возрождение»), активно полемизируя с левыми и либеральными публицистами и защищая государственнические принципы, которые отстаивал Врангель. Чувствуется, что ему хотелось высказаться, не будучи скованным пределами строгих правил, принятых для прокурорских речей. Один из эмигрантов вспоминал, что Чебышёв «был цельной натурой и потому откровенно гордился тем, что рассуждает как юнкер в 1918 году». Но при этом он оставался и политиком, некоторое время возглавляя гражданскую канцелярию Врангеля.

В этом качестве он столкнулся с эмиссарами, приехавшими из Москвы и доказывавшими, что они представляют мощную тайную

монархическую организацию, накапливающую силы для свержения большевиков. Сейчас хорошо известно, что это была чекистская провокация («операция Трест»), но тогда очень многим в эмиграции хотелось поверить в ее существование, обрести надежду, вернуть смысл жизни. Чебышёв был в числе немногих, посвященных в эту историю, которые не поверили эмиссарам, — и убедил Врангеля проявить осторожность. Хотя это в тот момент и не привело к провалу «Треста» — доказать чекистскую провокацию долгое время не удавалось, а в эту историю втянулись искренний, но неопытный в политических интригах генерал Кутепов, увлекающийся бывший думский депутат Шульгин и ряд других деятелей эмиграции — и ущерб эмиграции был все равно нанесен, но не такой критический, как если бы на «Трест» сделал ставку Врангель с его авторитетом в военной среде.

Умер Чебышёв в Париже в 1937 году, пережив Врангеля почти на десятилетие. Представитель Врангеля в Берлине генерал фон Лампе написал в некрологе: «Он был русским и он до конца остался им — уже сознавая приближение конца, он просил принести ему в больницу образок и русский национальный флаг — с этими эмблемами он и лег в чужую землю и присоединился к своему Главнокомандующему».

Матвей Шапошников

Есть пронзительная песня Высоцкого, посвященная тому одному, «который не стрелял». Ее можно вспомнить в связи с самыми разными обстоятельствами. Например, с травлей людей за космополитизм и низкопоклонство перед Западом в последние годы жизни Сталина. Один за другим выступают ораторы, клеймят отступников от советской идеологии, распаляются в праведном гневе — а один из участников не присоединяется к общему хору энтузиастов. Другое дело, что он может и не встать решительно и публично на защиту гонимого, как старый профессор в «Московской саге» Василия Аксенова — все же это художественное произведение, а в жизни многое происходит иначе. Но и тогда были возможности смягчить удар, морально поддержать человека и его семью, найти подработку, если его выгнали с работы. Если нельзя быть писателем — можно продержаться в качестве переводчика. Так одни люди тихо и незаметно спасали других. И такое немногословное участие отличается тонкой, но важной гранью от циничного конформизма, который обличал Галич: «Промолчи, попадешь в палачи». Потому что в тоталитарных условиях тихое участие — это уже не молчание.

У французского писателя Веркора есть маленький роман «Молчание моря», написанный в подполье в 1941 году. Действие происходит в оккупированной Франции времен Второй мировой войны. В романе три героя — двое французов, дядя и племянница, и определенный к ним на постой немецкий офицер, идеалист, интеллигент, один из лучших в своей армии. Но он захватчик, и хозяева молчат, игнорируя непрошенного гостя, его попытки наладить с ними диалог, даже его исповедальные слова. Только в послед-

них строках повествования, уезжая на Восточный фронт, он слышит от них одно-единственное слово «Прощайте» — знак того, что он понят, сигнал, дающий спокойствие этому смятенному человеку. Но не более того. Потому что бывают случаи, не очень многочисленные, когда дружеское общение называется длинным и позорным словом «коллаборационизм». Такое молчание — это поступок, а не трусость.

Но были и случаи, когда люди начинали говорить, когда молчать для них становится морально, психологически невозможным. Это происходит, когда они сталкиваются со слишком большим и могущественным злом, которому нельзя тихо противостоять, и готовы идти на риск, связанный с борьбой. Для советского генерала Матвея Кузьмича Шапошникова таким злом был расстрел людей в Новочеркасске в 1962 году.

Жизнь Шапошникова разделилась на две части — до и после Новочеркаска. Первые ее 55 лет мало отличаются от жизненного пути большинства советских военачальников. Родился 29 ноября 1906 года в слободе Алексеевке Воронежской губернии в семье крестьянина. Когда Матвей был еще ребенком, его отец, талантливый певец хора слободской церкви Кузьма Егорович, был переведен в Воронеж, где стал петь в архиерейском хоре. Помогали ему двое сыновей, в том числе и Матвей. Самое страшное воспоминание его детства также относится ко времени жизни в Воронеже: начиналась Гражданская война и в феврале 1918-го большевики расстреляли крестный ход. Революционный комитет решил выселить монахов из Митрофановского монастыря, духовенство и верующие вышли с крестами и хоругвями протестовать против произвола. Начальник боевой дружины Михаил Чернышев приказал расстрелять процессию, десятки воронежцев были убиты или ранены. Семья Шапошниковых жила неподалеку, и 11-летний Матвей стал свидетелем трагедии. В Воронеже с советских времен есть улица Чернышева — человека, который был среди стрелявших. Впрочем, в Алексеевке одна из улиц в постсоветские годы переименована в память о Шапошникове.

Вскоре после расстрела Матвей с братом вернулись в Алексеевку — там пережили Гражданскую войну. В 1920 году

Матвей первым учеником окончил 7 классов средней школы, что для того времени было немало. Дальше учиться не стал, надо было зарабатывать на жизнь. Утвердившаяся к тому времени в Алексеевке советская власть направила его в близлежащую слободу Щербаково учить крестьян грамоте. Вряд ли 14-летний учитель мог передать своим ученикам много знаний, но основные правила чтения, письма и счета он преподавать мог. Заработанных денег хватило на то, чтобы уехать на заработки в Кривой Рог, где Матвей добился, чтобы его приняли работать на шахту. При этом отчаявшийся безработный молодой человек даже угрожал главному инженеру расправой в случае отказа в приеме на работу.

Впрочем, вскоре Матвей остепенился, женился, родившегося в 1926 году сына назвал Артуром — в честь героя-революционера из одной из самых популярных книг того времени, «Овода» Этель Лилиан Войнич (позднее он, как и отец, станет генералом). Мальчик из церковного хора вписывался в советскую действительность, но о расстреле в Воронеже он не забудет.

В 1928 году молодой шахтер поступил в Одесскую военную пехотную школу. Образования и самообразования для этого ему хватало. Руководство страны делало ставку на будущих «красных офицеров» из рабочей среды, комиссар школы специально приехал в Кривой Рог искать подходящих кандидатов и обратил внимание на Шапошникова. В школе Матвей вступил в Коммунистическую партию. Проходившая в это время массовая и свирепая коллективизация вряд ли пробудила в нем оппозиционные настроения: он пережил ее в Одессе, одном из крупнейших городов Украины. И кроме того, ощущал себя рабочим, несмотря на формально крестьянское происхождение.

В 1931 году Матвей успешно закончил училище и стал командиром стрелкового взвода. В этой должности он прослужил недолго. В Красной армии проходило становление танковых войск, ей требовались танкисты, которых отбирали из числа наиболее перспективных командиров. Матвея направляют на курсы при Военной академии механизации и моторизации, а по их окончании он командует танковыми ротами в Украинском (затем — Киевском) военном округе, за успехи в боевой подготовке награждается орде-

ном Красной Звезды. Перед Великой Отечественной войной заканчивает Военную академию имени Фрунзе, и его направляют на службу в Генеральный штаб.

Накануне войны подполковник Шапошников направляется в войска на должность начальника оперативного отдела штаба недавно сформированной 37-й танковой дивизии, входившей в состав 15-го механизированного корпуса Киевского особого военного округа. В первые дни войны корпус участвовал в грандиозном танковом сражении под Дубно, Луцком и Бродами с участием пяти советских мехкорпусов, имевших на вооружении около трех тысяч танков. Однако сражение закончилось катастрофой: плохо была налажена система снабжения, отсутствовало прикрытие с воздуха, а недавно сформированные мехкорпуса оказались слабо управляемыми.

Но гибли они, сопротивляясь: 15-й мехкорпус пытался контратаковать, чтобы деблокировать две окруженные дивизии, но успеха не добился. Затем корпус еще раз перешел в контратаку, и 37-я дивизия даже достигла 28 июня некоторого тактического успеха, но затем легкие танки БТ-7 попали под немецкий огонь и стали загораться один за другим. Дальше пришлось отступать с боями, теряя технику под ударами авиации — к 12 июля в дивизии оставалось всего три танка.

В последующие почти два года Шапошников продолжил штабную службу. В 1941 году он в качестве начальника штаба 133-й танковой бригады участвует в тяжелых оборонительных боях под Курском (в ноябре 1941-го получает орден Красного Знамени — нечастую награду в это трудное время отступлений), а в следующем году — в одной из первых на юге Барвенково-Лозовской наступательной операции. Затем, уже в качестве начальника оперативного отдела штаба 22-го танкового корпуса, — в оборонительных боях в Донбассе и на Сталинградском направлении. Осенью 1942 года корпус переформируется в 5-й механизированный, и полковник Шапошников, показавший себя хорошим штабным офицером, становится начальником его штаба и в этой должности участвует в контрнаступлении под Сталинградом.

В апреле 1943 года Шапошников получает наконец самостоятельную командную должность — командира 178-й танковой бригады в составе 10-го танкового корпуса, воевавшего на Воро-

нежском фронте. Именно здесь раскрылся его талант военачальника. Вначале он участвует в Курской битве — и в обороне, и в наступлении, а затем в последовавшей за ней Белгородско-Харьковской наступательной операции, в которой его бригада совместно с другими частями освободила города Славгород и Тростянец (за эти бои он получил второй орден Красного Знамени).

Но главная победа была дальше. 21 сентября 1943 года бригада Шапошникова стремительным броском по неудобным грунтовым дорогам овладела городом Переяслав, а к ночи следующего дня вышла к Днепру. Комбриг организовал разведку и нашупал слабое место в немецкой обороне. В ночь на 24 сентября под огнем противника он лично руководил форсированием Днепра пулеметным батальоном, который закрепился на другом берегу. Затем Шапошников перебрасывает через реку танки, что позволяет удержать и расширить плацдарм, который получил название Букринского. Многочисленные контратаки противника были отбиты. Шапошников за эти бои был удостоен звания Героя Советского Союза.

В ноябре 1943-го измотанный 10-й танковый корпус выводится в резерв, а затем перебрасывается на 3-й Прибалтийский фронт наступать на немецкие позиции в Латвии. За время подготовки к наступлению полковник Шапошников становится заместителем командира корпуса, а затем принимает командование; 2 июля 1944 года ему присваивается звание генерал-майора. Осенью 1944 года его корпус прорывает немецкую оборону. Однако, несмотря на успешное завершение Рижской операции, Сталин был разочарован: окружить противника не удалось, немцы организованно отступили, а Ригу взяли войска не 3-го, а 2-го Прибалтийского фронта. Возможно, это повлияло на судьбу Шапошникова, который хотя и получил награду, но для его положения скромную (орден Красной Звезды), а затем был переведен на пост первого заместителя командующего 1-м гвардейским механизированным корпусом. Он успешно воюет в Венгрии и Австрии, доходит с корпусом до австрийских Альп, а на Параде Победы 24 июня 1945-го командует сводным батальоном танкистов своего фронта.

После войны в армии происходят сокращения, и Шапошников командует механизированной дивизией, затем направляется на учебу

в Академию Генштаба, а после ее окончания служит заместителем командира гвардейской танковой дивизии в Германии. Такая карьера может показаться странной, но надо учесть, что как раз перед этим Сталин распорядился усилить танковые дивизии, имея в виду возможность наступательных военных действий в Европе, и они стали грозной, хотя и слишком громоздкой боевой силой. В 1950 году Шапошников становится помощником командующего, а затем начальником штаба механизированной армии — тоже в Германии, в переднем эшелоне будущего наступления. В 1952-м его переводят в Москву заместителем начальника штаба бронетанковых и механизированных войск. После смерти Сталина происходит омоложение высшего командного состава, и Шапошников, в 1955 году ставший генерал-лейтенантом, полтора года является первым заместителем командующего механизированной армией, а в мае 1956 года назначается командующим 2-й гвардейской механизированной (затем танковой) армией в Германии.

Через четыре года он получает свое последнее назначение — первым заместителем командующего войсками Северо-Кавказского военного округа. Именно в этой должности он в июне 1962 года был направлен в Новочеркасск, где рабочие вышли на улицы, протестуя против трех обрушившихся на них ударов. Первым стало глобальное, в общесоюзном масштабе, повышение цен на мясо и масло. Вторым — локальное снижение расценок (в среднем на 30%) и увеличение норм выработки для рабочих на Новочеркасском электровозостроительном заводе. И довершил дело третий, моральный удар, когда директор завода оскорбил объявивших 1 июня стихийную забастовку рабочих, хамски посоветовав им есть пирожки не с мясом, а с ливером, которым в городе из-за дешевизны даже кормили собак. После этого ситуация взорвалась, забастовка превратилась в бунт и перекрытие железнодорожной магистрали, а прибывший в город первый секретарь обкома и местное начальство после неудачных переговоров, в ходе которых бюрократия не смогла найти общий язык с рабочими, были блокированы в здании заводоуправления.

Вечером 1 июня в Новочеркасск по решению руководства страны и приказу командующего военным округом генерала Иссы Плиева были введены войска, в том числе танки, которые должны были

вызвать психологический эффект, но это не помогло. Рабочие были уверены, что в них, пролетариев, стрелять не будут — не царское же время. Единственного успеха в этот день добился Шапошников, которому было поручено командовать операцией. Демонстрация силы отвлекает забастовщиков, и направленная Шапошниковым рота спецназа, переодетая в рабочую одежду, без единого выстрела выводит из здания заводоуправления блокированных начальников.

Утром 2 июня к протестующим присоединились работники других предприятий. Около 11 часов утра толпа в 7–8 тысяч человек двинулась в центр города под красными флагами, с портретами Ленина как символа советской справедливости (как 9 января 1905 года питерские рабочие шли к Зимнему дворцу с иконами и царскими портретами) и под революционные песни. На их пути был мост через реку Тузлов, на котором стояли танки. И здесь происходит событие, которое до сих пор вызывает споры. Позднее Шапошников вспоминал, что получил по рации приказ Плиева не допустить рабочих в центр, где находились партийные и государственные учреждения. При этом Плиев упомянул про танки и приказал: «Атакуйте!» Шапошников на это возразил, что не видит «перед собой такого противника, которого следовало бы атаковать нашими танками». Плиев раздраженно бросил микрофон.

Этот рассказ (обнародованный в конце 1980-х годов) вызвал резкий протест со стороны военных, обвинивших Шапошникова во лжи и утверждавших, что Плиев такого приказа не отдавал. Правильно оформленного приказа, конечно, не было — да и быть в тех условиях не могло. Но представить себе такой разговор двух генералов, когда ситуация быстро выходила из-под контроля, вполне возможно. Пулеметные очереди и танковые гусеницы могли погубить сотни людей, и по здравому размышлению и военные, и политические начальники решили не упоминать даже о вероятности подобного развития событий. Неудивительно, что сохранившему холодную голову Шапошникову его поведение не было поставлено в вину, и он еще четыре года оставался на своем посту. И мог бы спокойно уйти в почетную отставку.

Но мешало одно важное обстоятельство: Шапошников смог предотвратить кровопролитие на мосту, но расстрел все же произо-

шел — у здания горкома КПСС, к которому прорвались люди. По официальным данным, погибли 22 человека, были ранены 39. Шапошников на «газике» пытался обогнать толпу и прибыть раньше нее на площадь, где уже находились автоматчики. Но не успел.

Ни один из тех, кто был в этих событиях на стороне власти, не погиб. Но семерых жителей города, признанных «зачинщиками беспорядков», расстреляли, 105 получили длительные сроки лишения свободы — от 10 до 15 лет. О трагедии в Новочеркасске было приказано забыть. «Мгла всеобщего неведения так густа осталась и при Хрущеве, что не только не узнала о Новочеркасске за граница, не разъяснило нам западное радио, но и устная молва была затоптана вблизи, не разошлась — и большинство наших сограждан даже по имени не знает такого события: Новочеркасск, 2 июня 1962 года», — писал Александр Солженицын.

Шапошников не мог молчать. На его решение могли повлиять факторы, внешне несоединимые. Детские воспоминания о расстреле крестного хода в Воронеже и советское воспитание на нонконформистских образцах. Его героями были декабристы — офицеры, поднявшиеся против царя. Белинский — радикальный демократический интеллигент, несовместимый с патриархальным режимом Николая I. Для большинства советских людей история освободительного движения была предметом из школьной программы, не имеющим никакого отношения к реальности. Для Шапошникова декабристы и Белинский стали образцами для подражания.

Добавим к этому еще одно обстоятельство, на первый взгляд парадоксальное. Это презрение многих военных к Хрущеву как к вульгарному партийному функционеру, ликвидировавшему культ Сталина, который для них был героем, главнокомандующим в победоносной войне. Разумеется, идеалом для них был и Ленин, воспринимавшийся как идеальный вождь. То, что прощалось Ленину и Сталину, не могли простить Хрущеву, который своей спонтанностью и эмоциональностью невольно разрушал привычную харизму власти. Антибюрократический «народный сталинизм» — феномен противоречивый. От него можно прийти к оправданию чудовищных преступлений прошлого, а можно — к разоблачению преступных деяний настоящего.

Вскоре после новочеркасского расстрела Шапошников пишет воззвание с призывом создать Рабочую партию большевиков, которая должна быть более справедливой и выражающей народные интересы, чем КПСС. Он призывал бойкотировать на выборах официальных кандидатов, бороться за политическую власть мирными средствами. Адресатами письма были Союз писателей (как советский человек, Шапошников верил в совесть творческих людей), учебные заведения и комитет комсомола Кировского завода в Ленинграде — генералу хотелось «достучаться» до рабочих. Также Шапошников пишет шесть писем, подписанных «Неистовый Виссарион» — по аналогии с Белинским. И отправляет их все тем же писателям, искренне веря, что прочитав о расстреле, они прозреют и будут говорить правду.

В его текстах много мыслей о несправедливости советского строя. «Партия превращена в машину, которой управляет плохой шофер, часто спяну нарушающий правила уличного движения. Давно пора у этого шофера отобрать права и таким образом предотвратить катастрофу...»; «Для нас сейчас чрезвычайно важно, чтобы трудящиеся и производственная интеллигенция разобрались в существе политического режима, в условиях которого мы живем. Они должны понять, что мы находимся под властью худшей формы самодержавия, опирающегося на бюрократическую и военную силу»; «Нам необходимо, чтобы люди начали мыслить вместо того чтобы иметь слепую веру, превращающую людей в живые машины. Наш народ, если сказать коротко, превращен в бесправного международного батрака, каким он никогда не был». Шапошников остался коммунистом: он искренне верил в то, что большевистскую идею исказила правящая бюрократия и надо возвращаться к ее истокам. Разумеется, письма не получили распространения: адресаты дисциплинированно относили их в КГБ.

В 1966 году чекисты вышли на след автора писем. В июне его увольняют в запас, в августе в его квартире происходит обыск, находят нужные доказательства. Его обвиняют в антисоветской агитации и пропаганде, но власть боится скандала, ареста генерала, героя войны. Уже подвергался преследованиям генерал Петр Григоренко, но он не был Героем Советского Союза, не командовал

армией, не исполнял обязанности командующего войсками округа. Поэтому расследование сворачивается, Шапошников остается на свободе, сохраняет звание и награды, правда исключается из партии, перестав, таким образом, быть членом советской элиты.

Генерал продолжает писать, теперь уже защищая свою честь и настаивая на партийной реабилитации. В своем дневнике он пишет, что «далек от того, чтобы таить обиды или злобу на носителей неограниченного произвола. Я только сожалею о том, что не сумел по-настоящему бороться с этим злом». Генерал жалеет о том, что не смог предотвратить новочеркасский расстрел. В перестройку его восстанавливают в партии, люди узнают правду о трагедии 1962 года. Шапошников становится героем для демократов, мечтавших о свержении советского строя, который был ему дорог. И его ненавидят советские ортодоксы, утверждавшие, что он опозорил генерала Плиева.

Умер генерал в 1994 году, когда интерес к истории резко снизился, людям было не до этого. Но Шапошников не был забыт — и как герой войны, и как человек, который не стрелял в своих безоружных соотечественников. Потому что ему не позволяли делать это совесть и обостренное чувство справедливости, благодаря которым он не мог цинично забыть перевернувший его жизнь день 2 июня 1962 года.

Николай Щепкин

Гражданские войны не случайно называются братоубийственными — это трагедии многих семей, когда родители и дети или родные братья оказываются по разные стороны баррикад. Вспомним бабелевскую «Конармию» — рассказ про отца, белого командира роты, убившего своего сына-красноармейца, и про другого сына, ставшего красным командиром полка, нашедшего своего отца после разгрома деникинских войск и отомстившего за брата. И все это самый младший брат (тоже красный) с эпическим спокойствием излагает в письме матери. И страшноватое бабелевское описание фотографии семьи Курдюковых (без младшего брата): «Тимофей Курдюков, плечистый стражник в форменном картузе и с расчесанной бородой, недвижимый, скуластый, со сверкающим взглядом бесцветных и бессмысленных глаз». И «два парня — чудовищно огромные, тупые, широколицые, лупоглазые, застывшие, как на ученье».

Но разломы рушили нередко и интеллигентские семьи, членов которых — как и Бабеля — шокировала бы такая жестокость. Можно вспомнить судьбы морских офицеров Беренсов, бывших капитанами 1-го ранга в дореволюционном флоте. Евгений стал «Красным адмиралом» (хотя это звание ему официально не было присвоено, так как он умер до введения воинских званий в Красном флоте), Михаил был произведен в контр-адмиралы верховным правителем Александром Колчаком, затем командовал врангелевской «Русской эскадрой», до 1924 года базировавшейся в тунисской Бизерте. После дипломатического признания СССР французы передали корабли большевикам, и принимать их во главе технической комиссии прибыл Евгений Беренс, а Михаил на время пребывания

брата в Бизерте покинул город, так как общение братьев могло скомпрометировать Евгения в глазах советской власти.

Или же два брата — графы Игнатьевы. Генерал-майор граф Алексей, военный агент России в Париже, перешел на сторону советской власти, стал для русской эмиграции во Франции символом предательства, а для послевоенных читателей его известных мемуаров «Пятьдесят лет в строю» — примером благородства, так как передал СССР средства, хранившиеся на контролируемых им счетах российского правительства во французских банках. Полковник граф Павел, руководитель разведки России во Франции, остался в эмиграции и подписал письмо с призывом бойкотировать своего брата.

Разлом прошел и через семью Щепкиных — между внуками знаменитого актера Михаила Семеновича Щепкина. Тот был сыном крепостного и сам крепостным, но генерал-губернатор Малороссии князь Николай Репнин-Волконский, восхищенный его талантом, организовал выкуп актера с семьей у графини Волькенштейн за 8 тысяч рублей. Часть денег были собраны по подписке, оставшуюся добавил сам князь. Эта святочная история, однако, не вдохновляла потомков актера на поддержку древних традиций, ставших неожиданно довольно модными в современной России, где публичные фигуры делятся впечатлениями о благах крепостничества. Напротив, тот факт, что их великого предка можно было продать как вещь, справедливо рассматривался ими как унижение человеческого достоинства.

Михаил Щепкин был не только актером, но и общественным деятелем. Он ездил в Лондон к Герцену, высоко ценившему его человеческие качества, близко общался с Тургеневым, Шевченко, другими выдающимися современниками. Фактически со Щепкина началась российская традиция, по которой актер, разумеется не всякий даже из числа выдающихся, может быть моральным авторитетом для общества.

Сын актера Щепкина Николай родился в 1820 году, еще официально крепостным, так как в это время собственником семьи Щепкиных официально значился князь Репнин-Волконский. Но вскоре Щепкины окончательно получили волю, так что в сознательном возрасте Николай всегда был свободным. Отец дал всем четве-

рым своим детям хорошее образование: Николай закончил естественный факультет Московского университета, после этого недолго служил в драгунском полку. К военной службе он не тяготел, но по правилам того времени уже первый офицерский чин прапорщика давал право на потомственное дворянство, которое существенно облегчало и самому офицеру, и его детям доступ в имперскую элиту. Для недавнего крепостного это была редкая, фантастическая удача. Вскоре после производства Николая Щепкина в прапорщики другой Николай — император — прикрыл эту лазейку, резко повысив планку. Он повелел, чтобы право на потомственное дворянство не давалось не только прапорщикам, а и всем обер-офицерам из «неблагородных» сословий — теперь надо было дослужиться до майора. Закон обратной силы не имел, и Николай Михайлович через несколько лет официально оформил свой дворянский статус. Человек либеральных взглядов, позднее он занимался издательской и просветительской деятельностью, был одним из первых московских мировых судей, гласным (депутатом) Московской думы и директором Московского городского кредитного общества.

Николай Михайлович женился на потомственной дворянке Александре Владимировне из рода Станкевичей — женщине образованной, сочинявшей рассказы, повести и даже исторические романы. Ее отец был помещиком, уездным предводителем дворянства, состоятельным откупщиком. Но еще более важным для семьи было то, что ее братом был Николай Станкевич, умерший молодым писатель и публицист, мыслитель и идеалист, один из самых ярких представителей нарождавшейся русской интеллигенции. В деятельности его кружка участвовали и Белинский, и Грановский, и Аксаков, и Бакунин, и Тургенев. В последующем они станут идеологическими оппонентами, но в 1830-е годы личная свобода и достоинство человека были для них альтернативой николаевскому официальному государству. Станкевич умер еще до свадьбы своей сестры со Щепкиным, но традиции его кружка оказали влияние на просветительскую работу Николая Михайловича, который стал активным участником уже нового кружка, возглавлявшегося Тимофеем Грановским — самым ярким западником николаевского времени. В семье Щепкиных был своего рода культ

Грановского — даже семейное захоронение находилось рядом с его могилой на Пятницком кладбище.

У Николая Михайловича и Александры Владимировны было шестеро сыновей. Михаил умер в детстве. Владимир стал юристом, недолго занимался адвокатской и общественной деятельностью, готовился к научной работе, но, бросив все, ушел в народ, заниматься революционной пропагандой среди крестьян. Был быстро арестован, отдан под суд, получил трехмесячный срок, поглощенный предварительным заключением, неудачно пытался писать диссертацию и рано умер. Судьба Александра тоже сложилась печально: он был средней руки провинциальным чиновником, мировым судьей, но из-за тяжелой психической болезни был вынужден прекратить всякую деятельность. Зато Вячеслав стал успешным московским профессором, членом-корреспондентом Академии наук, славистом, специалистом по древнерусской палеографии — вспомогательной исторической дисциплине, изучающей историю письма и памятники древней письменности для определения автора, времени и места создания. Умер он в 1920 году от простуды, перешедшей в пневмонию; ослабевшим за годы смуты пожилым ученым было трудно сопротивляться болезням, смертность среди них «от естественных причин» тогда резко выросла.

Судьбы двух братьев, Евгения и Николая, до определенного времени были схожи. Образованные русские либералы, они после учреждения Государственной думы стали депутатами, хотя и разных созывов. Но на этом сходство и заканчивалось.

Евгений Николаевич родился в 1860 году, будучи студентом историко-филологического факультета Московского университета, арестовывался за участие в студенческой сходке, что, однако, не помешало его успешной карьере. Окончил университет, остался на кафедре всеобщей истории (аналог аспирантуры) у профессора Герье. В отличие от многих историков, всю жизнь посвятивших разностороннему изучению одного вопроса, Евгения Щепкина увлекали различные темы. Начал со скандинавистики (изучал обычаи викингов, работал в архивах в Дании), а затем переключился на исследование международных отношений в XVIII веке и для этого изучал документы в Германии и Австрии. Прodelал трудоемкую

работу, завершившуюся опубликованием книги о русско-австрийском союзе в период Семилетней войны, защищенной им в качестве магистерской диссертации в 42 года (поздно для тогдашнего ученого). Докторскую так и не защитил, зато увлекся жизнеописанием Лжедмитрия I и опубликовал работу на эту тему.

Преподавательскую деятельность Евгений начал в своей alma mater, а профессию получил в 1897 году в Нежинском историко-филологическом институте, где ученая степень была необязательна. В следующем году он становится профессором в Новороссийском университете в Одессе — в этом городе Евгений Щепкин остается до самой смерти. Перед революцией 1905 года умеренно либеральный, но довольно аполитичный историк погружается в политику, причем быстро проделав путь от либерального патриота до либерального радикала. Он избирается депутатом Первой Думы, где входит в кадетскую фракцию, занимая в ней левые позиции, а после роспуска Думы разочаровывается в кадетях как слишком умеренных и отходит от политики.

В революционном 1917 году Евгений Николаевич вновь в политике — на этот раз в рядах украинских левых эсеров (борьбистов), от которых переходит к большевикам, становится оратором на их митингах и пропагандистом. Бывший профессор надевает солдатскую шинель, бывший либерал в качестве комиссара народного просвещения проводит в Одессе в 1919 году «чистку» университета от правых профессоров. Иван Бунин в «Окаянных днях» писал о встреченном им на одесской улице Щепкине с презрением, как об опустившемся предателе, помяная и «идиотическую тупость», и «толстый старый галстук, выкрашенный красной масляной краской», и еще немало в том же духе.

А немногим позже, после отступления красных из города, Щепкин не желает бежать с ними, арестовывается белыми и сидит в тюрьме, отказываясь просить об освобождении, оставаясь идейным большевиком. Красные освобождают его из-под стражи, и он снова руководит образованием, торопясь исполнить свою мечту и допустить пролетариев в университет. Евгений Николаевич успевает открыть в декабре 1920-го рабочий факультет (рабфак) и через несколько дней, как сказано в его единственной небольшой совет-

ской биографии, «истощенный работой и недоеданием», ходивший с распухшей ногой и страдавший от тесной обуви (другой не было), он умирает «в своей одинокой холодной квартирке в первом доме советов». Бывших друзей рядом с ним не было, но и для многих соратников он был чужим — со своим бывшим кадетством и недавним эсерством. В память о Щепкине в Одессе назвали улицу, но сейчас ей возвращено историческое название Елисаветинская.

Николай Николаевич Щепкин родился в 1854 году. Как и другие Щепкины, получил образование в Московском университете — на физико-математическом факультете. Во время Русско-турецкой войны в 1877-м пошел добровольцем в армию спасать братьев-славян. Воевал в авангарде генерала Скобелева, который в тяжелейших условиях, через двухметровые снежные завалы преодолел Балканы, сбил турок с высот, с которых они обстреливали русские войска, а затем ворвался в их лагерь, заставив капитулировать. За храбрость Николай Щепкин был награжден солдатским Георгиевским крестом и произведен в офицеры.

Вернувшись с войны, он некоторое время служил в Польше, секретарем Ломжинской казенной палаты (местного учреждения министерства финансов). В 1881 году вернулся в Москву, где занимал различные должности в местном самоуправлении: был помощником секретаря Московской городской управы, гласным Московской городской думы, в 1894–1897 годах — товарищем городского головы Москвы, то есть фактически вице-мэром (городским головой тогда был купец и меценат Константин Рукавишников). «Его привязанность к Москве была изумительна», — писал в эмигрантском сборнике «Памяти погибших» его коллега Николай Астров. И далее вспоминал, что «он не хотел уехать из Москвы и тогда, когда для него стало уже невозможно оставаться там, когда роковое кольцо уже смыкалось вокруг него» (это о последних неделях жизни Щепкина в 1919 году).

Щепкин был одним из инициаторов программы муниципализации городского транспорта, выкупа городом в 1900 году морально устаревшей сети конно-железных дорог, владельцы которой прогивились переводу «конки» на электрическую тягу. В результате под руководством городских властей и с использованием размещенных

за границей займов в Москве была создана современная для того времени трамвайная сеть. «Московский трамвай обязан своим существованием в значительной степени Щепкину», — писал Астров. Более десятилетия Щепкин являлся также мировым судьей, продолжая дело своего отца, пока выборная мировая юстиция не была упразднена в ходе контрреформ Александра III. Астров вспоминал, что Щепкин «переживал каждое «дело». У него не было больших и малых дел».

В Москве Щепкин стал политиком, причем жестким. Часто о либералах говорят как о людях компромисса, и это нередко так, если речь не идет о самости, об идейных основах. Щепкин не желал компромиссов с теми, кто, по его мнению, препятствовал нормальному развитию страны. Перед первой русской революцией он входил в число оппозиционных гласных Московской думы — вместе с Астровым, братьями Александром и Николаем Гучковым и рядом других муниципальных деятелей. В конце 1904 года он от имени либеральных гласных призвал правительство «установить огорождение личности от внесудебных усмотрений, отменить действие исключительных законов, обеспечить свободу совести и вероисповедания, свободу слова, печати, свободу собраний и союзов». Это была политическая программа, далеко выходящая за муниципальные рамки.

В дальнейшем московские оппозиционные политики разделились по отношению к революции. Братья Гучковы, считая, что революция является большей угрозой, чем политика власти, выступили на стороне правительства и создали умеренно-консервативную партию октябристов. Щепкин вместе с Астровым стал одним из видных деятелей левого крыла кадетской партии, считавшим, что давление на власть нельзя ослаблять. И он, «пылкий и увлекающийся, верный своим свободолюбивым идеалам», демонстративно порвал дружеские связи с недавними союзниками. В 1908 году, в период подъема реакции, его впервые не избирают гласным Московской думы при городском голове Николае Гучкове. Но уже в следующем году начинается новый либеральный подъем, и Щепкин становится на дополнительных выборах депутатом Государственной думы от Москвы вместо умершего адвоката Федора Плевако, избравшегося от пар-

тии Гучковых. Но в Госдуме Щепкину было тяжело: в условиях, когда либералы были в меньшинстве, а думские решения нередко блокировал консервативный Государственный совет, он рассматривал депутатство как дело тягостное, нудное, не дающее результатов.

Многие русские либералы были людьми, легкими в личном общении. Щепкин был иным. Астров считал, что он «был как бы соткан из контрастов и противоречий... В работе с другими, подавая яркие реплики, схватывая чужую полезную мысль и отбрасывая острой шуткой или саркастическим замечанием вредную, путаную чужую мысль, он на глазах у собеседников или членов совещания творил и создавал, приводил к точному разрешению иногда очень сложный вопрос... Но иногда эта работа не клеилась. Праздная болтовня, тупое сопротивление мешали. Тогда он становился резок до нестерпимости... С ним редко и трудно сближались. Да и он сам, будучи очень общительным, редко допускал посторонних в свой интимный мир».

Но именно такой человек оказался востребован, когда мирные годы закончились. Во время Первой мировой войны Щепкин был энергичным уполномоченным Союза городов на Западном фронте. После Февральской революции был направлен в Туркестан, где стал председателем комитета Временного правительства, заменив генерал-губернатора. Вернулся незадолго до прихода к власти большевиков и стал одним из руководителей антибольшевистского подполья. Советская власть, которая увлекла его брата Евгения идеями справедливости, равенства, доступа к образованию для рабочих, для него была темной силой, уничтожившей идеалы свободы и демократии, которым он следовал всю свою жизнь. В 1918 году умирает его жена, бывшая членом семьи — воспитанницей его родителей — еще до их брака. Обе дочери уже были замужем: Евгения за Сергеем Лагучевым, юристом, художником, офицером, Елена — за Борисом Шипковым, штабс-капитаном (обоих зятьев Николая Николаевича расстреляют вместе с ним). Незадолго до ареста Щепкин говорил: «Я давно готов к смерти, жизнь мне не дорога, только бы дело наше не пропало».

В 1918 году Щепкин становится одним из лидеров Всероссийского Национального центра, нелегально действовавшей на совет-

ской территории организации, объединявшей либеральных политиков, в основном входивших в кадетскую партию. Весной 1919 года заболевает и разочаровывается в политической деятельности первый руководитель Национального центра в Москве — известный либеральный земский деятель, многолетний председатель Московской губернской земской управы Дмитрий Николаевич Шипов. И Щепкин становится его преемником, причем в отличие от Шипова он занимался не только политическими вопросами (дебаты о будущем России, которыми увлекались московские интеллигенты, его мало интересовали), но и координацией разведывательной деятельности. Он лично готовил для пересылки Белому движению шифровки с разведанными о стратегических планах советского командования, о численности, вооружении и дислокации частей Красной армии. Информация была точная — с Щепкиным сотрудничали ряд офицеров, поступивших на службу в Красную армию, в том числе генерал Сергей Алексеевич Кузнецов, возглавлявший оперативное управление Всероссийского главного штаба.

Также Щепкин с группой единомышленников готовил восстание в Москве. 22 августа он подготовил письмо в штаб Деникина: «Население вынуждено будет взяться за оружие, ибо все равно умирать, и будет сделана попытка свергнуть его. Это может быть недели через две. На этот случай вам надо подготовить нам помощь и указать нам, где ее найти и куда послать для установления связи».

Но это письмо уже не было отправлено. Один из курьеров, который направлялся в Москву от Колчака, был перехвачен чекистами и дал показания. В ночь с 28 на 29 августа Щепкин был арестован. Также арестовали супругов Алферовых — Александра Даниловича и Александру Самсоновну — основателей и руководителей одной из лучших московских женских школ. Позднее в засаде на квартире Щепкина был арестован профессор математики Александр Александрович Волков, который был шифровальщиком Национального центра.

По словам Николая Астрова, сотоварищи Щепкина по заключению изумлялись его спокойной бодрости и ясности духа. Он дал показания, в которых никого не выдал. Пытался выгородить профессора гидравлики, основателя научной школы Александра Ива-

новича Астрова, брата Николая Ивановича, но безрезультатно. Астрова расстреляли вместе с другими членами организации, включая родного брата Владимира и племянника (а другой брат, Павел, юрист и православный мыслитель, видимо, перешел на нелегальное положение, судьба его пока остается неизвестной) — так что из четверых братьев в эмиграцию смог уехать только Николай Иванович, находившийся ко времени разгрома организации у Деникина.

Даже противники отмечали мужество Щепкина. По словам Льва Каменева, «очень скупой на имена, конкретные факты, даты и цифры, глава московской группы Национального центра широко и обстоятельно описал историю и деятельность контрреволюционной организации стилем политического деятеля, выполняющего свой политический долг перед классом». Марксистский историк Михаил Покровский утверждал, что «после устранения Щепкина больше не встречается таких крупных фигур». И сравнивал его с Тьером и Кавеньяком, французскими республиканцами, без колебаний подавлявшими восстания социалистов.

Николай Щепкин был расстрелян 15 сентября 1919 года. Когда его брату Евгению сообщили об этом его тюремщики в занятой белыми Одессе, он ответил только: «Ну что же, он шел против советской власти». Два брата, даже если бы они смогли встретиться, не поняли и не приняли бы правды друг друга в стране, по которой катилось красное колесо, не только ломавшее судьбы, но и навсегда разделявшее близких людей.

Натан Эйдельман

Науку и читательскую аудиторию всегда разделяло пространство восприятия и понимания текста. В Средневековье научные труды, написанные на латыни, *lingua franca* того времени, были доступны незначительному меньшинству, в основном образованным клирикам (необразованные с трудом заучивали текст мессы). В новое время, когда труды стали издаваться на национальных языках, аудитория расширилась, но проблемы восприятия остались. Пушкин-историк, написавший «Историю Пугачева», оказался банкротом, потому что тогдашний читатель не воспринял серьезное исследование, к тому же на столь грустную тему, и не стал его покупать.

Правда, были и исключения: Пушкин, возможно, ориентировался на опыт карамзинской «Истории государства Российского», которая, несмотря на солидный объем, привлекла широкое внимание тогдашней публики. Но это был первый столь масштабный опыт русской национальной истории, написанной крупнейшим писателем того времени. И именно Карамзин заложил традицию исторического просветительства, которое невозможно без нравственной, гражданской позиции историка: вспомним его оценки тирании Ивана Грозного. В последующие годы были профессора, лекции которых собирали не только студентов, изучавших историю, но и более широкую аудиторию, интересовавшуюся общественными проблемами — от Тимофея Грановского до Василия Ключевского. Серьезные исторические монографии читали только специалисты, но существовал жанр научно-популярной литературы, написанной профессиональными историками и привлекавшей многочисленных читателей. Такие книги стали переиздавать в конце 1980-х годов, когда были

сняты цензурные ограничения, и они пользовались популярностью за сочетание легкого слога и обильной информации. Помню, как учась в институте, сам читал «Очерки из истории Петра Великого и его времени» историка и архивиста Сергея Князькова, не зная еще, что автор был расстрелян в 1919 году по «делу антисоветского Национального центра».

В советское время аудитория резко увеличилась в связи с кампанией по ликвидации неграмотности, но мужик все равно чаще привозил с базара не Белинского и Гоголя, а доперестроечный журнал «Огонек» с большими картинками. Правда, читателю могли попасть в руки исторические романы, но здесь трудно было отделить качественную литературу (например, популярные в советское время книги французского писателя Мориса Дрюона) от поделок. Когда в перестройку резко вырос запрос на историческую литературу, государство объявило о переиздании массовыми тиражами огромного исторического нарратива Соловьева и куда более популярно изложенных сочинений Ключевского, в первую очередь его знаменитых лекций по русской истории. За подпиской на заветные тома выстраивались очереди, но первые же опыты знакомства с классиками оказались разочаровывающими: массовая читательская аудитория не потянула не только Соловьева, но и Ключевского.

Проблему создавал и принятый стандарт научной исторической литературы, минимизировавший любые «вольности»: рукописи проходили такое количество инстанций, что любая неординарная, спорная мысль, подчеркивавшая авторскую индивидуальность, из них вытеснялась. Добавим к этому и дефицит бумаги, заставлявший сокращать тексты, резать по живому. Жанр книг историков-эрудитов, подобный «Постижению истории» Арнольда Тойнби или книгам Джона Норвича по истории Средиземноморья, в СССР отсутствовал в принципе. В постсоветское время, понятно, начался обратный процесс — как это часто бывает в России, доходя до другой крайности в виде распространения, к примеру, псевдонаучных штудий академика-математика Фоменко.

Зато популярные книги по истории в советские годы, как и в досоветские, получали широкую известность, но здесь тоже была грань, отделяющая талант от примитивности. Профессионал, и

работая над книгой для массового читателя, оставался профессионалом; другое дело, что условностей, ограничивающих его творчество, было меньше. Например, можно было написать книгу в форме дневниковых записей одного из любимых героев. Или даже заняться альтернативной историей, предположив, как могли развиваться события, если бы пара-тройка факторов сработала чуть иначе, чем в реальной жизни. Жанр рискованный — можно увлечься, — но для специалиста допустимый, так же как и для шахматиста, анализирующего нереализованные возможности. И не будем забывать о карамзинской просветительской функции, о пушкинском пробуждении в читателях добрых чувств.

Таким профессионалом, историком-просветителем был Натан Яковлевич Эйдельман, культовый автор 1970–1980-х годов, книги которого нельзя было найти в обычных книжных магазинах — их сразу же раскупали. Помню, как во время туристической поездки в Псков недалеко от города водитель остановил автобус, чтобы москвичи могли приобрести книги, в Москве недоступные, зато обильно завезенные в маленький провинциальный магазинчик. Потом в дороге я увлеченно читал эйдельмановский томик «Мгновенье славы настает...» — о влиянии Французской революции на русское общество. Многие книги Эйдельмана переизданы без дополнений (что понятно, потому что автор скончался в 1989 году), но и без комментариев или купюр — настолько свежо они выглядят и сегодня.

Конечно, мне не были тогда известны подробности биографии Эйдельмана, история блестящего выпускника 110-й московской школы, располагавшейся рядом с Никитскими воротами, — рядом находится храм Большое Вознесение, где венчался Пушкин с Натальей Николаевной. Выпускника, не получившего медали потому, что число евреев-медалистов негласно лимитировалось, а награда была нужна другому юноше, который мог не поступить без нее в университет. А в том, что Натан поступит без медали, учителя были уверены. И чуть было не ошиблись: на сочинении при поступлении на истфак МГУ его срезали — спас отец-фронтовик Яков Наумович, прорвавшийся к ректору и добившийся восстановления справедливости.

Отец был человеком сильного характера. Будучи житомирским гимназистом, он бросил школьный журнал в лицо преподавателю-антисемиту, за что был исключен из гимназии и доучивался в Варшаве, где поляки не шли учиться в русские гимназии и в них могли принять даже выгнанных с «волчьим билетом». А во время войны был награжден «офицерским набором» (два ордена Отечественной войны и орден Красной Звезды), о котором мечтали многие, но отказался от ордена Богдана Хмельницкого, при котором погромщики убивали евреев. Отца арестовали в 1949-м, обвинив в еврейском национализме и симпатиях к сионизму (во время борьбы с космополитизмом, за который была положена криминальная статья), он вышел на свободу после смерти Сталина. Натан помнил о своем еврействе, но прежде всего ощущал себя россиянином, человеком русской гуманистической культуры (спустя много лет в споре с Виктором Астафьевым он сравнил своего оппонента с неистовым ветхозаветным евреем и покоробил некоторых верующих иудеев). Он доучился в университете, окончил его с отличием, но как еврей (шел 1952 год) и сын арестанта не мог не только поступить в аспирантуру и заняться наукой, но даже устроиться на работу в Москве. Место для него нашлось только в вечерней школе рабочей молодежи в подмосковном городке Ликино-Дулёво. Когда Сталин умер и нравы смягчились, Натан смог стать учителем истории в Москве.

В университете Эйдельман учился с Германом Дилигенским и Кириллом Холодковским (потом Герман Германович и Кирилл Георгиевич станут ведущими исследователями Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) — и моими учителями в политологии). Еще одним его однокурсником был Николай Покровский — будущий академик, специалист по русской истории позднего Средневековья и сибирской археографии. В середине 1950-х годов Покровский вошел в кружок молодых интеллектуалов, в основном выпускников разных факультетов МГУ, который возглавлял Лев Краснопецев. Молодые, критично мыслящие марксисты, они спорили о путях развития общества, критиковали антигуманную сталинскую систему, мечтали о демократии. Кстати, интеллектуальный потенциал участников кружка был очень велик — так, двое его участников, Николай Обушенков и Марат Чешков, позднее

работали в ИМЭМО. Первый был ученым-аграрником с драматической судьбой — его тщательно разработанные проекты аграрных реформ так и остались не востребованными. Второй специализировался по истории Вьетнама, затем занимался проблематикой развивающихся стран, функционированием элит и глобалистикой.

В 1957 году участники кружка напечатали и распространили листовку с критикой политики Хрущева и вскоре были арестованы. Эйдельман остался на свободе — он не успел формально вступить в кружок и не участвовал в истории с листовками, иначе он тоже оказался бы в тюрьме, а затем в лагере. Его наказали мягче — исключили из комсомола и уволили с работы. Больше к преподаванию его не допускают. С большим трудом он устраивается в Московский областной краеведческий музей, расположенный в Новоиерусалимском монастыре в Истринском районе Подмоскovie. Можно сказать, что ему повезло: в монастырском подвале были сложены архивные документы, которые никого не интересовали. Эйдельман стал их разбирать и натолкнулся на неизвестное письмо Герцена. Выдающийся историк Петр Андреевич Зайончковский знакомит его со знаменитым пушкинистом Юлианом Григорьевичем Оксманом, отсидевшим при Сталине «от звонка до звонка» десять лет. Эйдельман знакомится и с успешным советским академиком Милицей Васильевной Нечкиной, крупнейшим специалистом по истории декабристов. В 1965 году такие разные люди, как Оксман и Нечкина, стали его оппонентами на защите кандидатской диссертации о круге Герцена — «Тайные корреспонденты “Полярной звезды”». Но попытки влиятельнейшей Нечкиной добиться принятия Эйдельмана на работу в Академию наук завершаются неудачей: он воспринимается как недостаточно благонадежный. В Институт истории СССР его принимают на работу в 1989 году, за несколько месяцев до смерти.

Главным делом жизни Эйдельмана становится писательство на исторические темы — вскоре после защиты диссертации он уходит из музея на творческую работу. Почти за четверть века выходит более двух десятков его книг и множество статей, большинство которых посвящены отечественной истории XIX века (в меньшей степени он занимался XVIII столетием). Пишет о декабристах —

Лунине, Пушине, Муравьеве-Апостоле, Раевском — и об императоре Павле, олицетворявшем для русских радикальных мыслителей худший тип тирана, безумца на троне. Продолжает заниматься Герценом и его окружением. Изучает труды Пушкина и его время.

Несколько книг Эйдельмана выходят в серии «Пламенные революционеры», где публиковались художественные биографии деятелей революционного движения из разных времен и стран. Там же публиковались будущие эмигранты Василий Аксенов, Владимир Войнович, Анатолий Гладилин, Владимир Корнилов. Одну из книг за своего коллегу Марка Поповского написал будущий автор сатирических четверостиший-«гариков» Игорь Губерман — Поповский тогда был увлечен историей архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого), писал о нем неподцензурную книгу, изданную на Западе, и не справлялся с официальным заказом (фамилию Губермана в качестве хотя бы соавтора указать запретили). Потом эмигрировали и Поповский, и Губерман. Публиковались в этой серии и такие неортодоксальные по советским временам авторы, как Юрий Давыдов и Булат Окуджава.

В постсоветское время легко говорить о двоемыслии в этой истории; действительно, люди диссидентского склада участвовали в проекте, проникнутом коммунистической идеологией. На самом деле все было сложнее. Под видом биографии Пестеля, например, в серии был опубликован роман Окуджавы «Бедный Авросимов», и книга оказалась не о декабристе, а об отношениях между маленьким человеком, мелким чиновником следственной комиссии, и государственной машиной (тема, исторически свойственная русской литературе и особенно актуальная во время наступившего застоя). Многих авторов волновала тема народничества, моральный выбор людей, уходивших в революцию, страшный феномен Сергея Нечаева, ментального предшественника большевиков. И одновременно тема борьбы с революцией умных и циничных жандармов, тоже актуальная для брежневского времени. Когда люди писали о прошлом, они думали о настоящем.

Для Эйдельмана размышления о современности тоже были важны, но прежде всего он был историком, причем классической школы, не склонным заниматься модернизацией прошлого, зато

много времени проводившим в архивах. Его популярные книги были основаны на архивных изысканиях, в ходе которых обнаруживались ранее не известные источники и факты. И что немаловажно, преподносились читателю в столь доступной форме, что даже результаты специальных исследований становились понятны — и самое главное, интересны — широкой аудитории. Например, Эйдельман фактически открыл читателям Павла Бахметева — молодого русского помещика и радикала, с которого Чернышевский списал своего непреклонного Рахметова. И проследил его судьбу до того момента, когда тот, пожертвовав Герцену почти половину своих денег, вырученных от продажи имения, отправился то ли в Новую Зеландию, то ли на Маркизские острова создавать там социалистическую коммуну из добровольцев-энтузиастов. И исчез! Попытки Эйдельмана найти его следы в Океании к успеху не привели, хотя исследователь в 1960-е годы (без Интернета и мобильных телефонов) связывался с жителями Новой Зеландии, Гавайских островов, Фиджи с целью найти хоть какой-то след соотечественника. И таких исторических расследований у Эйдельмана немало.

Но книги Эйдельмана читали не только из-за занимательных фактов, историк открывал читателю ярких и интересных людей. В советское время человеческие судьбы стали уходить из исторических исследований, заменяясь на рассуждения о производительных силах и производственных отношениях, а Эйдельман возвращал их обратно. Одним из его любимых героев был Михаил Лунин — «друг Марса, Вакха и Венеры», храбрый офицер, философствующий интеллеktуал и одновременно стойкий на допросах по делу декабристов, отказавшийся давать показания на своих товарищей и не сломавшийся в Сибири. Такие образцы были нужны людям прагматичных 1970-х, когда представление о долговременности существования советской власти (и следовательно, о необходимости адаптации к этой реальности) соседствовало с моральным неприятием многочисленных глупостей окружающего мира и ощущением тупика.

При этом Эйдельман не лгал, не «полировал» историю до фальшивого блеска. Он говорил о том, о чем советские историки, включая Нечкину, стремились рассказывать поменьше или же совсем молчать. Он говорил об откровенных показаниях на следствии и

Трубецкого, и Пестеля и не делал из этого сенсации, а стремился объяснить, но не оправдать поведение этих ветеранов 1812 года с не меньшими заслугами, чем Лунин. Не только для декабристского времени актуальна мысль о том, что Трубецкой не нашел для себя в заговоре внутренней гармонии, а власть, предложив вернуться в свое лоно «блудному сыну», дала ему хотя бы иллюзию цельности, создав ситуацию, при которой скрывать от нее что-то значило вернуться к мучительной раздвоенности.

Еще одна мысль Эйдельмана из «Лунина» — это представление о двух потоках, которые «с разных сторон растапливают потихоньку самодержавно-деспотическую льдину» — просвещение и освободительное движение. Причем под просвещением понимается не только культура, но и рыночная экономика, и политическое реформаторство. Эйдельман не противопоставлял эволюцию и революцию, либерализм и радикализм, а считал, что и тот и другой «потоки» расчищали путь прогрессу, хотя они оставались чужими друг другу — «очень часто толковые купцы или просвещенные администраторы искренне проклинали смутьяна из журналов или неугомонившегося каторжника; те не оставались в долгу». В советское время такой подход был крамольным из-за того, что «приподнимал» либералов, сейчас же для многих — по обратной причине.

Эйдельмана привлекали и лунинская цельность, и неоднородность других его героев. Он любил Ивана Пущина — честного и чистого друга Пушкина по лицу. Но в книге о Пущине — «Большом Жанно» — одна из глав отведена Якову Ростовцеву, молодому офицеру, сообщившему Николаю о декабристском выступлении, а затем предупредившему декабристов о своем сообщении. Кто он — доносчик или идеалист, или и то и другое, как показывает Эйдельман от имени Пущина («Большой Жанно» написан в форме пущинского дневника). И тут же — рассказ об искуплении, о том, как Ростовцев — уже генерал, приближенный Александра II — перед смертью добивался освобождения крестьян, борясь из последних сил со сторонниками крепостничества.

Эйдельман был либералом, но именно он создал в книге «Грань веков» яркий образ императора Павла, пожалуй самого антилиберального правителя из дома Романовых. Павел для него — это сим-

вол непросвещенного абсолютизма. Но в этой непросвещенности не только принципиальный разлад со всем свободомыслящим, что было в России (и в случае успеха павловской консервативной утопии «тонкий слой образованной, мыслящей России» мог быть разгромлен — Эйдельман видел в таком развитии событий трагедию для страны), но и стремление обратиться к народу как альтернативе образованному обществу. Отсюда и павловские послабления крестьянам и солдатам, предшествовавшие политике «официальной народности», проводившейся Николаем I и наложившей сильный отпечаток на деятельность последних двух царей из романовского дома. И одновременно Эйдельмана интересует сам Павел как личность, человек, стремившийся затормозить развитие истории и в то же время в чем-то трогательный своей искренностью, отсутствием цинизма, стремлением сделать как лучше. И оставшийся практически в одиночестве в образованном обществе: народ, по-пушкински, безмолвствовал, когда убивали монарха. Эйдельман не с Павлом, но и не с его убийцами, а с Пушкиным, который писал и о тиране, и об убившей его презренной шайке палачей. Эйдельман понимал, что в годы правления Александра I образованное общество настолько укоренилось, что уничтожить его было уже нельзя, но это понимание соседствовало с неприятием вероломства, от кого бы они ни исходило. Эйдельман готов был одобрить свержение императора Павла во имя свободы, но не убийство безоружного и одинокого человека.

Эйдельман мог остаться только историком и писателем, но в последние годы жизни он не мог остаться в стороне от идеологического конфликта, в котором удобнее было бы промолчать. Писатель Виктор Астафьев, фронтовик, живой классик, в 1986 году опубликовал рассказ «Ловля пескарей в Грузии» со злобными (иначе и не скажешь) инвективами в отношении грузинских торговцев на российских базарах, «обдирающих доверчивый северный народ». Эти торговцы, оказывается, развели «автомобилеманию, пресмыкание перед импортом». Самое страшное место астафьевского текста — описание типажа «жирных детей» этих торговцев: «в гостиницах можно увидеть четырехпудового одышливого Гогию, восьми лет отроду, всунутого в джинсы, с сонными глазами, утонувшими среди лоснящихся щек».

Астафьевский крик — а в разных его текстах можно было найти выплески раздражения и против монголов, и против евреев — был понятен. Гибла Россия деревенская, патриархальная, с чистым воздухом и домоткаными одеждами. Сильнейший, возможно непоправимый, удар по ней нанесла коллективизация, уничтожившая целый слой крепких мужиков, поднявшихся после Гражданской войны. Но кроме коллективизации на деревню наступала цивилизация с автомобилями, импортом — и, добавим, многим другим, от музыки до квартир со всеми удобствами. Молодежь ринулась из села в города, оставшиеся деревенские люди все больше спивались от бессмысленности жизни. И здесь возникал извечный русский вопрос: «Кто виноват?» Многие писатели-почвенники, к числу которых принадлежал и Астафьев, давали на него простой ответ: виноваты городские интеллигенты, евреи, кавказцы (есть и другие вариации).

Эйдельман написал Астафьеву письмо — вежливое, корректное, с напоминанием о том, что первоисточники всех личных, общественных, народных несчастий находятся внутри, а не снаружи. И что «закон, завещанный величайшими мастерами, состоит в том, чтобы, размышляя о плохом, ужасном, прежде всего, до всех сторонних объяснений, винить себя, брать на себя; помнить, что нельзя освободить народ внешне более, чем он свободен изнутри (любимое Львом Толстым изречение Герцена)». И этот текст вызвал у Астафьева выплеск ненависти — он ответил письмом, где были слова и о «гное еврейского высокоинтеллектуального высокомерия», и о врагах русского национального возрождения, и о расстреле царской семьи евреями и латышами во главе с «отпетым, махровым сионистом Юрковским» (фамилия убийцы Юровского перепутана, но не в этом дело). Эйдельман ответил коротко и жестко — о логике «Майн Кампф» о наследственном национальном грехе — и предал переписку гласности в самиздате.

Здесь и разразился скандал. В чем только не обвиняли Эйдельмана — и в том, что он спровоцировал Астафьева на антисемитский ответ, и в том, что разгласил переписку, не спросив разрешения у Астафьева, и в ненависти к русским, и еще во многом. Даже такой мудрый человек, как Давид Самойлов, написал, что

письмо Эйдельмана он принимает умственно, но не эмоционально, а письмо Астафьева — наоборот. И что «Астафьев выразил не мысли нации, а ее самочувствие, и против этого самочувствия возразить нельзя».

В этом, наверное, и была главная ошибка: крик писателя (и набор высказываний его единомышленников — заединщиков, как тогда говорили) был принят многими за выражение национального самочувствия. Народ оказался иным — способным поворчать на выходцев с Кавказа (тема антисемитизма из массового дискурса практически выпала, несмотря на массу грязной «жидоедской» литературы, распространившейся в 1990-е годы), но не возненавидеть грузинского мальчика. А Эйдельман своим письмом обратил внимание на очень важный момент, многими недооцениваемый, что ни у кого нет права на ксенофобию, вне зависимости от заслуг и эмоций. Кстати, уже после смерти Эйдельмана Астафьев стал отходить от «заединщиков», поддержал Бориса Ельцина, его последние военные книги выдержаны в резко антисталинском стиле. Но с Эйдельманом он так и не примирился.

В последние годы жизни Эйдельман размышлял об особенностях российского реформаторства в виде «революций сверху»: о петровской революции, планах Александра I, Великих реформах Александра II. О том, что в России народ исторически ориентирован на царя, надеясь на единство с ним против правящего слоя, бюрократии, и о том, что в России инициатором перемен обычно является власть. Об альтернативах европейского и азиатского путей при частом выборе в пользу последнего. Об очередной попытке «революции сверху» в виде перестройки, и об опасности того, что в случае неудачи Россия будет обречена на роль Османской Турции и Австро-Венгрии (это было написано почти за три года до распада СССР, накануне первых полудемократических выборов), но после тягчайших полос кризисов все равно придется вводить рынок и демократию. «Верим в удачу: ничего другого не остается», — завершал Эйдельман свою книгу о «революциях сверху». Несмотря на все разочарования — а историческое многознание их умножает — он все-таки верил. Потому что нельзя быть просветителем без веры.

Петр Юренев

В истории политических партий часто первоочередное внимание, конечно же, уделяется публичным лидерам — нередко ярким, харизматичным фигурам. Или же теоретикам, формулирующим партийную идеологию. Не забывают и серых кардиналов — опытейших функционеров, оберегающих целостность партийных организаций, консолидирующих единомышленников и ведущих трудные переговоры о коалициях с несговорчивыми партнерами.

Но есть политики, которые мало известны. Это так называемые депутаты-заднекамеечники, не занимающие высоких постов в парламентских комитетах и фракциях. Кто-то из них может даже на короткое время выдвинуться, даже занять руководящий пост, но это бывает зачастую результатом довольно случайных событий. Не договорились, например, большие игроки, и находился компромиссный кандидат, который никого особо не раздражал, но и заметного следа в истории ведомства (или партии) не оставил. Большого интереса такой политик обычно не вызывает, разве что как демонстрация какого-нибудь «типичного примера».

На самом деле каждый человек по-своему интересен. А что до партийных деятелей, то без познания их внутреннего мира, понимания, почему они поступали так, а не иначе, нельзя понять особенности развития партии. Яркие политические лидеры не смогут ничего сделать без тех, кто обсуждает их качества, оценивает их шансы в борьбе с соперниками, поддерживает во время голосования или может выразить им свое доверие или недоверие.

Нередко партиец интересен не только как политик. Мне повезло общаться с политиком, который в «дополитической»

жизни был выдающимся адвокатом, защищавшим участников диссидентского движения и за это изгнанным из адвокатуры. С летчиком-испытателем, ставшим полковником в 37 лет и отказавшимся от генеральских погон, предлагавшихся ему не за военную службу, а по политическим мотивам. Или с геологом, участвовавшим в открытии важного месторождения, но не продвинувшимся выше начальника геологической партии из-за своего правдолюбия. Речь идет о людях 90-х годов, но и среди нынешних немало людей, живущих не только политикой. Как и среди давно ушедших, вспомним хотя бы лидеров кадетской партии: Милоков — выдающийся историк, Маклаков — знаменитый адвокат, Муромцев — цивилист-классик.

А был еще Петр Петрович Юренив, инженер, депутат, несколько недель пробывший министром путей сообщения во Временном правительстве. А потом долго и грустно доживавший свои дни во французской эмиграции.

Родился он в Петербурге в 1874 году. Принадлежал к старинному русскому дворянскому роду, ведущему свое происхождение от выехавшего из Польши в Россию в XV веке Андрея Юрения. Впрочем, многие русские дворяне считали своими предками иностранцев, так было почетнее, но в данном случае род Юренивых унаследовал польский герб Помян — голову быка, пронзенную мечом. Так что связи с Польшей выглядят вполне правдоподобно, тем более что при Иване III многие православные шляхтичи переходили на службу к единоверному московскому великому князю. Юренивы служили русским царям в разные эпохи и на разных войнах. Ходили на Крым, воевали со шведами и французами. Несколько Юренивых погибли в опричнину при Иване Грозном. Род был занесен в родословную книгу Псковской губернии.

Дед Петра Петровича, Александр Алексеевич, как и многие Юренивы, был на военной службе, но рано вышел в отставку в чине поручика лейб-гвардии Псковского полка. Жил в своем торопецком имении, где и скончался в 1875-м, на следующий год после рождения внука. Отец, Петр Александрович, уже сугубо гражданский человек — прошло несколько поколений после екатерининской Жалованной грамоты, и для дворян военная служба уже не была почти обязательным условием для успешной карьеры или чтобы не

краснеть перед соседями-помещиками. Петр Александрович окончил престижное Училище правоведения, служил в министерстве юстиции и Сенате, после судебной реформы стал судьей в Курской губернии. В 1871 году перешел в адвокатуру, был присяжным поверенным вначале в Курске, затем в Петербурге, где и родился его сын Петр. После этого вернулся на государственную службу, был членом Варшавской судебной палаты, товарищем обер-прокурора в Сенате. С 1882 года занимал должность сенатора, что соответствовало современному рангу члена Верховного суда. Дослужился до чина действительного тайного советника, равного «полному» генералу.

Юридическая корпорация в России была в целом либеральной, консерваторы называли ее судебной республикой, что для самодержавного строя было крамолой — исключение составляли юристы, занимающиеся политическими процессами. Юренин-отец к ним не принадлежал — он был цивилистом, то есть специализировался в области гражданского права. Он был либералом-шестидесятником, воспитанным на глубоком уважении к основным положениям Судебных уставов императора Александра II — суде присяжных, состязательном процессе, презумпции невиновности. Показательны и несколько лет его пребывания в адвокатуре — самой либеральной части юридической корпорации.

Его сын Петр Петрович с юности воспитывался в среде, критично относящейся к политике российской власти при Александре III, к попыткам провести судебную «контрреформу», к поправкам, искажающим смысл Судебных уставов. Конкретная критика перерастала в общее желание политических и экономических перемен — в этой идейной обстановке формировался характер юного Петра. Окончив престижную 3-ю Петербургскую гимназию, он сдал трудные экзамены в Петербургский институт инженеров путей сообщения. В институте он, как и многие студенты, сочувствовал оппозиции. Пользовался авторитетом среди товарищей, избравших его старостой и членом третейского суда (на последнюю роль выбирали людей рассудительных, не склонных принимать поспешные эмоциональные решения). Читал помимо профессиональной и нелегальную литературу, но революционером не стал, оставшись либералом. В результате не попал в списки

неблагонадежных, тем более не исключался и закончил институт своевременно, в 1897 году.

Получил диплом инженера, поступил на строительство Московско-Киево-Воронежской железной дороги, переехав в Черниговскую губернию. Там прожил несколько лет, дослужившись до должности управляющего Новозыбковской дистанцией подъездных путей. Одновременно занимался общественной деятельностью: на деньги местных купцов-благотворителей организовывал просветительские кружки и воскресные школы для рабочих. Отсюда был шаг до политики, и Юренев его сделал, став членом хотя и либерального, но нелегального «Союза освобождения», объединившего левую часть земских либералов и оппозиционно настроенную интеллигенцию.

Во время революции 1905 года Юренев столкнулся с той же проблемой, что и многие другие либералы: как относиться к политическому протесту, что приемлемо, а что нет. Его задачей становится не борьба против власти вообще, а за конкретные реформы, которые он считал разумными. В октябре 1905 года Юренев возглавляет забастовочный комитет служащих станции Новозыбков, включившийся во всеобщую железнодорожную забастовку. Но после издания Манифеста 17 октября, согласно которому в России вводилась представительная законодательная власть и гарантировались основные политические свободы, он посчитал, что надо спокойно готовиться к выборам. В этом было коренное расхождение между революционерами и реформаторами. Когда в декабре 1905-го — январе 1906 года сторонники революции стали призывать железнодорожников к новой забастовке, он выступил против них. Хотя и репрессии властей в отношении забастовщиков он поддерживать не мог.

Юренев, как и другие либералы, оказался между двумя «радикализмами» — реакционным и революционным. Революция для либерала была объективно ближе, в конце концов тот же Юренев в институте читал «нелегальщину», а не Победоносцева или Леонтьева. Для властей либералы тоже были врагами, хотя и не такими непримиримыми, как сторонники революции. В результате Юренев не был арестован за участие в забастовке, но когда револю-

ция закончилась и власть начала «наводить порядок», железнодорожное начальство запретило ему занимать любые должности в путейском ведомстве. Карьера инженера путей сообщения была закончена.

Вершиной же политической деятельности Юренева в это время стало избрание в 1907 году депутатом II Государственной думы, где он был членом фракции главной русской либеральной партии — кадетской, в которую вступил в 1906 году. Юренева выбирают от Черниговской губернии, где он был хорошо известен: там за него голосуют национальные меньшинства и старообрядцы, которых немало в районе Новозыбкова (сейчас это Брянская область России). Дума просуществовала всего лишь около трех месяцев, и черниговский депутат не успел себя в ней проявить. А после увольнения из железнодорожного ведомства ему пришлось уехать из Новозыбкова, но не в родной Петербург, а в Москву, где ему предложили работу председателем железнодорожного отдела в Московском отделении Русского технического общества. В этой организации работало немало либералов, и Юренив чувствовал себя в ней комфортно. Одновременно он сотрудничал в московской организации кадетской партии, в которой были распространены более левые настроения, чем в партии в целом, и Юренив как бывший забастовщик тоже органично в нее вписался. Он становится гласным (депутатом) Московской городской думы, представляя в ней либеральное меньшинство, ставшее затем большинством.

В Москве Юренив работал над проектом создания метро. Первые такие инициативы появились еще в самом начале XX века, но тогда Московская городская дума отнеслась к ним прохладно. «Отцы города» считали, что достаточно расширить сеть трамвайных линий, а не заниматься рискованными, по их мнению, экспериментами. Но очень быстро выяснилось, что трамваи не справляются с бурно растущим числом пассажиров, а новые линии в центре города прокладывать уже негде. Многие пассажиры приезжали в Москву из активно растущих промышленных пригородов и, выходя из вокзалов, переполняли трамваи, направлявшиеся в центр. Движение было фактически парализовано, и московские начальники осознали необходимость строительства метро.

После 1911 года речь шла уже только о том, какой проект выбрать. В этой работе принимал самое активное участие и Юренев. Предполагалось прежде всего разгрузить центр, построив линии между основными вокзалами. Нынешняя «красная» линия должна была идти от Ярославского вокзала до популярного среди москвичей и гостей столицы Смоленского рынка. Активное обсуждение проектов осложнялось не столько из-за сопротивления владельцев недвижимости и торговцев, опасавшихся, что жители будут активнее переселяться на окраины и их доходы упадут, сколько вследствие наличия конкурирующих проектов и необходимости согласования вопроса о выборе траектории с министерством путей сообщения. Поэтому начать работы в 1915 году, как планировали московские думцы, вряд ли удалось бы, даже если бы не началась Первая мировая война. Но не вызывает сомнений, что в мирное время метро было бы построено к первой половине 1920-х годов, так как развитие города не оставляло другого варианта действий.

Каким бы было «метро Юренева» (название условное, потому что над проектами работали многие инженеры)? Скорее всего, оно было бы функциональным, подчиненным задачам рыночной экономики, связанным с вокзалами и рынками. Не было бы подземных аналогов храмов с мозаиками и скульптурами, призванных заменить уничтожавшиеся православные церкви. И не стоит забывать, что Москва до 1918 года была лишь «второй столицей», поэтому в случае реализации дореволюционного проекта не было бы привязки к важным государственным объектам, таким как Совет народных комиссаров, НКВД, так и не построенный Дворец Советов.

Но война сломала многие планы. В военное время Юренев оказался востребован даже больше, чем в мирное. Он вошел в состав Московской городской управы, в которой стали доминировать либералы. Также стал одним из руководителей контролируемого либералами Земгоре (Главном комитете земского и городского союзов по снабжению армии), был членом Московского военно-промышленного комитета. В этот период Юренев приобретает практический опыт управления экономикой в условиях военного времени.

Февральскую революцию Юренев как левый кадет встретил, разумеется, положительно. Вскоре после нее он стал товарищем

городского головы Москвы по вопросам снабжения армии. Сразу же после революции были приняты законы, беспрецедентно расширяющие права и свободы российских граждан, но одновременно начали быстро нарастать многочисленные проблемы, в том числе в железнодорожной сфере. Демократизация управления железными дорогами, проведенная первым главой министерства путей сообщения Временного правительства Николаем Некрасовым, не имевшим никакого опыта работы на транспорте, привела к резкому падению дисциплины. Система, эффективно проработавшая два с половиной военных года, начала быстро разваливаться. В этой ситуации Некрасов перешел в министерство финансов, а МПС вскоре возглавил Юренев. Несмотря на «профильное» образование, он был ярко выраженным политическим назначенцем — по квоте кадетской партии. Его «левизна» должна была помочь договориться с железнодорожным профсоюзом, диктовавшим свою волю министерству.

На своем посту Юренев пробыл чуть больше месяца — в июле-августе 1917-го. Он столкнулся с новыми требованиями профсоюзников о повышении зарплаты, хотя она выросла за несколько месяцев до этого, при Некрасове. Дальше повышать было невозможно из-за отсутствия средств. Ценой больших усилий забастовку удалось предотвратить, но было ясно, что это не последний протест. Министр воссоздал железнодорожную вооруженную охрану, чтобы избежать грабежей поездов и складов.

А дальше произошло выступление генерала Корнилова, пытавшегося силой навести порядок. И Юренев оказался перед выбором — чью сторону принять. Как левый либерал он выступал против военной диктатуры, расходясь в этом со многими кадетами, требовавшими «сильной руки». Как министр Юренев отказался поддержать премьера Керенского, требовавшего передать обращение к железнодорожникам с призывом не выполнять приказов Корнилова. Не желая ни участвовать в корниловском выступлении, ни бороться против него, он подал в отставку. Вряд ли он знал тогда, что Корнилов вычеркнул его из списка «своего» будущего правительства, заменив многоопытным железнодорожником Эрастом Шуберским. Юренев, таким образом, оказался между двух враждующих лагерей. Он не был большим политиком, но в условиях

вспыхивающей Гражданской войны не решился взять на себя часть ответственности за возможное кровопролитие. Сомневающихся интеллигентов вытесняли из власти люди, не склонные к рефлексии.

Понятно, что приход к власти большевиков Юренев не принял, и здесь уже места для сомнений не было, так как новая власть рушила весь мир русских либералов. В качестве главы московского отделения Всероссийского союза инженеров он пытался организовать саботаж технической интеллигенции, но без особого успеха. В 1918 году Юренев живет на нелегальном положении в глуши Новгородской губернии, а затем уезжает на юг, в расположение деникинской армии, где активно участвует в деятельности Национального центра, объединившего многих русских либералов. Некоторое время руководит отделением центра в Одессе, затем возглавляет Союз городов при Добровольческой армии. В Ростове-на-Дону он живет в маленькой квартирке вместе с еще несколькими деятелями центра и постоянно приезжающими гостями. Левый кадет, князь Владимир Оболенский вспоминал, как Юренев регулярно уступал свое место на кровати приезжающим, а сам спал на полу, на своем старом полушубке, и уверял обитателей квартиры, что ему очень удобно.

Потом была эмиграция. Вначале Юренев был активен: он открыл русскую гимназию в Константинополе, а затем руководил сетью русских средних учебных заведений и детских приютов в Болгарии, Югославии и Чехословакии, живя в Праге — одном из центров русской эмиграции. Но внутренне он так и не сжился с ролью эмигранта. В конце 1920-х годов Юренев переезжает в Париж, где, несмотря на прекрасное знание французского языка, не может устроиться. Русский инженерный диплом в Париже не признавался. Недолго он арендует ферму в Нормандии, пытается продавать масло, но без успеха. Затем покупает стиральную машину, устанавливает ее в своей маленькой сумрачной, нищенски обставленной квартирке (где жил вместе с женой и ее престарелой матерью) и зарабатывает на жизнь стиркой белья. К своей судьбе он относился с понятной печалью, но без раздражения и ропота. Как писал один из его знакомых по парижским годам, «свое положение в звании министра он вспоминал с насмешливо-грустной усмешкой».

Но при этом он не отказывался от общественной активности. Был членом правления и суда чести Союза русских дипломированных инженеров, и здесь Юреневу доверяли как беспристрастному арбитру, подобно временам его студенческой молодости. Выступал с докладами, сотрудничал в основанной Милуковым газете «Последние новости». Дружил с бывшим московским городским головой Николаем Астровым (своим начальником в 1917 году), потерявшим в годы Гражданской войны троих братьев и племянника и куда менее склонным к философскому взгляду на русскую трагедию.

После немецкой оккупации Франции в 1940 году Юренев работает сторожем и огородником при заводе в одном из парижских предместий. Как и Милуков, он приветствовал победу советских войск под Сталинградом. Вскоре старый инженер умер в неизвестности.

Легко судить людей за то, что в своей жизни они поступили так, а не иначе. Либералов нередко обвиняют в слабости, в нежелании применить силу там, где это необходимо. Но жизнь — это не компьютерная игра, где можно начинать заново, причем бессчетное число раз. Трудно сказать, как повели бы себя жесткие сторонники крутых мер, окажись они на месте Юренева в 1917-м. В любом случае он был честным человеком — и когда работал на железной дороге, и когда проектировал московское метро, и когда пытался противодействовать развалу путейского ведомства. Юренева можно считать неудачником, как и многих его более известных коллег по кадетской партии. Но были ли счастливы многие из тех триумфаторов, кто аплодировал Сталину на «съезде победителей» в 1934 году, а через несколько лет оказался в подвале или лагере, вопрос риторический.

Геннадий Ягодин

С последними годами существования Советского Союза произошло парадоксальное явление. Союз распущен, действовавшая в ней социально-экономическая модель оказалась тупиковой, идеология дискредитирована. Но многие руководители, которые возглавляли СССР либо занимали в нем ключевые посты, выглядят в глазах современников (потомки ими интересуются мало — в лучшем случае слышали фамилии) вполне уважаемыми персонажами, которые успешно трудились на своих постах и добивались немалых успехов. Мистер No (названный так западными журналистами за неуступчивость в отстаивании позиций СССР) Андрей Громыко — образец патриотизма и профессионализма для современных российских дипломатов. Юрий Андропов — один из главных героев для ФСБ. Дмитрий Устинов — пример сильного руководителя ВПК (в армии к нему, как к гражданскому человеку на посту министра обороны, относятся более сдержанно). И возникает вопрос — как при таких руководителях страна втянулась в многолетнюю афганскую войну с роковыми последствиями.

Высшие партийные деятели, министры правительств Косыгина, Тихонова и Рыжкова вспоминаются с ностальгией, в том числе благодаря большому количеству апологетических мемуаров, в которых отмечаются их заслуги перед страной и соответствующими отраслями экономики. Люди вспоминают о введенных в эксплуатацию метрах жилья, объектах соцкультбыта и прочих достижениях, действительно принесших им немало радостей. И как-то забываются «экономика дефицита», колбасные электрички в Москву, да и те же квартиры, сдаваемые с перевыполнением плана и дикими

недоделками. Все это отходит на задний план на фоне ностальгии по светлому прошлому.

Идеализация прошлого мешает извлекать уроки из опыта предшествующих поколений. Причем по-человечески ее понять можно. Последние советские руководители были в основном людьми честными, хорошо знающими сферы своей деятельности и рамки дозволенного, степень коррумпированности правящего слоя была сравнительно невысокой. Те, кто брал взятки, нередко получали их в таком масштабе и виде, который у современных взяточников вызвал бы лишь ироничную усмешку, — коврами, мебельными гарнитурами, охотничьими ружьями, дубленками. Другое дело, что почти все они жили в системе координат, из которой не могли выбраться. Как говорилось в советском фильме «Чародеи» — «План по валу — вал по плану».

Вообще искусство позднесоветского периода иногда ярко показывало органические дефекты системы, можно вспомнить хотя бы фильм Вадима Абдрашитова и Александра Миндадзе «Остановился поезд», в котором на конкретном трагическом примере (железнодорожная авария, в которой погиб машинист) описывался развал экономики, прикрываемый высокими словами о доблести и героизме. Прикрываемый не от хорошей жизни, так как начальники сами не видели реальных путей решения проблем, а попытки ужесточить дисциплину с помощью посадок отдельных провинившихся только усугубляли человеческие трагедии, но не могли ничего изменить.

Драмой последних советских министров было то, что им приходилось действовать в условиях, когда спасти привычный для них мир было уже невозможно. Они добросовестно латали экономику, действуя по принципу тришкина кафтана. Для многих из них распад плановой экономики был аномалией, которую необходимо исправить даже чрезвычайными методами, не случайно абсолютное большинство членов правительства Валентина Павлова вслед за своим премьером выразили лояльность ГКЧП, видя в нем шанс на восстановление привычного мироустройства. Мало кто из них задумывался над тем, что прежнего нефтяного благополучия не вернуть, система исчерпала ресурс и надо искать пути развития в

новых условиях. Это была не столько вина этих профессиональных, но воспитанных в иной жизни людей, сколько их беда, которую нельзя затушевывать.

Одним из немногих исключений был Геннадий Алексеевич Ягодин — министр в правительстве Рыжкова, отвечавший за образовательную политику. Он понимал, что безнадежно спасать устаревшую систему, а надо создавать новое. Многие из тех новаций, которые были им инициированы или поддержаны, стали основой для дальнейшего развития системы отечественного образования уже в послесоветские годы вплоть до нашего времени.

Геннадий Ягодин родился в 1927 году в селе Большой Вьяс Пензенской губернии, расположенном на реке Вьяс, недалеко от ее впадения в Суру. Когда говорится о селе, то нередко представляются несколько домиков с одной-двумя улочками. На самом деле известный с XVII века Большой Вьяс уже в 1877 году насчитывал 322 двора, 4 постоянных двора, в селе имелись пристань, винокуренный завод, паровая мельница, лесопильня, базар, в год проходили три ярмарки. К тому времени была открыта и земская школа. Через три года после рождения Геннадия в селе жили больше четырех тысяч человек. В годы детства и юности Ягодина Большой Вьяс даже был районным центром.

Родители Геннадия были учителями местной школы. Отец, Алексей Иванович, был сыном священника из Пензенской губернии, окончил духовную семинарию, учился в ветеринарном институте, где помимо прочих наук изучали химию и биологию. Это помогло ему преподавать эти дисциплины в школе Большого Вьяса. Химией Алексей Иванович увлекался всерьез — и увлек ею своих сыновей. Также он преподавал в школе пение, которому учили семинаристов. Мать — Александра Григорьевна — выпускница (с золотой медалью) казанской гимназии, была в этой же школе учительницей математики. Оба супруга заочно закончили высшие учебные заведения в Саранске — который находится ближе к Большому Вьясу, чем областной центр Пенза. Оба были награждены орденами, которыми советская власть отмечала успешных учителей с многолетним стажем. Мать была удостоена высшего ордена Ленина, отец — ордена Трудового Красного Знамени.

Младший брат Геннадия, Борис Алексеевич, стал ученым, не чуждым химии — биологом и биохимиком. Занимал пост директора Пензенского ботанического сада, затем переехал в Москву, где работал в Институте физиологии растений, а затем руководил кафедрой агрономической и биологической химии Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Был заслуженным деятелем науки, академиком Российской академии сельскохозяйственных наук.

Геннадий начал свое образование в школе, где преподавали его родители, но, несмотря на это и прекрасные успехи, вел себя очень просто. Тем более что времена были тяжелые: шла война и школьникам приходилось не только учиться, но и рубить деревья в лесу, и копать картошку. Как круглый отличник и знаток химии, он без труда поступил в Московский химико-технологический институт имени Менделеева, который чаще называют Менделеевским. Незадолго до окончания учебы он переходит на элитный инженерный физико-химический факультет, готовивший специалистов для атомной промышленности. Но после его окончания не уехал в закрытый город, а остался в Москве.

В последний год своего студенчества он был секретарем комитета комсомола института, и после получения диплома его, как тогда говорили, выдвинули на руководящую работу. В возрасте 23 лет Геннадий стал первым секретарем Советского райкома комсомола в Москве — этот район включал в себя центр столицы, примыкавший к Кремлю. Но большой карьеры он не сделал и спустя пару лет вернулся обратно, поступил в аспирантуру, успешно защитил кандидатскую диссертацию и занялся преподаванием. Впрочем, опыт политической работы помогает ему уже в возрасте 32 лет занять административный пост декана факультета. В стране оттепель, ученых посылают стажироваться на Запад, разумеется нечасто и только проверенных (а бывший комсомольский секретарь и действующий декан к ним, разумеется, относится), и Ягодин в 1961 году едет на год в Лондон, повышать квалификацию в Империял-колледже. Причем в качестве старосты группы из 18 ученых.

Роль таких стажировок не стоит недооценивать: молодые «идейно подкованные» советские интеллектуалы, знавшие Запад по книгам, знакомились с ним на собственном опыте. Бывало, что там

зарождались сомнения в идеологических догматах, казавшихся до этого незыблемыми, — не у всех, но у многих. Можно вспомнить стажировку в Колумбийском университете Александра Яковлева, позднее названного «отцом перестройки». Или судьбу историка Юрия Афанасьева, отправившегося на учебу в Сорбонну твердокаменным марксистом и вернувшегося оттуда горячим поклонником исторической школы «Анналов». Уже в бытность Ягодина министром он будет назначен ректором историко-архивного института, а в 1989-м станет одним из ярких лидеров демократической оппозиции. И Ягодин будет среди тех, кто не позволит его уволить, пока еще у Афанасьева не было депутатской неприкосновенности.

Вернувшись из Лондона, Ягодин в 1963 году вновь едет за границу, на этот раз в более длительную командировку — в Вену, заместителем директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Там он курирует департамент «Здоровье и безопасность», занимавшийся проблемами переработки радиоактивных отходов и исследованиями в области безотходных технологий. С этого времени у Ягодина появляется глубокий интерес к экологии, которой он много и активно занимался в последующие годы. У наблюдательного читателя может возникнуть вопрос: а не был ли молодой химик «человеком в погонах», раз его выпускали и в Лондон, и в Вену? Среди его друзей в Вене действительно был офицер разведки, дослужившийся в ней до генерала, они дружили и позднее. Как эксперт Ягодин давал консультации, в том числе и разведчикам, что было вполне естественно: шла холодная война. Но погон он не надевал.

После возвращения из Вены в 1966 году Ягодин вновь преподает в своей alma mater. Видимо, результаты австрийской командировки были расценены положительно, и в 1971 году, вскоре после защиты докторской диссертации, он вновь становится деканом, а спустя два года — ректором Менделеевского института. Одновременно продолжает заниматься наукой, руководит исследованиями, имевшими большое значение для развития химии и технологии неорганических материалов ядерной техники, создает свою научную школу. Всего он был автором более 600 научных публикаций, нескольких учебников, учебных пособий и монографий, имел свыше 90 автор-

ских свидетельств. В 1976 году Ягодина избирают членом-корреспондентом Академии наук.

И при этом он оказался успешным ректором, способным реагировать на запросы времени. Экономике нужны специалисты, умеющие работать на компьютерах, и в институте создается первый в стране факультет кибернетики химико-технологических процессов. Одним их приоритетных направлений в науке становится биотехнология, и Ягодин учреждает соответствующую кафедру. Особое внимание он уделяет своей любимой экологической тематике: в 1983 году им была создана новая специальность — «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» — и организована первая в Союзе кафедра промышленной экологии, которую он лично возглавил.

А еще ректору приходилось решать хозяйственные проблемы. Еще в 1965 году было принято правительственное решение построить новый комплекс Менделеевского института в Тушино, но работы долгое время фактически не начинались. Ягодин добивается завершения строительства студенческого городка (трех корпусов общежитий и здания столовой) и двух факультетских корпусов. В условиях советского долгостроя это было немало.

Таким образом, к моменту прихода к власти Михаила Горбачева и начала перестройки Ягодин уже был опытным и немало сделавшим ректором. Летом 1985 года он выступает на совещании в ЦК КПСС по вопросам научно-технического прогресса, говорит о причинах отставания СССР от западных стран. На него обращают внимание начавший смену чиновников Горбачев и ставший партийным идеологом Яковлев, и Ягодин вскоре становится министром высшего и среднего специального образования, сменив на этом посту Вячеслава Елютина, руководившего ведомством три десятилетия. В 1988 году Ягодин возглавляет Государственный комитет СССР по образованию — объединенное министерство, которое занималось проблемами всей школы: и средней, и средней специальной (техникумы), и профессионально-технической, и высшей.

В правительстве Ягодин пробыл около шести лет, немного по сравнению со своим предшественником. Но за это время было сделано много нового — пожалуй, по масштабу реформаторства его

можно сравнить с Александром Головинным, либеральным министром народного просвещения эпохи Великих реформ Александра II. Радикально изменились подходы к высшему образованию. Университеты и институты получили право избирать ректоров, то есть была восстановлена университетская автономия, существовавшая в царское время, дважды отменявшаяся (при Николае I и Александре III), расширенная до максимума при Временном правительстве и упраздненная большевиками. Такой подход внешне соответствовал перестроечной ставке на всеобщую выборность, когда работники даже стали выбирать директоров предприятий, не будучи при этом их собственниками, — неудивительно, что такие выборы превратились в парады несбыточных обещаний и были быстро отменены. Но в университетской среде выборность исторически укоренена, и она осталась и после Ягодина.

Университетская автономия означала не только выборность ректоров. В систему высшего образования стала быстро возвращаться свобода. В институтах шли жаркие дискуссии, количество запретных тем стремительно уменьшалось. Право высших учебных заведений самостоятельно формировать программы привело к тому, что из них стали исключаться догматические марксистско-ленинские предметы. В нашем историко-архивном институте студенты еще прослушали скучнейший диалектический материализм, но уже вместо исторического материализма читали курс по русской философии XVIII века (и надо сказать, что для будущих историков это было и интереснее, и полезнее). Научный атеизм превратился в историю религий. Стремительно росла открытость высших учебных заведений, куда стали приглашать западных ученых. Помню, что первый американец, который читал курс у нас в историко-архивном, оказался разочаровавшим студентов человеком крайне левых взглядов. Но уже встреча с американским русистом из Пенсильванского университета Моше Левиным, которого ранее иначе как идеологическим противником не называли, стала событием. Понятно, что историко-архивный при ректоре Афанасьеве был, пожалуй, самым либеральным институтом в стране, но за ним постепенно подтягивались и другие.

Начался и другой процесс: советские студенты и выпускники поехали учиться на Запад. Маленький ручеек стажировок вроде бри-

танской, в которой участвовал Ягодин, сменился широким потоком. Конечно, сразу же заговорили об утечке мозгов. Но, во-первых, самоизоляция дорого обошлась нашей науке в предшествующие годы. А во-вторых, многие из отправившихся учиться за рубеж затем вернулись и оказались востребованы в России. Но тут последовали новые обвинения — в чуждых идеологических влияниях. Кстати, Ягодин всегда был человеком широких взглядов — в 1993-м, когда уже активно распространялись изоляционистские настроения, он выступил в поддержку интернационализации средней и высшей школы и отверг обвинения, выдвигавшиеся в отношении фонда Сороса.

При Ягодине студенты возвращаются из армии. На 1980-е годы пришлась очередная «демографическая яма», кроме того, велась затяжная афганская война. В этой ситуации генералы добились от Политбюро отмены отсрочек для студентов абсолютного большинства высших учебных заведений — призыв осуществлялся в разгар учебы, когда юноше исполнялось 18 лет. Все это, разумеется, сопровождалось патриотической риторикой, но оборачивалось драмами. Через два года (таков был срок службы) многие студенты не возвращались в аудитории, тем более что военная специальность обычно никак не соответствовала учебной, их жизненные планы ломались.

Тотальная отмена отсрочек произошла в 1984 году, поэтому Ягодин, ставший министром годом позже, мог сразу мало что сделать. Он сначала добился лишь того, что студентов стали призывать только летом, чтобы дать возможность хотя бы завершить учебный год. Но сразу же после окончания афганской войны, весной 1989-го, отсрочки восстанавливаются. Более того, принимается решение, согласно которому все ранее призванные студенты возвращаются из армии. Многие успели прослужить около года — им было легче вернуться к учебе, чем тем, кто пробыл в армии весь срок. Студенты и их родители были в восторге, но лишь немногие задумывались над ролью в их судьбе министра: шел быстрый процесс демократизации и в его рамках власть СССР, к которой относился и Ягодин, все более теряла авторитет в глазах интеллигенции. Зато военные и сторонники «твердой руки» все понимали и ничего не забыли.

С 1988 года Ягодин занимался и средней школой. Здесь он соби-
рает вокруг своего ведомства талантливых педагогов, разработав-
ших масштабный и продуманный проект ее реформирования. Главной задачей образования было провозглашено развитие лично-
сти ребенка, начался процесс гуманизации школы, в нее в качестве
сотрудников пришли психологи, была отменена единая школьная
форма, произошла демилитаризация — была отменена начальная
военная подготовка. Всерьез был поставлен вопрос вариативности
образования, то есть о праве подростка уже в школе выбирать, каким
предметам больше уделять внимание — например, физике или исто-
рии. Зачем мучить будущих гуманитариев огромным количеством
формул, а технарей — запоминанием не меньшего числа историче-
ских дат, которые им никогда не пригодятся. А школа, в свою оче-
редь, должна иметь право выбора литературных произведений
(кроме, разумеется, общепризнанного канона, который не может
быть всеобъемлющим), предлагаемых ученикам для изучения.
Большое внимание уделялось творчеству педагога, продвижению
опыта учителей-новаторов, что вызывало энтузиазм у наиболее
активной части педагогического сообщества и неприятие — чаще
тихое, чем открытое, — у учителей, привыкших к послушанию и
дисциплине. А затем на школу навалились и материальные пробле-
мы, связанные с экономическим кризисом, и энтузиазма стало еще
меньше. Но право выбора все же осталось и утвердилось, хотя его и
подвергают сомнению.

Будучи членом правительства, Ягодин активно вел диалог с
обществом — педагогами, учеными, журналистами. Но диалога с
силовиками, сторонниками жесткого курса на сохранение СССР в
прежнем виде де-факто унитарного государства, с идеологически-
ми ортодоксами у него не получилось. В 1991 году, после того как
в союзном руководстве восторжествовали антилиберальные силы,
его несколько раз пытались уволить с министерского поста.
Никакого взаимопонимания с премьером Валентином Павловым,
будущим членом ГКЧП, у него не было. Но и в новые российские
властные структуры Ягодин с его советским опытом вписаться не
мог (министром образования в правительстве России стал Эдуард
Днепров, писавший при Ягодине проект реформы). После распада

СССР он становится ректором одного из первых негосударственных высших учебных заведений страны — Международного университета. На этом посту он пробыл десять лет, а затем вернулся в родной Менделеевский, где занялся любимым делом, возглавив Высшую школу наук об окружающей среде. До последних дней своей жизни, а скончался он в 2015 году, Ягодин был научным руководителем этой школы и руководителем Московского музея образования, который сейчас носит его имя.

По своей натуре Ягодин был реформатором, хотя лично и не любил слова «реформа», как и слова «революция». Он считал, что «изменения должны быть не скачкообразными, а постепенными, эволюционными. Тем более в такой неизбежно консервативной системе, как система образования». Но в качестве министра ему приходилось действовать быстро, времени на более медленные перемены уже не было, оно было упущено еще задолго до его прихода в правительство. И на своем посту Ягодин сделал все от него зависящее, чтобы расширить пространство свободы в высшей и средней школе, дать шанс молодым поколениям на свободное развитие. А кто и как этим шансом воспользовался, зависело уже не от умного и гуманного министра, а от самих людей, получивших свободу выбора. А она нередко оказывается более серьезным испытанием, чем контролируемая и предсказуемая жизнь.

Послесловие

Эта книга написана в популярном жанре. Для удобства восприятия читателем, не являющимся профессиональным историком, в ней нет сносок на использованную литературу, поэтому есть смысл рассказать о том, на каком материале основаны вошедшие в книгу очерки.

Первоначальным этапом для подготовки ряда очерков стало написание статей для русской «Википедии», которым автор занимался на добровольной основе в 2006–2008 годах. К «Википедии» в современной России отношение разное по разным причинам — начиная от недостаточной достоверности части информации (впрочем, эта проблема свойственна и другим энциклопедиям) до привычки некоторых школьников и даже студентов копировать целые фрагменты ее статей в свои работы. Однако не стоит недооценивать просветительской роли этой энциклопедии, насчитывающей огромное количество читателей.

Поэтому, случайно познакомившись с «Википедией», я обратил внимание на то, что в ней к тому времени была масса статей о вымышленных мирах, но существовали огромные лакуны, связанные с российской историей. В течение двух лет я пытался по мере сил их заполнить, подготовив более тысячи статей, посвященных различным сюжетам, преимущественно биографическим: моя задача носила сугубо просветительский характер, как и у многих участников проекта. Постепенно возникла идея вместо энциклопедических справок подготовить книгу, в которой на основе развернутых биографий были бы проанализированы значимые аспекты отечественной истории XX столетий, потому что история — это прежде

всего люди, которые ее делают. Однако в силу ряда причин, прежде всего нехватки времени, эту идею удалось реализовать только сейчас. Поэтому «каркас» некоторых сюжетов этой книги восходит к тем вариантам «википедийных» статей, над которыми я работал более десяти лет назад (написание статей в «Википедии» — процесс коллективный, поэтому некоторые из них за это время были существенно дополнены). Однако, разумеется, и эти сюжеты не только существенно расширены, но и сделаны аналитическими вместо сугубо фактологических справок.

О митрополите Агафангеле (Преображенском) есть подробное комментированное издание биографических материалов «Ради мира церковного. Жизненный путь и архипастырское служение святителя Агафангела, митрополита Ярославского и Ростовского, исповедника», выпущенное Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом (книги 1–2. М., 2005–2006). Составитель этого труда — научный сотрудник университета Инна Геннадьевна Менькова, долгие годы посвятившая сбору материалов о ярославских святых. О деятельности в 1905–1906 годах владыки Агафангела и протоиерея Николая Бежаницкого рассказано в книге патриарха Алексия II «Православие в Эстонии» (М., 1999).

Роскошное коллекционное издание «Егорьевский городской голова Никифор Михайлович Бардыгин, 1872–1901», подготовленное его секретарем Алексеем Алексеевичем Виталем, было выпущено в Москве в 1909 году. Историей семьи Бардыгиных занимается заведующий отделом истории Егорьевского историко-художественного музея Сергей Эдуардович Динер, публикации которого можно найти в Интернете.

О судьбе генерала Сергея Николаевича Войцеховского я впервые узнал из статьи его внучатого племянника, ныне покойного Сергея Георгиевича Тилли (пражское издание «Русское слово». 2003. № 5–6). Подробная биографическая справка с материалами из послужного списка о Войцеховском есть на сайте «Русская армия в Великой войне». О его деятельности говорится в многочисленных воспоминаниях генералов и офицеров колчаковской армии.

Подробные воспоминания генерала Петра Григорьевича Григоренко «В подполье можно встретить только крыс...» были

впервые изданы в Нью-Йорке в 1981 году и переизданы в Москве в издательстве «Звенья» в 1997-м. Документы, негативно характеризующие генерала, были опубликованы в весьма ангажированной статье В.К. Петрова «Кто такой П.Г. Григоренко?» (Военно-исторический журнал, № 10, 1990).

Над биографией адмирала Федора Васильевича Дубасова начинал работать один из лучших российских специалистов по истории начала XX века, Павел Николаевич Зырянов, написавший перед этим книгу об адмирале Колчаке. Но не успел ее издать, скончался во время сбора материалов. Есть биография Дубасова, написанная военно-морским историком, капитаном 1-го ранга Владимиром Виленовичем Шигиным и выпущенная в виде электронной книги издательством «Горизонт» в 2015 году. О деятельности Дубасова на посту московского генерал-губернатора подробно рассказано во втором томе воспоминаний его подчиненного, московского губернатора Владимира Федоровича Джунковского (М.: Издательство имени Сабашниковых, 1997). В вышедшей в 2013 году в издательстве «Алгоритм» биографии министра внутренних дел Петра Николаевича Дурново (автор — доктор исторических наук Анатолий Петрович Бородин) точка зрения о гуманности Дубасова подвергается критике (с. 158–163), но представленные аргументы оставляют возможность для полемики.

Подробные воспоминания митрополита Евлогия (Георгиевского) «Путь моей жизни», изложенные по его рассказам Татьяной Ивановной Манухиной, были впервые изданы в Париже в 1947 году. Второе издание — в Москве в 1994 году в серии «Материалы по истории Церкви» — увидело свет усилиями Ильи Владимировича Соловьева, ныне священника Русской православной церкви. О деятельности архиепископа Евлогия в Галиции в 1914–1915 годах можно прочитать в монографии Александры Юрьевны Бахтуриной «Политика Российской империи в Восточной Галиции в годы Первой мировой войны (М.: АИРО-XX, 2000).

Некоторые сведения о Владимире Александровиче Жданове можно найти в книге доктора исторических наук Николая Алексеевича Троицкого «Адвокатура в России и политические процессы. 1866–1904 гг.» (Тула: Автограф, 2000). Жданову посвящена

книга Никиты Александровича Филатова «Адвокат революции» (СПб.: Страта, 2017). Подробная биография его наиболее известного подзащитного, Алексей Михайловича Щастного, написана капитаном 1-го ранга Евгением Николаевичем Шошковым (Наморси А.М. Щастный. СПб.: Петровский фонд, 2001). В ней на с. 351–353 приведен текст докладной записки о произволе ЧК.

Памяти Петра Андреевича Зайончковского посвящены сборники «П. А. Зайончковский (1904–1983): статьи, публикации и воспоминания о нем». (М.: РОССПЭН, 1998) и «Петр Андреевич Зайончковский. Сборник статей и воспоминаний к столетию историка». (М.: РОССПЭН, 2008). Биографические очерки о нем, написанные его ученицей, доктором исторических наук Ларисой Георгиевной Захаровой, опубликованы в сборниках «Портреты историков. Время и судьбы». Т. 1 (Отечественная история) / отв. ред. Г. Н. Севостьянов. М. — Иерусалим: Университетская книга — Gesharim, 2000) и «Историки России: биографии» / отв. ред. А. А. Чернобаев. М.: РОССПЭН, 2001.

Подробные материалы о судьбе епископа Иерофея (Афонины) и текст послания этого архиерея можно найти в интернет-библиотеке Якова Кротова. В Интернете можно найти и публикации никольского краеведа Алексея Николаевича Наумова о владыке и его последователях, в том числе опубликованных в христианской газете Севера России «Вера». В 1998 году он опубликовал в Петрозаводске книгу о епископе Иерофее. Изучал деятельность владыки и покойный протоиерей Сергей (Сергей Юрьевич Колчеев), служивший до кончины в 2003 году в Казанском храме города Никольска.

Первую книгу об Александре Васильевиче Кривошеине написал его сын Кирилл Александрович. Она была издана в Париже в 1973 году и переиздана в Москве в издательстве «Московский рабочий» двадцать лет спустя. В 2002 году петербургское издательство «Звезда» выпустило ее дополненное издание под названием «Судьба века — Кривошеины». Кривошеин и его сыновья являются действующими лицами эпопеи Александра Исаевича Солженицына «Красное колесо». Мемуары сотрудника Кривошеина, Ивана Ивановича Тхоржевского «Последний Петербург. Воспоминания камергера», изданы в Петербурге в издательстве «Алетейя» в 1999 году.

Александр Васильевич Ливеровский оставил воспоминания «Последние часы Временного правительства» («Исторический архив», № 6, 1960) и «50 лет работы на железнодорожном транспорте» (Хабаровск, 1999). Директор музея Петербургского университета путей сообщения Леонид Иванович Коренев стал автором очерка «Профессор Александр Васильевич Ливеровский: вехи жизни», опубликованного в сборнике «Генералы духа» (Книга 1. СПб.: Петрополис, 2001). Интересные мемуары о семье Ливеровских написала Ольга Алексеевна Ливеровская, внучатая племянница Александра Васильевича («Нева», № 7, 2005).

Биографию владыки Михаила (Мудьюгина) — «Архиепископ Михаил (Мудьюгин) (1912–2000). Музыкант, полиглот, инженер и богослов» (СПб.: Изд-во Санкт-Петербургской духовной академии, 2015) — написал протоиерей Константин Костромин. В 2013 году эта же академия издала материалы конференции, посвященной столетию со дня рождения владыки, под названием «Архиепископ Михаил (Мудьюгин) в воспоминаниях и размышлениях». Интерес к его богословским трудам в последнее время вырос — его магистерская диссертация «Православное учение о личном спасении» издана в двух частях (СПб.: Сатисъ, 2010, 2012).

Автор биографии Виктора Павловича Ногина в серии ЖЗЛ (М.: Молодая гвардия, 1964) — писатель Владимир Васильевич Архангельский. Когда я уже работал над очерком о Ногине для настоящей книги, вышел в свет еще один труд о нем: «Из нелегалов в коммерсанты. Очерк о жизни и деятельности В.П. Ногина» (М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2018). Автор — доктор исторических наук, профессор Татьяна Петровна Коржихина, много лет читавшая курс истории государственных учреждений в Московском государственном историко-архивном институте. Это посмертное издание: Татьяна Петровна безвременно скончалась в 1994 году. Рукопись о Ногине стала одной из последних ее работ.

На следующий год после гибели князя Олега Константиновича был издан роскошный биографический сборник «Князь Олег» (СПб., 1915), переизданный в 1995 году в казанском издательстве «Стар». Два тома документов князя изданы в последние годы в

Москве в издательстве «Буки Веди» в серии «Бумаги Константиновичей Дома Романовых»: «Князь императорской крови Олег Константинович (1892†1914). Биография и документы» (2014) и «Дневник князя императорской крови Олега Константиновича. 1900–1914 гг.» (2016). Составитель этой серии — историк-архивист, археограф Татьяна Анатольевна Лобашкова.

Первое опубликованное подробное жизнеописание митрополита Петра (Полянского) написал иеромонах (ныне архимандрит) Дамаскин (Орловский). Оно было опубликовано в издании «Вестник Русского христианского движения» (№ 166 (III — 1992), которое к тому времени стало свободно распространяться в России. Самая подробная книга о митрополите — сборник «Кифа — Патриарший Местоблюститель священномученик Петр, митрополит Крутицкий» (М.: Изд-во Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 2012). Ее составитель — ректор университета, протоиерей Владимир Николаевич Воробьев. В состав книги, кроме документов, входят два очерка о жизни и деятельности владыки. Автор одного из них — художник и собиратель материалов по церковной истории XX века Михаил Ефимович Губонин (1907–1971), писавший его в советское время без надежды на скорую публикацию. Другой очерк написал современный церковный историк, священник Александр Владимирович Мазырин.

Автор биографии Иосифа Абрамовича Рапопорта, вышедшей в серии «Научно-биографическая литература» (М.: Наука, 2009), — его вдова, доктор биологических наук Ольга Георгиевна Строева. Она же стала составителем сборника «Иосиф Абрамович Рапопорт — ученый, воин, гражданин: Очерки, воспоминания, материалы» (М.: Наука, 2001), вышедшего в серии «Ученые России. Очерки, воспоминания, материалы». Рапопорт — один из персонажей книги доктора биологических наук Симона Эльевича Шноля «Герои, злодеи, конформисты отечественной науки» (М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010). В этой классификации Иосиф Рапопорт, конечно, относится к числу героев.

Имя Григория Яковлевича Сокольников в советское время было под полузапретом — его можно было упоминать, но книги и статьи о невосстановленном в партии оппозиционере выпускать было

нельзя. После реабилитации Сокольников в 1988 году был выпущен сборник «Смерч» (М.: Изд-во ДОСААФ), в котором, в частности, опубликованы материалы о Сокольникове — очерк историка и журналиста Ивана Анатольевича Анфертьева (ныне профессора РГГУ), воспоминания вдовы Сокольниковой, писательницы Галины Иосифовны Серебряковой, автобиография Сокольниковой и его работа о Брестском мире. Большую роль в «возвращении Сокольников» сыграла статья о нем Владимира Леонидовича Гениса («Вопросы истории» № 12 за 1988), работавшего тогда ведущим конструктором московского СКБ, а ныне автора большого количества исторических работ. Он же стал составителем и автором вступительной статьи к книге Сокольниковой «Новая финансовая политика: на пути к твердой валюте» (М.: Наука, 1991). Экономические взгляды Сокольниковой и его оппонентов подробно описаны в монографии Юрия Марковича Голанда «Дискуссии об экономической политике в годы денежной реформы 1921–1924» (М.: Экономика, 2006).

О Василии Ивановиче Тупикове говорится в мемуарах Маршала Советского Союза Ивана Христофоровича Баграмяна «Так начиналась война» (М.: Воениздат, 1971). В 1941 году генерал-майор Баграмян был заместителем Тупикова в штабе Юго-Западного фронта. В Интернете немало публикаций, рассматривающих роль советских военных разведчиков, в том числе генерала Тупикова, в попытках предупредить Сталина о планах Гитлера (например, статья Вячеслава Кондрашова в издании «Военно-промышленный курьер» от 12 и 18 июня 2018 года).

После реабилитации Иеронима Петровича Уборевича о нем стали издаваться книги. Но если в информативном сборнике воспоминаний «Командарм Уборевич» (М.: Воениздат, 1964), вышедшем еще в хрущевское время, говорится о его расстреле, то в книге Виктора Ивановича Савостьянова (занимавшегося литературной подготовкой текста воспоминаний) и Петра Яковлевича Егорова «Командарм первого ранга», опубликованной уже при Брежневе (М.: Политиздат, 1966), о репрессиях ничего нет, а лишь говорится, что Уборевич погиб в расцвете сил. В позднебрежневский период из книг вычеркивали даже такие прозрачные намеки. В последние годы об Уборевиче писал историк Сергей Евгеньевич Лазарев —

командарм стал одним из героев его монографии «Советская военная элита 1930-х годов: “Красные” полководцы, какими они были. Проблемы взаимоотношений. Трагедия “чисток”» (М.: URSS, 2016).

О Леониде Яковлевиче Флорентьеве немало публикаций на костромских, алтайских и ульяновских интернет-ресурсах — в регионах, где его помнят. На одном из таких ресурсов («Северная правда», 19.03.14) он назван «Аскетичным бойцом» — это качества, которые привлекают к нему внимание и сейчас. Текст речи Флорентьева на мартовском (1965 года) Пленуме ЦК КПСС опубликован в стенографическом отчете (М.: Политиздат, 1965). А о печальной судьбе Алексея Николаевича Ларионова есть книга рязанского историка Александра Федоровича Агарева «Трагическая авантюра: Сельское хозяйство Рязанской области 1950–1960 гг.: А. Н. Ларионов, Н. С. Хрущев и др.: Документы, события, факты» (Рязань: Русское слово, 2005).

Очерк о судьбе Александра Алексеевича Хвостова включен в книгу современных российских прокуроров Александра Григорьевича Звягинцева и Юрия Григорьевича Орлова «В эпоху потрясений и реформ. Российские прокуроры. 1906–1917» (М.: Российская политическая энциклопедия, 1996). Это четвертый том их обширной серии, посвященной советским и российским руководителям прокуратуры (министр юстиции в царской России одновременно был генерал-прокурором). О семье Хвостовых и последнем периоде жизни Александра Алексеевича есть книга его внука, художника Алексея Петровича Арцыбушева «Сокровенная жизнь души (по запискам монахини Таисии)» (М.: Духовная нива, 2004), основанная на мемуарах его матери, принявшей монашество. Сам Алексей Петрович в конце жизни стал монахом Серафимом.

Об Ираклии Георгиевиче Церетели немало говорится в книге доктора исторических наук Альберта Павловича Ненарокова «Правый меньшевизм. Прозрения российской социал-демократии» (М.: Новый хронограф, 2012). Ненароков является также ответственным редактором изданного в серии «Русский революционный архив» капитального двухтомного издания «Из архива Б.И. Николаевского. Переписка с И.Г. Церетели 1923–1958 гг. Вып. 1–2» (М.: Памятники исторической мысли, 2010, 2012). Эти письма помогают

понять личностные особенности и мотивы действий как Церетели, так и его друга и адресата, социал-демократа и историка Бориса Ивановича Николаевского.

В 1916 году в Петрограде вышел в свет сборник обвинительных речей Николая Николаевича Чебышёва за 1903–1913 годы. В нем представлены как тексты речей одного из лучших российских прокуроров своего времени, так и подробности уголовных дел, в рассмотрении которых он участвовал. О негативной позиции Чебышёва в отношении чекистской провокаторской организации «Трест» можно прочитать в книге эмигранта, члена Русского Обще-Воинского союза Бориса Витальевича Прянишникова «Незримая паутина: ОГПУ — НКВД против белой эмиграции» (М.: Яуза, ЭКСМО, 2004).

Генерал Матвей Кузьмич Шапошников написал воспоминания о своем участии в Великой Отечественной войне «По зову Родины» (Киев: Политиздат Украины, 1988). 21 июня 1989 года в «Литературной газете» (№ 25 (5247)) была опубликована статья Владимира Кузьмича Фомина и Юрия Петровича Щечкохихина «Тогда, в Новочеркасске», в которой впервые было рассказано о действиях генерала во время новочеркасской трагедии. В конце жизни генерал дал подробное интервью белгородскому журналисту Анатолию Николаевичу Кряженкову, которое легло в основу его статьи «Оправдан историей».

Очерк о судьбе Николая Николаевича Щепкина опубликован в сборнике «Памяти погибших» (Париж, 1929), одним из авторов которого был его друг Николай Иванович Астров. О семье Щепкиных, в том числе о судьбе Николая Николаевича Щепкина, есть книга «Щепкины. История рода в письмах, документах, воспоминаниях, фотографиях» (М., 2010), написанная Игорем Алексеевичем Бондарским и изданная в серии «Библиотека Малого театра». Текст предсмертных показаний Щепкина содержится в «Красной книге ВЧК» (т. 2), переизданной «Политиздатом» в 1989 году.

Дневники Натана Яковлевича Эйдельмана изданы его женой Юлией Моисеевной (М.: Материк, 2003). Переписку Эйдельмана с Виктором Петровичем Астафьевым, опубликованную в журнале «Даугава» (№ 6, 1990), можно найти в Интернете. В «Вопро-

сах литературы» (№ 3, 2003) опубликована статья о ней Константина Марковича Азадовского «Переписка из двух углов Империи». О группе Краснопевцева есть статья историка Всеволода Николаевича Сергеева «Университетское дело»: формирование оппозиционных взглядов группы Л. Краснопевцева — Л. Ренделя», опубликованная в Интернете.

О судьбе Петра Петровича Юренева есть несколько биографических статей в энциклопедических изданиях. Краткая характеристика его жизни в эмиграции содержится в книге Дмитрия Ивановича Мейснера «Миражи и действительность. Записки эмигранта» (М.: АПН, 1966). Зато о планах строительства московского метро есть прекрасная монография немецкого историка Дитмара Нойтатца «Московское метро. От первых планов до великой стройки сталинизма (1897–1935)» (М.: РОССПЭН, 2013).

Памяти Геннадия Алексеевича Ягодина посвящен специальный выпуск газеты «Менделеевец» (№ 1 (2308), 2015). В «Учительской газете» (№ 24, 12 июня 2012) о нем опубликована статья «Звезда по имени Ягодин». 6 января 2015 года в этом же издании вышел траурный материал Виктории Молодцовой «Геннадий Ягодин предложил стране программу свободы и ответственности в образовании». А в книге бывшего главы Госкомиздата Михаила Федоровича Ненашева «Последнее правительство СССР. Личности, свидетельства, диалоги» (М.: АО «Кром», 1993) содержится большое интервью автора с Ягодиным.

Алексей Макаркин

ЛЮДИ КАЗЕННОГО ВЕКА

Компьютерная верстка *В. Козак*

Подписано в печать 12.03.2019. Формат издания 60x84/16.
Печ. л. 19,5. Тираж 1000 экз. Заказ

Школа гражданского просвещения
107031 Москва, ул. Петровка, д. 17, стр. 1
<http://www.civiceducation.ru>